

СМОК

ISSN 0131 — 6656

ИВАИ ВУЛИИ ■ МИЛОШИ ТУСКОИ ЗМИГЪДИИ ДАКФЕИ КОПРИЦ ■ СИТАМЪИ



ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ ■ ИСПОЛИИ

2'94

ГРИГОРИЙ КИПЕРМАН ■ КУДА ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?

В. А. Тропинин. Портрет П. И. Багратиона. 1816 г.

ИСТОРИЯ
русской
живописи



(Читайте стр. 110)

Г. В. Сорока. Портрет Е. Н. Милославской. Конец 1840-х гг.



Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редколлегия:

ВАЛЕНТИНА БОЧАРОВА
ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ
БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ,
зам. главного редактора

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
СЕРГЕЙ ПОПОВ,
зам. главного редактора
МИХАИЛ ТЕЛИЧКИН
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ,
главный художник

ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление

АЛЕКСАНДРА ГРИШИНА
**Художественно-
технический редактор**
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 23.11.93.
Подписано к печати 16.12.93.

Формат 84×108^{1/2}.

Бумага «Газетная».

Печать офсетная.

Усл. п. л. 15,54.

Усл. кр.-бтт. 17,64.

Уч.-изд. л. 23 10

Тираж 173 000 экз.

Заказ № 1040

Цена свободная.

101457, ГСП, Москва.

Бумажный проезд, 14.

212-15-07 — для справок.

250-29-39 — отдел рекламы
и реализации.

250-49-98 — отдел писем.

Факс (095) 250-59-28.

Журнал зарегистрирован
в Министерстве печати
и массовой информации
Российской Федерации. Рег. №166.

Учредитель —

коллектив редакции

журнала «Смена».

Рукописи, фото и рисунки
не возвращаются.

Типография издательства
«Пресса», 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

2 (1552) ФЕВРАЛЬ

© Издательство «Пресса».

© «Смена», 1994.

2'94 СМЕНА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ**
Основан в январе 1924 года.

В НОМЕРЕ:

Проза

26

ДЖОН Т. ФИЛЛИФЕНТ. АХИЛЛЕСОВА ПЯТА*Рассказ*

100

ЭМИЛЬ ДРЕЙЦЕР. КЛОУН*Рассказ*

180

ДЖЕФФРИ КОНВИЦ. СТРАЖ-II*Мистический роман*

Поэзия

21

МИХАИЛ КРАСИНСКИЙ

154

КОНКУРС ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Человек и общество

4

ГРИГОРИЙ КИПЕРМАН. КУДА ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?

14

ИВАН БУНИН. МИССИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

54

ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ. КИРПИЧ С БАЛКОНА

78

ВИТАЛИЙ СВЕТОВ. ПЕРЕЗВОНЫ

88

В. ФИЛАТОВ. БУНТ*Исторический очерк*

158

СЕРГЕЙ БАЙМУХАМЕТОВ. ЖЕЛЕЗНЫЙ ПУТЬ

Культура, музыка, искусство

47

«ФРАГМЕНТ»*Конкурс знатоков мировой живописи*

На нашей
обложке:
фотозтюд
ВЛАДИМИРА
ПЧЕЛКИНА



66

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ. ИСПОЛИН

110

АЛЕКСАНДР БЕНУА. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ В XIX ВЕКЕ

136

ЛЕВ КАНЕВСКИЙ. АРТУРО ТОСКАНИНИ

175

ЕЛЕНА ЮРЬЕВА. МНОГОЛИКИЙ ПЕСКОВ

287

ТАТЬЯНА БЕЛЬСКАЯ. МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

63

ВАШИ ПИСЬМА

280

ШАХМАТЫ, КРОССВОРДЫ

3•94

3

■ **НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ.** «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА».

В новой детективной повести Николая Леонова вместе с главным героем Львом Гуровым появляется еще одно лицо — инспектор криминальной полиции из Мюнхена. Сыщики блестяще «раскручивают», казалось бы, безнадежное дело...

■ **ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.** «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ШУКШИНА».

«С детства не знающий удержа, развращенный боярами, Иоанн всю жизнь был жрецом разврата. История знает только две недели, когда он вел сколько-нибудь человеческую жизнь. Это были две недели после его первого брака...

■ **ОЛЬГА НЕКРАСОВА.** «МОРОК». Бизнес и нравственность.

«Вот и настал долгожданный момент: государством правят не дилетанты, а ученые. Чем выше орган власти, тем больше докторов наук. Как на Западе. Там тоже правят интеллигентные люди. Помните многосерийный «Спрут»: доктор Каттани, доктор Терразини, доктор Антинарри...

Одни доктора — по одну сторону, другие — по другую».

АНОНС:

ГРИГОРИЙ КИПЕРМАН,

доктор
экономических наук

КУДА ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ

**И ЕЩЕ СЕМЬ
ВОПРОСОВ,
КОТОРЫЕ
ЧАЩЕ ВСЕГО
ЗАДАЮТ
ЭКОНОМИСТУ**

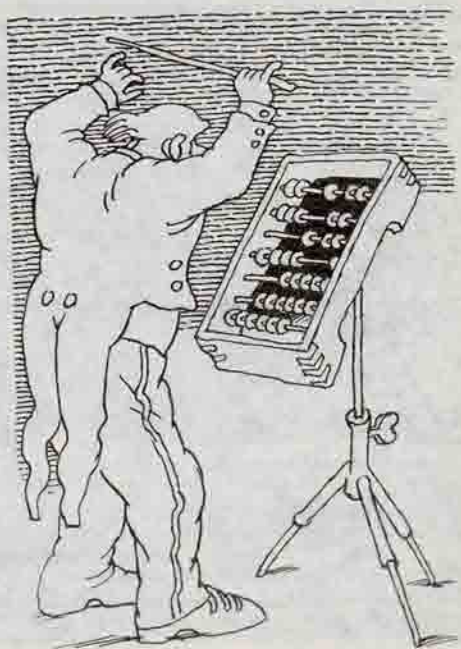


Рисунок СЕРГЕЯ ТЮНИНА

Иногда ученые-экономисты, словно оракулы, учат президентов, правительства, директоров и граждан, как жить. Позвольте мне не делать вид, что я обладаю неким «Высшим Откровением», а просто ответить на житейские волпросы, которые задают мне знакомые, соседи или попутчики...

Надо ли покупать валюту?

Чаще всего спрашивают: как в условиях сильной инфляции распорядиться деньгами?

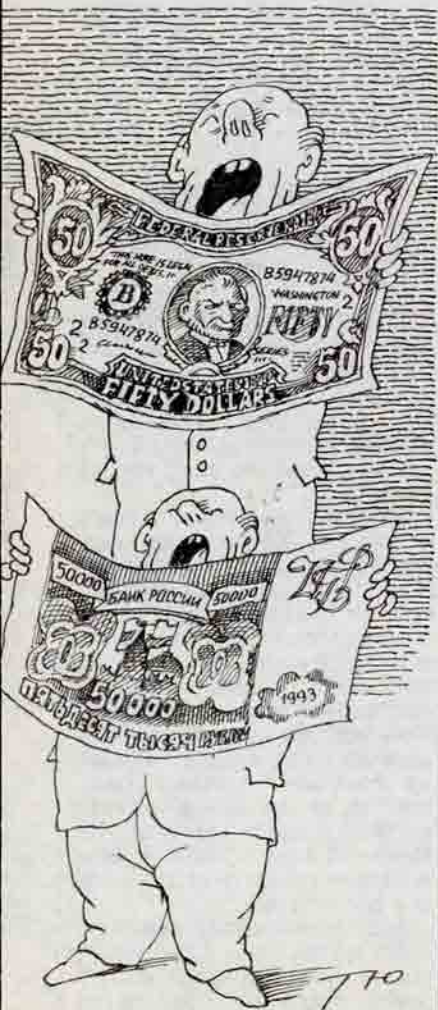
Если у вас есть сумма, достаточная для приобретения недвижимости (квартиры, земли, загородного дома), то это наиболее выгодный способ использования денег. Недвижимость никогда не дешевеет, но дорожает, обгоняя инфляцию, и в ближайшие десять — пятнадцать лет своей ценности не потеряет. Но для ее покупки нужны большие средства. Поэтому такой рецепт годится только для крупных коммерческих структур и толстосумов.

Для рядового гражданина, который живет на зарплату, подобная рекомендация, конечно, выглядит насмешкой.

Но и у такого человека может появиться, допустим, сто тысяч рублей — деньги вполне обычные для работающего, которые он захочет сберечь.

Для этого есть несколько путей: можно приобрести доллары; можно положить деньги в банк на срочный вклад (депозит); можно купить акции предприятий или коммерческих структур.

Давайте рассмотрим первый вариант: вы меняете рубли на доллары. Чего вы этим добьетесь? Сохраните свои деньги, несмотря на инфляцию. Если вы будете дер-



жать сто тысяч в кубышке, а за год цены возрастут хотя бы в пять раз, от ваших денег фактически останется пятая часть — 20 тысяч. А если вы на рубли купите доллары, то сколько у вас было в январе 1994-го, столько останется и в январе 1995-го. Вы ничего не выигрываете, но сохраняете реальную покупательную способность своих денег. Вы уберегли их от инфляции.

Нельзя сказать, что невозможны какие-то потери. Может быть, курс доллара упадет. Но вся мировая практика показывает, что резкого его падения не происходит.

Эта валюта достаточно устойчива. (Хотя американцы считают, что у них тоже инфляция, но она составляет пять-семь процентов в год — по сравнению с нашей, отечественной, инфляцией можно считать, что ее нет.)

Итак, купив валюту, вы сохраняете средства. Но вы хотели бы получить доход. Деньги, лежащие без движения, — абсурд. Они — выражение материальных ценностей, а материальные ценности должны находиться в обороте — работать. Поэтому вы можете поменять рубли на доллары и положить последние в банк. Правда, доход по таким валютным вложениям будет невелик. Наши банки дают по восемь-десять процентов годовых. Некоторые обещают до 36 процентов — это очень приличная ставка. Однако следует помнить: крупные и надежные банки гарантируют сохранение ваших средств, но дают меньший процент.

Менее надежные обещают больше, но вкладывать в них — риск выше.

Как распознать крупные и надежные банки? Периодически в «Финансовых известиях» (приложение к газете «Известия») публикуется рейтинг ста крупнейших банков России. В первой двадцатке — банки с большими собствен-

ными средствами, причем за этими средствами имеется сейчас и немало имущества. Поэтому, вложив валюту в один из них, вы гарантированы от банкротства и получите проценты, которые вам обещают.

Когда я говорю «обещают», не имею в виду рекламу. То, что пишут в рекламном объявлении, юридической силы не имеет. Это слова. Юридическую силу имеет договор, который вам предложат в банке.

Бывает, что в рекламе сулят одно, а в договоре написано другое. Постарайтесь быть с этим осторожными.

Хранить ли деньги в сберегательной кассе?

Вторая возможность сберечь рубли — положить их в банк. (Обычно самый маленький срок депозита — три месяца, а бывает — шесть, девять, двенадцать месяцев, два или три года.) Класть или не класть? Что выиграем, что потеряем?

Допустим, вы положили рубли в банк под 300 процентов годовых. Уберегли вы их от инфляции? Нет. Почему? Вы бы их уберегли, если бы цены за год выросли не более чем втрое. Но, к сожалению, они повышаются в пять-шесть раз непременно. Следовательно, если вы положите рубли на депозит даже под 300 процентов, а цены вырастут в шесть раз, вы половину своих денег потеряете. Средства, что вы положили в банк, вам реального дохода не дают. Вы сберегаете лишь их часть. Но если вы осознанно идете на это — такой шаг оправдан.

Ведь если вы продержали сто тысяч рублей у себя в тумбочке — это самое бессмысленное, что можно представить. Через год при росте цен хотя бы в пять раз фак-

тически у вас останется 20 тысяч. Если вы положили сто тысяч в банк под триста процентов, то спустя год у вас будет 400 тысяч. А учитывая инфляцию, это равносильно тому, что у вас останется 80 тысяч. Вы не уберегли деньги полностью, однако сохранили значительную их часть.

Самое неразумное — держать деньги без движения. Однако огромные суммы у людей просто лежат. Доходы населения превысили его расходы за девять месяцев прошлого года на ВОСЕМЬ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. Из них около двух триллионов люди положили в различные формы сбережений: депозиты, акции, обменяли на валюту. А где же остальные? ШЕСТЬ ТРИЛЛИОНОВ — на руках. Это говорит о том, что многие, к сожалению, не поняли: рубль, который лежит в кубышке, обесценивается. Деньги должны находиться в постоянном движении. Это, собственно, их сущность. Они являются средством обращения, средством платежа и в самой меньшей мере — сокровищем. Сокровищем являются драгоценности, золото, которые не теряют в цене. Наши бумажные деньги использовать в качестве сокровища бессмысленно. Однако многие люди, непонятно зачем, их копят.

Они еще не убедились, что выгоднее положить деньги в банк, хотя бы в сберегательный, который дает меньший процент, чем коммерческие, но у него больше преимуществ: территориальное — он имеет отделения по всей стране, плюс надежность — за спиной Сбербанк — государство, и он, конечно, не обанкротится «ни при какой погоде».

Шесть триллионов рублей на руках — не только бессмысленно для тех, кто их держит, но и лишает возможности государство и предприятия использовать эти средства в обороте, вызывает излишнюю потребность в наличности. Этой суммы не хватает для

денежного обращения. Приходится еще и еще печатать купюры.

Но если вы все-таки решили положить рублевые средства на депозит, то вам надо выбрать, на какой. Можно на год на безотзывный депозит (то есть в течение года вы их забрать не можете). Но может оказаться выгодным положить под меньший процент, если меньше срок депозита. Если вы положили на безотзывный депозит сто тысяч под триста процентов, то через год у вас станет четыреста тысяч. А если вам будут начислять не триста процентов, а двести, но по каждому кварталу, вы в итоге сможете получить больше. Почему? Вот проходит первый квартал. Вам начисляют исходя из двухсот процентов годовых четвертую часть, то есть пятьдесят процентов. Вы прибавляете к вашим деньгам — у вас получилось уже 150 тысяч. И во втором квартале проценты исчисляются уже к 150 тысячам. По итогам третьего квартала они опять прибавляются к возросшей сумме... Ставка может быть ниже, но если начисляются проценты на проценты и вы увеличиваете свою сумму ежеквартально, то можете при меньших годовых получить выше конечный результат. Поэтому надо внимательно смотреть, что конкретно предлагает банк.

Конечно, неприятно сознавать, но Россия — страна почти сплошной экономической неграмотности. За рубежом редкий человек не имеет счета в банке. Туда идет зарплата, через него происходит большая часть расчетов, и люди хорошо знают все эти тонкости. У нас не было ни возможности, ни необходимости разбираться в этом. Это нам не упрек; другой была система хозяйствования. Эти азы надо осваивать сейчас.

Стоит ли покупать акции?

Еще один вариант сбережения денег — покупка акций. Он может оказаться более привлекатель-

ным, чем другие. Это связано со специфическими особенностями приватизации и акционирования российских предприятий.

Дело в том, что реальное имущество предприятий не только обеспечивает стоимость акций, но и намного их превышает. Допустим, некий завод приватизирован. Его уставный капитал составляет десять миллионов рублей. Специфика нашей приватизации (не говорю о том, хорошо это или плохо — сие спорный вопрос) такова, что оценка имущества была произведена в старых ценах — тех, которые действовали на 1 июля 1991 года. А реальная стоимость имущества в новых ценах в 15—20 раз больше. На 1 июля 1992 года производилась переоценка основных фондов: зданий, сооружений, машин, оборудования — по коэффициентам, которые были спущены сверху. И происходило удорожание основных фондов в 18, 24, 30 и даже 36 раз. В результате уставный капитал акционерного общества-завода 10 миллионов, а реальная стоимость имущества может составлять и 100 миллионов, а может, и миллиард рублей.

Если уставный капитал 10 миллионов рублей, то и номинальная суммарная стоимость акций тоже десять миллионов. Вот я купил частичку от этих миллионов — одну акцию номиналом тысячу рублей. Потом, когда предприятие рано или поздно произведет изменение этого уставного капитала — увеличит в восемь, десять или двадцать раз, то я либо получу дополнительно восемь, десять или двадцать акций, либо номинал моей акции будет изменен, и вместо тысячерублевой у меня будет восьми- или 20-тысячерублевая акция. Обязательно! Иначе никак быть не может, поскольку я уже являюсь владельцем части этого уставного капитала.

У нас, правда, под акцией подразумевают бумагу, на которой написано слово «акция». Но дело не

в бумаге. Акция — это доля человека в уставном капитале. Допустим, она составляет 0,01 процента. И если уставный капитал вырос и вместо десяти миллионов рублей составит сто, моя доля останется, а величина ее соответственно увеличится. Моя тысячерублевая акция подорожает до 10 тысяч.

Поэтому я считаю разумным использовать свои средства для приобретения акций.

Кто сделает мой ваучер золотым?

Тем более рационально потратить на покупку акций приватизационный чек. (Думаю, мой совет не устареет и в феврале, когда выйдет этот номер журнала, — опросы показывают, что многие россияне не торопятся расстаться с ваучерами, а срок их действия продлен до 1 июля нынешнего года.) Кое-кто их, конечно, уже продал — не хочется никого обижать, но глупее не придумаешь. Реальная стоимость приватизационного чека намного выше, чем на нем обозначено, а его продавали «с рук» нередко даже за половину номинала.

Тот, кто работает на предприятии, которое приватизируется, вкладывает ваучер в него. Естественно. Было бы нелепо искать какие-то другие пути использования чека. Но все равно у многих остаются ваучеры. Куда же их разместить?

Можно обменять на акции чекового инвестиционного фонда. Таких сотни. Есть крупные, есть средние, есть мелкие. Купить ли их акции? Конечно, каждый человек должен решать сам, имея в виду достоинства и недостатки каждого инвестиционного фонда.

Есть у них преимущества? Бесспорно. Во-первых, это надежное вложение средств на долгие годы. Не только вы, но и ваши дети и внуки будут получать дивиденды.

Почему? Вероятность банкротства чекового инвестиционного фонда близка к нулю. Он ведь никакой производственной деятельностью не занимается. Он на ваши приватизационные чеки приобретает, в свою очередь, акции предприятий. А потом фонд по этим акциям будет получать дивиденды и как-то с нами рассчитываться.

Государство в известной мере предопределило порядок, как фонд будет распоряжаться нашими ваучерами: он не может вложить в какое-то предприятие более пяти процентов своего капитала. Значит, волей-неволей он вкладывает приватизационные чеки в двадцать разных акционерных обществ. А на самом деле — и в восемьдесят, и в сто... Допустим, какое-то из них обанкротилось. Или даже два. Или даже пять. Это еще возможно. Но все двадцать или тем более сто не обанкротятся. Это настолько маловероятно, что можно с уверенностью сказать: сам чековый инвестиционный фонд выживет. Поменяв свой ваучер на акции одного из фондов, вы распорядились им солидно, надежно.

Однако у такого решения есть оборотная сторона. А каковы будут при этом ваши доходы? Они зависят, во-первых, от того, какими будут доходы самого инвестиционного фонда, а с другой стороны, как он ими, доходами, будет распоряжаться. Было бы смешно рассчитывать, что создатели фондов заботятся в первую очередь о нас. Заботятся они, скорее всего, о себе. Просто не могут без нас обойтись. Приватизационные чеки у нас. Поэтому они и обещают «сделать наш ваучер золотым». А, заполучив чеки, они, конечно, будут главным образом решать собственные проблемы.

У фондов другого источника доходов, кроме как дивиденды по акциям, нет — как они их будут расходовать?

Им нужны помещения, компью-

теры... Им нужна зарплата, а они, как я вижу по отчетам, не особенно скупятся.

Так что, если есть средства, они будут расходовать их на свои нужды, а уж остаток станут направлять нам.

Правда, и здесь государство вмешивается. Установлен порядок, что фонды имеют право расходовать на себя не более тридцати процентов прибыли, а остальное должны направлять на выплату дивидендов. Думаю, это соотношение не очень справедливое. Возьмите какой-нибудь ваучерный фонд — там двадцать-тридцать сотрудников. Значит, они получают 30 процентов прибыли, а сотни тысяч его акционеров, мы с вами, отдавшие чеки этому фонду, получим остальное...

Да, приобрести акции приватизационного фонда — путь надежный, но дивиденды будут существенно ниже, чем если купить акции конкретного предприятия.

Как купить акции и не промахнуться?

Купить акции можно на чековом аукционе. Они проводятся по всей стране. В Москве от станции метро «Улица 1905 года» ходит автобус, на котором написано «Приватизация», и он подвозит прямо к Международному торговому центру — там на втором этаже проходят аукционы. Девушки-консультанты дадут вам список предприятий, которые продаются. А уж оценить их надо самостоятельно и выбрать то, которое покажется вам наиболее привлекательным.

Мы, как ни странно, очень падки на рекламу. Люди руководствуются чаще всего обещаниями с экрана ТВ — в отличие от Запада, где давно уже поняли, что к таким посулам надо относиться с большой долей скептицизма. А у нас люди еще слишком довер-

10

чивы и в первую очередь «клюют» на названия: ГУМ, ЗИЛ... Когда продавались акции ГУМа, было столько заявок, что во много раз превысило число этих акций. А ведь акции — такой же товар, как и всякий другой. Цену определяет соотношение спроса и предложения. Спрос — наши с вами заявки, предложение — акции. И когда спрос намного превышает предложение — естественно, товар дорожает. И люди на один 10-тысячный чек получили всего-навсего по семь сторублевых акций ГУМа... Много было желающих купить «кусочек ЗИЛа». Почему? Что, люди смотрели его экономические показатели? Они были опубликованы в газетах, но их не читали. Просто вся страна знает и ЗИЛ, и ГУМ...

А я бы посоветовал приобретать акции небольших предприятий, но, с вашей точки зрения, надежных, в отношении которых вы уверены, что их продукция будет пользоваться спросом в течение длительного времени, а это означает, что они будут работать устойчиво и велика вероятность, что они станут платить достаточно высокие дивиденды. Во всяком случае, большие, чем если бы вы купили акции инвестиционного фонда. Выбирать надо, во-первых, те, что по отраслевой принадлежности кажутся вам более надежными. Это почти все предприятия добывающих отраслей — безусловно, они надежны, потому что мало зависят от источников сырья. А вот акции текстильного предприятия я бы не купил, потому что оно зависит от импортного сырья, ему нужен хлопок, который без конца дорожает, поставляется из нестабильных регионов, и предприятие часто простаивает... И в пищевую промышленность вкладывать деньги и чеки не советую, потому что также не уверен в устойчивом снабжении ее сырьем. Ее показатели будут колебаться. Один год вы будете с дивидендами, другой —

без... А купить можно акцию предприятия нефтяной или газовой промышленности или того, что добывает металлы или минералы... И даже того, что производит песок и гравий, — оно надежно, потому что ни от чего не зависит, а потребность в строительных материалах у нас есть и всегда будет. Машиностроение — тоже не очень надежно. Только в единственной его подотрасли — автомобильной промышленности — объем производства практически не падает. У нас обширный автомобильный рынок в стране, и при разумной ценовой политике нашим авто обеспечен спрос на долгие годы. Есть и некоторые предприятия обрабатывающих отраслей, которые приспособились к рынку и выпускают продукцию, пользующуюся устойчивым спросом. Если вы такое акционерное общество знаете, «связывайтесь» с ним.

Можно, конечно, посоветоваться и с консультантом, который сидит на аукционе. А можно познакомиться с данными о каждом предприятии. Эти данные — самое надежное средство, потому что там имеются сведения о балансе, о том, сколько должно оно, а сколько — ему. Например, когда приватизировался ЗИЛ, заказчики были ему должны 22 миллиарда, а он задолжал поставщикам 27 миллиардов рублей — ситуация неблагоприятная. Эти сведения публиковались, однако покупатели не обратили на них внимания, и спрос на акции ЗИЛа был очень велик.

Так что, если вы приобретаете акции предприятия, надо бы посмотреть его показатели: платежеспособность, кредитоспособность, рентабельность... Это только кажется сложным: следует сравнить, сколько должно предприятие и сколько должно ему, — это элементарная процедура. Точно так же можно сравнить рентабельность за последние три года. Необязательно, чтобы она из года

в год росла, но если этот показатель устойчив в течение последних лет, значит, можно на это акционерное общество положиться, а если рентабельность скачет, то это подозрительно, лучше такого производителя избегать.

Если вы придете на аукцион, вам предложат список из двух десятков предприятий. Не торопясь ознакомившись с ними, можно отыскать одно или даже два таких, которые вам покажутся наиболее привлекательными. На него не нужно ехать. О многом расскажут проспекты эмиссии, которые публикуются в газетах и обязательно есть в месте проведения аукциона. Итак, на что в основном обратить внимание: на отраслевую принадлежность предприятия; его оплаченный уставный капитал (именно оплаченный — он показывает, сколько имущества и средств уже сейчас, сегодня «за душой» у предприятия и чем оплаченный уставный капитал больше, тем оно надежнее); долги акционерного общества, его рентабельность за последние три года.

Словом, в заводы можно вкладывать не только ваучеры, но и деньги. Но не в первый встречный, а в тот, в надежности которого вы не сомневаетесь.

Что такое ценные бумаги?

К ним относятся не только акции, но и облигации, сертификаты, векселя... Что такое, например, векселя? До революции в России они были широко распространены, бурное развитие получили во время нэпа: тогда вексельное обращение у нас было даже распространенней, чем во многих буржуазных странах... Но действовали они до 31 декабря 1929 года, а потом были запрещены: товарно-денежные отношения сворачивались. Сейчас векселя восстанавливаются. Вышел Указ Президента, который предусматривает принудительное оформление финансо-

вых обязательств в виде векселей.

Это очень правильная мера. Допустим, я — директор и должен соседнему машиностроительному заводу 2 миллиона рублей, а мне завод строительных материалов должен 3 миллиона рублей. Все друг другу должны, а денег на счету нет. Но теперь я могу взять у завода-должника два векселя — на два миллиона и на миллион с указанной датой платежа. И с машиностроительным заводом, который ждет от меня миллион, рассчитываюсь векселем: мой долг перед ним погашен.

Таким путем можно ликвидировать около половины взаимных задолженностей предприятий. На ноябрь прошлого года предприятия страны были должны друг другу около 12 триллионов рублей. Вексель — безоговорочное финансовое обязательство, поэтому резко повышается ответственность предприятий. В указанный срок этот платеж должен быть произведен безо всяких условий и оговорок. И, если вы не платите, долг может быть возмещен вашим имуществом. Это неразрывно связано с законом о банкротстве (закон вышел, но пока мало применяется). Конечно, число банкротств увеличится. Ну и что? Это же отражает реальное положение вещей. Некоторые предприятия сейчас являются скрытыми банкротами. Они столько должны, что расплатиться не смогут — просто это не бросается в глаза. А с помощью векселей скрытые банкроты станут явными. Экономике это пойдет на пользу.

Можно ли заработать на биржевых спекуляциях?

Вы хотите играть на курсах акций, как герой драйзеровского «Финансиста»? Ну, допустим, у вас есть пакет акций некой компании номинальной стоимостью

сто тысяч рублей, и вы ежедневно просматриваете котировки. И видите: в это воскресенье курс тысячерублевой акции — 2500, а в прошлое был 2300, но вы не бежите продавать, ждете, что он еще повысится... А курс вдруг упал до 2100. Оказывается, когда стоимость достигла 2500, надо было акции продавать. Как же этот момент уловить?.. Надо быть в этой сфере профессионалом. Надо знать факторы, определяющие движение курсов, а факторов много, и действуют они в разных направлениях. Ведь на котировку влияет даже политическая ситуация в далекой стране. Вот у нас 3—4 октября известные события произошли, а аукнулось на Нью-Йоркской фондовой бирже. Казалось, какое им там дело? Напрямую — нет. А косвенно — есть... Поэтому нужно быть специалистом, как Фрэнк Каупервуд, игравший на бирже. Нужно знать все эти факторы, прослеживать их систематически, непрерывно, обладать сильной интуицией. С бухты-барахты специалисты в области фондового рынка не появляются. Они складываются в результате многолетней практики. Набьют шишки, может, и прогорят, но если поставили целью стать мастерами в этой области, то постепенно освоятся. И у нас будут брокеры не хуже, чем на Франкфуртской, Лондонской или Нью-Йоркской биржах.

Пока наш фондовый рынок, то есть рынок ценных бумаг, в процессе становления. К тому же акции являются только именованными. Конечно, их можно покупать и продавать, но это долгая песня. Если я купил акции АвтоВАЗа в конторе у московского метро «Бауманская», то и продать их могу только там. В офисе ведется реестр акционеров. Нового владельца должны в него записать. Естественно, для биржевого игрока все это долго и неудобно.

Однако сейчас подготовлен за-

кон об акционерном обществе. Проект предусматривает выпуск акций и на предъявителя. Это резко расширит возможности их купли-продажи. Фондовый рынок оживится.

Скупают ли наши заводы иностранцы?

В начале приватизации говорили: теперь каждый россиянин станет хозяином заводов и фабрик. Конечно, в пропагандистской шумихе было больше громких слов, чем экономического смысла. Раздробление имущества между миллионами граждан реальных собственников не создает. Это скорее собственники формальные.

Был я на машиностроительном заводе, который стал теперь акционерным обществом, спросил у заместителя директора: у вас всегда воровали, как сейчас? Он: как воровали, так и воруют. Акционеры — и воруют? Так какие ж это собственники? Какие хозяева? Свое ж не воруют!.. От того, что тысяча наемных рабочих стала тысячей акционеров, ничего не изменилось.

От того, что у меня три акции ВАЗа, разве стал я его собственником? Номинально — да. А фактически? Разве я могу этой собственностью распоряжаться? Со своими тремя акциями я никогда не поеду на общее собрание акционеров — мне проезд дороже обойдется. Я практически не участвую в управлении заводом — неинтересно мне, имея три тысячи из миллиардной собственности ВАЗа.

Реальные собственники — те, кто владеет большими пакетами акций. Они появляются с течением времени. Пакеты акций станут концентрироваться в руках отдельных лиц. Когда несколько человек будут их иметь, они станут настоящими хозяевами. Хозяевами не потому, что будут получать большие дивиденды, а потому, что станут

рисковать значительной частью своего личного имущества. Фактически они будут предпринимателями. Приобретение акций — один из видов предпринимательской деятельности. Но, купив одну акцию, я мало чем рискую. Обанкротится, не дай Бог, ВАЗ — три тысячи рублей на моем благосостоянии не так уж отразятся. Но если у человека крупный пакет — он по ночам не спит, думает, как организовать работу, чтобы его деньги не только не пропали, но и дали прирост и чтобы был этот прирост не меньше, чем проценты в банке.

А реальными хозяевами станут, во-первых, представители нынешней администрации заводов. Например, мой знакомый директор швейной фабрики в Тамбове владеет примерно 25 процентами ее акций — потому, конечно, не допустит банкротства и уж постарается, чтобы фабрика работала эффективно.

Многими предприятиями завладеют отечественные коммерческие банки. У них сейчас накопились значительные средства. Мы находимся накануне слияния банковского капитала с промышленным. В работе «Империализм как высшая стадия капитализма» Ленин рассматривает такое слияние как элемент загнивания. Но я считаю, что Ленин «пошутил», потому что на деле слияние банковского и промышленного капитала — проявление прогресса. Процветают прежде всего те фирмы, которым удалось этого достичь.

Третья группа будущих хозяев — отечественные предприниматели. Их не так мало. Сейчас в России людей, имеющих пять и более миллионов рублей, насчитывается по крайней мере три миллиона. «Средний класс» растет — это нормально, и его представители будут владельцами значительной части заводов.

Проникает к нам иностранный капитал. Ему сейчас исключительно выгодно скупать наши пред-

приятия. Напрямую это сложно, а через подставных лиц — сколько угодно. Есть уже множество примеров, когда приезжает человек из какого-нибудь штата Мичиган, за 12 тысяч долларов (что на наши деньги составляет примерно 15 миллионов рублей) покупает контрольный пакет акций фабрики где-нибудь в Подольске или Костроме, выбирает себя в совет директоров или даже в председатели этого совета... Конечно, ему это выгодно, потому что благоприятен курс доллара. У себя в Мичигане за 12 тысяч долларов он может купить только кусок проходной, а у нас — третью часть завода, тем более что акции продаются по ценам 1991 года...

Бесспорно, часть акций попадет в руки мафиози. И избежать этого невозможно. Я был недавно в поволжском городе и твердо убедился, что акции многих тамошних предприятий принадлежат мафиозным группировкам. Это уже свершившийся факт. И некоторые представители преступного мира превратятся в нормальных предпринимателей. Далеко не все они склонны всю жизнь ходить по острию. Можно долго спорить, хорошо это или плохо, но слой капиталистов, хозяев возникает на наших глазах. И, какими бы ни были их первоначальные капиталы, их появление все-таки повысит эффективность российской экономики.

P. S. Если у вас возникли еще какие-то вопросы об экономике, что называется, обыденной, житейской, — пишите в «Смену», я постараюсь ответить на них на страницах журнала.

Это написано Иваном Алексеевичем Буниным в Париже в те самые дни, когда в холодной, метельной Москве вышел первый номер нового советского журнала «Смена». Случайное совпадение? Конечно. Но дело в другом.

Даже самому воспаленному воображению невозможно было представить тогда, что это произительно-горькое «Слово изгнанника» появится на страницах «Смень», пускай и с опозданием в семь десятилетий. И немудрено: тогда и долгие-долгие годы после «Смена» утверждала то, чего великий русский писатель не принял и принять не мог. В то самое время, когда с энтузиазмом молодости и безоглядностью веры «Смена» славил революцию и разум ее вождей, Бунин всей силой своего таланта и с горечью оскорбленного сердца проклинал переворот, предавал анафеме ложную мудрость и нравственный идиотизм самозванных освободителей России. Но в тот субботний вечер — 16 февраля 1924 года, — когда в маленьком зале на Boulevard St-Germain, 184, перед не очень-то многочисленной аудиторией читал он это Слово, многомиллионный читатель в России услышать его не мог — по причинам, увы, слишком хорошо нам известным.

Ну, а если бы — представим себе такое — и услышал? Отравленный уже ложью и вкусивший новой морали, понял бы он, почувствовал, разделил бы боль, которая, заглушенная долголетним наркозом лжи, лишь недавно проснулась и саднит? Нет, далек, очень далек еще был суд истории, а приговор его мог

ИВАН БУНИН

МИССИЯ

РУССКОЙ

ЭМИГРАЦИИ

быть угадан очень немногими прозорливыми, которые жили тогда в России не шелохнувшись, затаив дыхание.

Но вот провернула история красное свое колесо и в другой повозке, по иной колее покатила Россия дальше — ведомо ль куда, но Слово вечного ее писателя, семьдесят лет тому назад написанное, семь десятилетий спустя является на страницах «Смены».

Можно сказать обычное в таких случаях, а в наши дни и довольно обкатанное: лучше поздно, чем никогда. Оно, конечно, так. Но есть обстоятельства и более серьезные, в конце концов и побудившие нас предложить сегодняшнему читателю строки, которые обычно появляются только в полных — академических — собраниях сочинений великих писателей.

В самом деле, по жанру, по сюжету, наконец, это публицистика — иными словами, вещь временная и временная. И обращается здесь Бунин к соотечественникам, к тем, «кои́м было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств», и как бы договаривая здесь то, чего пятью годами раньше недосказал в «Окаянных днях». Но устарело ль это бунинское Слово сегодня, когда другие поколения живут и дышат на русской земле?

Нет, не устарело. Не устарело потому, что это «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», потому еще, что это — Бунин и потому, наконец, что память наша об окаянных днях по-прежнему болит, по-прежнему не затихает, а затихнет ли — Бог весть.

Соотечественники! Наш вечер посвящен миссии русской эмиграции. Мы эмигранты — слово «*émigré*» к нам подходит как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причиной, в силу которой мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но, в сущности, сводятся к одному: к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторой поры в России, были в том или ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.

Миссия — это звучит возвышенно. Но мы и взяли это слово вполне сознательно, памятуя его точный смысл. Во французских толковых словарях сказано: «Миссия есть власть, данная делегату идти делать что-нибудь». А делегат означает лицо, на котором лежит поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти торжественные слова в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы представлятельствуем за кого-то? Цель нашего вечера — напомнить, что не только можно, но должно. Некоторые из нас глубоко устали и, быть может, готовы под разными злостными влияниями разочароваться в том деле, которому они так или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине никчемным или даже зазорным. Наша цель — твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая возложена судьбой на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов. Исключите

из этого числа десятки и даже сотни тысяч попавших в эмигрантский поток совсем несознательно, совсем случайно; исключите тех, которые, будучи противниками (вернее, соперниками) нынешних владык России, суть, однако, их кровные братья; исключите их пособников, в нашей среде пребывающих с целью позорить нас перед лицом чужеземцев и разлагать нас, — остается все-таки нечто такое, что даже одной своей численностью говорит о страшной важности событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное право пользоваться высоким языком. Но численность наша — еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо нечто, заключающееся в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было сказать, что легла на нас миссия немомго указания: «Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллионы из числа русских душ, свидетельствующих, что не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллионы душ, облаченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить дома и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всяческого человеческого благополучия, испытать врага, столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества. Взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, может быть, роковых для тебя страниц!»

Так было бы, говорю я, если бы мы были просто огромной массой беженцев, только одним своим наличием вопиющих против содеянного в России, были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями, разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против московских убийц.

Однако это не все: русская эмиграция имеет право сказать о себе гораздо больше. Сотни тысяч из нашей среды восстали вполне сознательно и действительно против врага, ныне столицу свою имеющего в России, но притязующего на мировое владычество, сотни тысяч противодействовали ему всячески, в полную меру своих сил, многими смертями запечатлели свое сопротивление — и еще неизвестно, что было бы в Европе, если бы не было этого сопротивления. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего, Божеского образа и подобия. И еще — от имени России: не той, что предала Христа за тридцать сребреников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой — подъяремной, страждущей, но все еще до конца не покоренной. Мир отвернулся от этой страждущей России, он только порою уподоблялся

тому римскому солдату, который поднес к устам Распятого губку с укусом. Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма — в Германию. Но когда дело идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешательстве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские «внутренние дела», то есть на шестилетний погром, длящийся в России, и вот дошла даже до того, что узаконяет этот погром. И вновь, и вновь исполнилось, таким образом, слово Писания: «Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров тучных, сами же от того не станут тучнее... И темнота покроет землю, и мрак — народы... И лицо поколения будет собачье...»

Но тем важнее миссия русской эмиграции.

Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека. Падение России ничем не оправдывается. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было, ибо, несмотря на все эти недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях: «Революция, говорят, была неизбежна, ибо народ жаждал земли и таил ненависть к своему господину и вообще к господам». Но почему эта будто бы неизбежная революция не коснулась, например, Польши, Литвы? Или там не было барина, нет недостатка в земле и вообще всякого неравенства? И по какой причине участвовала в революции и во всех ее зверствах Сибирь с ее допотопным «обилием» «крепостных уз»? Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и как, и под каким знаменем? Сделано оно было ужасающе, и знамя их было и есть интернациональное, претендующее быть знаменем всех наций и дать миру взамен древних божественных уставов нечто новое и дьявольское.

Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный благопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, чем он даже всячески прославляется, возводится в перл создания и годами длится при полном попустительстве всего мира, который уж давно должен был бы крестовым походом идти на Москву.

Что же произошло? Как ни безумна была революция во времена великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее. Новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все мы грудью защищали его. Но Россия, поджигаемая «планетарным» злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истины в религию, Россия уже сошла с ума — сам министр-президент на московском совещании в августе 17-го года заявил, что уже зарегистрировано! — десять тысяч зверских и бессмысленных народных «самосудов». А что было затем? Были величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования, начавшееся с убийства Духонина

и «похабного» мира в Бресте и докатившееся до людоедства. Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь втоптать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить «Семь заповедей Ленина». И дикарь все дробил, все топтал и даже дернул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол: он вторгся в самая Святая Святых своей Родины, а вместо того страшного и благословенного таинства, где века почивал величайший Зиждитель и Заступник ее, коснулся раки Преподобного Сергия, гроба, перед коим веками повергались целые сонмы русских душ в самые высокие мгновения их земного существования.

Боже! И вот к этому самому дикарю должен идти я на поклонение и служение? Это он будет хозяином вся новой Руси, осуществившим свои «заветные чаяния» за счет соседа, зарезанного им из-за полдесятины лишней «земельки»? В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводел слова великого русского историка Ключевского: «Конец русского государства будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампы над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры». Великие слова, ставшие ужасными! Основы разрушены, врата закрыты и лампы погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле — и нельзя, преступно служить ее тьме.

Да, колеблются устои всего мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы был выкинут самый Гроб Господень: ведь московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении даже самым римским наместником Христа. Мир одержим еще небывалой жаждой корысти и равенством на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону, Содому и Гоморре. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгуют, Содом и Гоморра ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все выше подымающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) — разжиганием ее зависти.

Как приобрести власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гоморру, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей. И вот образовалось уже в мире целое полчище провозвестников «новой жизни», взявших мировую привилегию, концессию на предмет устройства человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по этому делу — тысячи членов всяких социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но чтобы достигнуть всего этого, надобны, повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови. Главное же, надо лишить толпу «опиума религии», дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот «планетарный» скот — другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей

деятельности нечто чудовищное, потрясающее: он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серожелтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут: «Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демидур!» Московские поэты, эти содержанцы московской красной блудницы, будто бы родящие новую русскую поэзию, уже давно пели:

*Иисуса на крест, а Варавву —
Под руки и по Тверскому...
Кометой по миру вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиной...**

И если все это соединить в одно — и эту матерщину, и шестилетнюю державу бешеного и хитрого маньяка, и его высовывающий язык, и его красный гроб, и то, что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демидурга, и о том, что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу: ведь ноги-то «раскорячиваются» действительно очень далеко и очень смело. В свое время непременно падет на все это Божий гнев — так всегда бывало. «Се Аз восстану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря...» И на Содом и Гоморру, и на все эти Ленинграды падет огонь и сера, а Сион, Божий град Мира, пребудет веками. Но что делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?

Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими «ледяными походами», что она не только за страх, но и за совесть не приемлет ленинских градов, ленинских заповедей, миссия эта и заключается ныне в продолжении этого неприятия. «Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!» Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем его, — это наше право и даже наш долг, — и расцениваем с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. «Они не хотят ради России претерпеть большевиков!» Да, не хотим — можно было претерпеть ставку Батяна, но Ленинград нельзя претерпеть. «Они не прислушиваются к голосу России!» Опять не так: мы очень прислушиваемся, и все чаще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи.

Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда

* С. Есенин.

и пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не «планетарной» матерщине, хотя бы и одобренной самим Макдональдом. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: «Ах, ах, тра-та-та, без креста!»* и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего воссияния. Пылала! Не пора ли остановить эту бессердечную и жульническую игру словами, эту политическую риторику, эти литературные пошлости? Не велика радость пылать в сыпном тифу или под пощечинами чекиста! Целые города рыдали и целовали землю, когда их освобождали от этого пылания. «Народ не принял белых...» Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа. Но, слава Богу, это не совсем так: не приняла хулиганы да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут назад ворованное и грабленное.

Россия! Кто смеет учить меня любви к ней? Один из недавних русских беженцев рассказывает, между прочим, в своих записях о тех «забавах», которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убивали однажды нищего старика (по их подозрениям, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко, с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупa, и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам: лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебывается от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до последнего моего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, — да святится во веки его память!

Под триумфальными воротами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почивает белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те ворота, где то пламя, что были бы достойны этой могилы. Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того да будет нашей молитвой не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для несправедливого времени сего, и для будущих праведных путей самой же России.

А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России, и особенно ее материальных интересов. Это мой Бог и моя душа. «Ради самого Иерусалима не отрекись от Господа!» Святой кн. Михаил Черниговский шел в Орду для России, но не согласился он и для нее поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть.

Говорили — скорбно и трогательно, — говорили на Древней Руси: «Подождем, православный, когда Бог переменит орду».

Давай подождем и мы. Подождем соглашаться на новый «похабный» мир с нынешней ордой.

* А. Блок.

ОГНЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ

Усадьбу подожгли. Смерд пил и веселился.
 Всю ночь огонь пылал...
 И пламени язык от братьев отделился —
 И человеком стал.

Он видимость обрел в земле глухой и грешной,
 Но в ярком свете дня
 Он оставался тем, кем был во тьме крошечной
 Среди жителей огня.

Пришел он в этот мир не лес поджечь иль поле —
 Он послан к людям был
 За буйные мечты о беспробудной воле
 И кровожадный пыл.

Жестокие сердца огнем зажег он злобы
 И помрачил умы,
 И кровью без вины окрасились сугробы
 Чудовищной зимы.

Пошел на брата брат, до иступленья жадный,
 И дом восстал на дом.
 Повсюду проникал пришелец беспощадный,
 Полуночный фантом...

И запылал по всей земле необозримой
 Невиданный пожар,
 И новый век настал — как зверь, неумолимый
 И полный темных чар.

И видели тогда духовными очами:
 Летает на коне
 Властитель огненный, и вьется за плечами
 Багровый плащ в огне...

Когда же досыта хмельной крови напился
 Погибели посол,
 Он в огненный кумач незримо превратился
 И к пропасти повел.

≡
 Как от неровной устают ходьбы,
 Так устают и от духовной битвы.
 Не ограждают жаркие молитвы
 От темного глумления судьбы.

Земные обстоятельства грубы,
 Немало в жизни примете обид вы.

*Душа — предмет невидимой молитвы
И знак желанный Божьей молотьбы.*

*Внимает нам всевидящий Господь,
Он знает, как томятся дух и плоть,
Он страждущим готовит утешенье...*

*Но от земли небесный свод далек,
Там человек безмерно одинок,
И от земного нет ему спасенья.*

ХРАМ

*Я вижу отраженье храма
В разбитом зеркале воды:
Он там стоит светло и прямо,
Еще не ведая беды,
Как будто нового столетья
Не начался безумный бег,
И жизнь в пучину лихолетья
Еще не канула навек...*

*Я вижу храма отраженье,
Хотя его давно уж нет.
Напрасно мне воображенье
Рисует зыбкий силуэт...
И час Христова воскресенья
Еще не пробил и дондесь,
И от судеб не ждать спасенья,
И свято место пусто здесь.*

ИЗ ШЕКСПИРА

*Скажи, Создатель, скоро ли конец?
Невыносимей видеть год от года,
Как над правдивым верх берет подлец,
Как убивают «именем народа»;*

*Как выгоды блудут холуй и льстец,
Как пастыри жиреют от прихода,
Как истины трубит продажный лжец,
В какую грязь затоптана свобода;*

*Как сеют зло убийца и глупец,
Как на жестокость не проходит мода,
Как у живущих правит бал мертвец
И как умерщвлена людьми природа...*

*Устал я жить. Не медлил бы и дня!..
Но другу будет плохо без меня.*

≡
Я надыхался воздухом мечты,
На прибалтийском холоде согрелся,
В чужие лица пристально всмотрелся —
И не нашел духовной красоты...

Но полюбил я скромные цветы,
И камень, что, как в бархат, в мох оделся,
И пламень, что над взморьем разгорелся,
Как отсвет недоступной высоты.

Как странно путешествовать изгоем
И по душам беседовать с прибоем,
Пугая чаек, спящих на песке, —

И знать, что постоянен без обмана
Лишь этот берег с проседью тумана,
Непрошенной, как проседь на виске...

≡
Дубовый лист опал; березовый — под ним;
Уснувшая земля хрустящим плодом скрыта,
И мнится: все прошло, истлело, позабыто,
И листья прежних дней развеял горький дым...

Аллеей жизни кто проходит невредим?
И цель ее кому без долгих мук открыта?..
Окончены дела. В полях убрали жито.
Путь, пройденный тобой, принадлежит другим.

Я знаю, этот лес меня не замечает;
Он в осень погружен и весь сквозит и тает,
Он словно ветхий дом, покинутый навек.

И гаснет звук шагов,
И пахнет сном и прелью...
Печален листопад. Стократ печальней снег...
И капелькам дождя не скоро стать капелью.

≡
Все чувства высохли... Дай, Господи, дождя!
Им напитай Твои сады, леса и нивы;
Дай влаги всем, кто немощен, ленив
И кто клянет удел свой, с места не сойдя...

Дай влаги робким, косным и незрячим,
Жестокосердным, грубым и глухим,
И тем, чья жизнь — Тебе высокий гимн,
И тем, кто каждый день заканчивает плачем.

Всем ниспосли целительный покой,
Забвение скорбей, надежду и в несчастье,
И лилий полевых от смертного ненастья
Плащом любви Твоей укрой.



Печальный круг земной,
пустырь злосчастный Бога,
Безмерно ты далек от звонкой выси звездной!
Непросветленного в тебе страданья много,
Ведь ты — последний мир над горестною бездной,

Последний вертоград, насаженный для блага;
Последний светлый дол, куда слетают грезы...
В тебе еще течет живительная влага,
А ниже — лишь одни напрасной скорби слезы...

Земля убогих нужд, засыпанная пылью,
Что горние к тебе притягивает души?
Но, чем острее боль и чем надежда глуше,
Тем шире будет взмах прорезавшихся крыльев.

ДВА КРЫЛА

Ангел родился на грешной земле,
В маленьком свертке лежал на столе;

Солнца светлее улыбка была,
Ярко сияли два белых крыла.

Видела крылья счастливая мать,
Но никому не могла рассказать.

Жизни пора золотая прошла,
Тихо исчезли два белых крыла.

Не остановится времени бег:
Ангел родился, а стал — человек;

Жил, как и все, суется и спеша...
Но не забыла о крыльях душа.

Смутно о чем-то мечтала она,
Тихо парила в забвение сна;

Темное горе, житейская ночь,
Помня о крыльях, смогла превозмочь...

Жизнь промелькнула, кончина пришла —
Вновь засияли два белых крыла.

Здесь тополя оставлены в живых,
А люди умирают понемногу
И, приближаясь к вечному порогу,
Не понимают горьких лет своих.

Здесь немотою мучается стих,
Душа не знает, как молиться Богу,
И лишь внушает смутную тревогу
Ей зрелище преступных дел людских.

Здесь правда похоронена навеки,
Здоровых здесь уродуют калеки,
И каждый с детства пал и осужден.

Здесь поднял век чудовищные веки,
И убивает душу в человеке
Двадцатого столетья Вавилон.

Мой друг, я знаю: жизнь не удалась.
В неизвестности смолкает лиры пенье,
И с миром человечьям порвалась
Связующая нить долготерпенья.

Но есть и край, где дышится спокойней,
Где слово брани так не ранит слух,
И жизнь, пускай чужая, все ж достойней,
Хотя и там скорбит, быть может, дух.

Ну, что ж! Душа давно уйти решила,
Хотя порой ее сомненья гложет,
Отсюда, где ничто не совершилось,
Туда, где совершиться уж не может.

Истаивают свечи неприметно,
Неслышно истончаясь, тает лед,
Минуты истекают безответно...
Однажды жизнь куда-то вдруг уйдет.

Она щедра: и радости заветной,
И светлых, и мучительных забот,
И суеты, и муки беспросветной
За долгий век сполна тебе дает...

Но все как дым растает, дай лишь срок.
Изменчив мир, но не всегда жесток.
И ты, как потерявшийся ребенок,

Стоишь один и смотришь на закат.
Ты одинок и временем богат,
А мир опять, как в детстве, пуст и звонок...

АЖИДАЛОС

Эндрю Меллиш никогда не был здесь раньше и скорее всего больше никогда не будет. Хотя он ничего не различал в темноте, Меллиш знал, что в комнате стоит письменный стол и за ним кто-то сидит. Сидящий говорил спокойно, тщательно выбирая слова, в его голосе слышалось лишь легкое напряжение. Меллиш никогда раньше не слышал этого голоса и вряд ли когда-нибудь еще услышит.

— Вам выдадут досье на трех человек. Мы считаем, что они самым прямым образом намеренно способствовали провалу проекта Средне-Атлантического Искусственного Острова и случившейся там аварии, повлекшей за собой гибель многих сотен людей.

— Значит, это все-таки был не несчастный случай? Не ошибка в расчетах или просто роковое стечение обстоятельств?

— Нет, никоим образом. Мы прогнали наши данные через компьютер семь раз и теперь абсолютно уверены в этом. Преступная халатность, саботаж и махинации, в том числе махинации со страховкой. Они думали только о собственной выгоде.

— И нет никакой возможности возбудить против них дело?

— Ни малейшей. Законными средствами доказать ничего нельзя, поэтому возбуждать дело было бы неразумным. Они все прикрыли. Теперь дело за нами, вернее, за вами. Всех троих надо ликвидировать, а сообщение об этом должно просочиться в прессу. Последнее — наша работа, а вы займитесь ликвидацией. В соответствии с «Кодексом». Понятно?

— Понятно, — вздохнул Меллиш. — В соответствии с «Кодексом». — Он вытянул руку, нащупал в темноте стопку картонных папок и притянул к себе. Затем повернул голову и увидел слабое фиолетовое сияние, двигавшееся по направлению к выходу. Сделав несколько поворотов, Меллиш вышел из дома, и в глаза ему ударил дневной свет.

Человек, сидевший за письменным столом, поднялся и немного постоял, чтобы успокоиться. Ему часто приходилось делать подобное, но всегда сжималось сердце, когда он отдавал приказ убить человека. Не важно, что некоторых людей можно было назвать людьми только из вежливости, что их невозможно было изблечить и наказать по закону, что иного способа восстановить справедливость не существовало — все равно это был очень неприятный момент. Потом он вспомнил о Меллише и, глядя

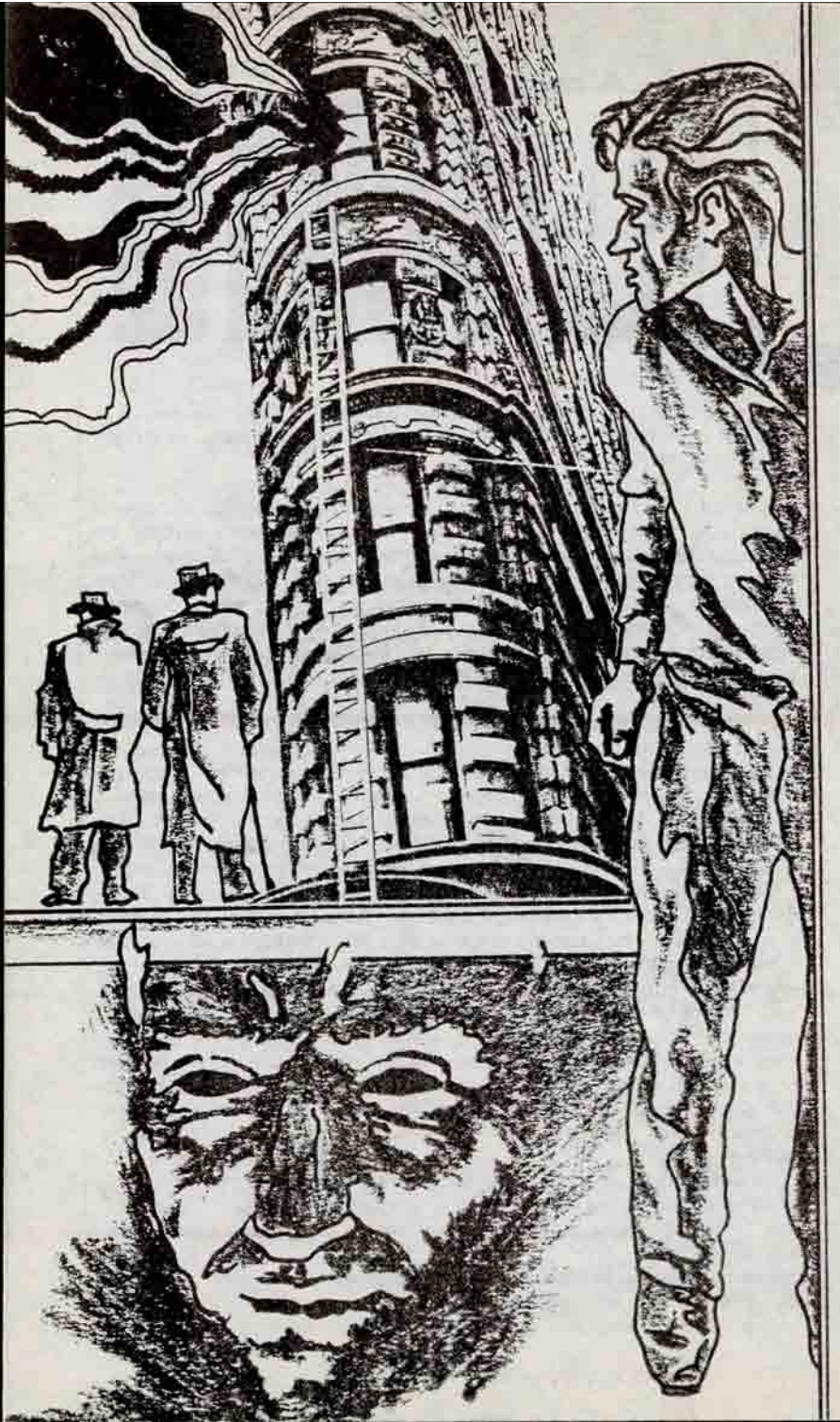
Она пята

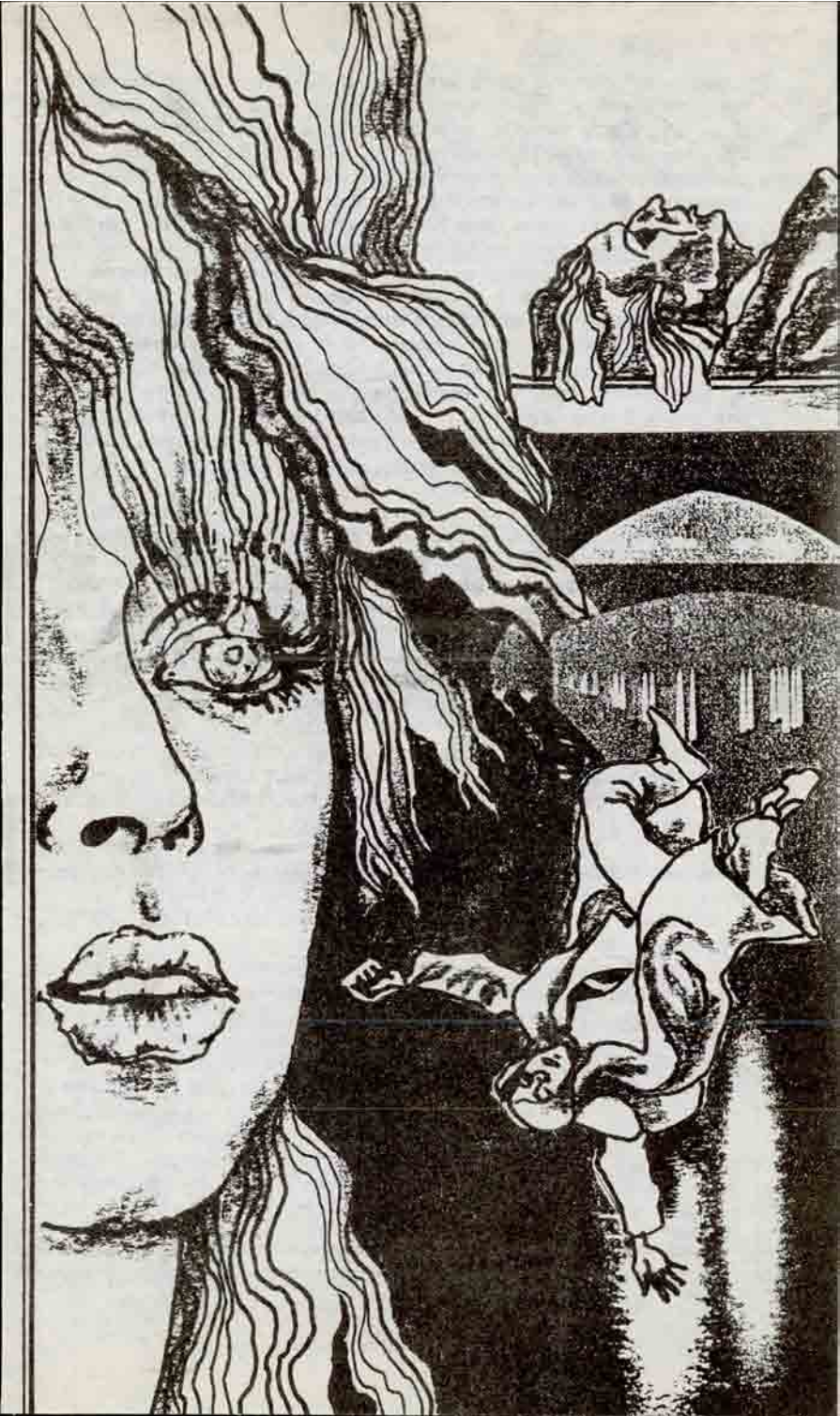
в темноту, покачал головой. Агенту намного хуже, чем ему. Он должен осуществить решение, более того, осуществить, не отступая от «Кодекса».

Внешность Меллиша могла бы привести в восторг того, кто поставил себе целью изучить человека, абсолютно ничем не выделяющегося в толпе. Он выглядел настолько обычно, что всякое детальное описание показалось бы преувеличением. Эти обычность, нейтральность и серость стали до такой степени частью его существа, что Меллишу больше не приходилось напрягаться, сознательно сохраняя их. И сейчас, когда он выбрал столик под полосатым зонтом и подал знак официанту принести рюмку анисовой водки, он вел себя абсолютно естественно. Быстро окинув взглядом прохожих, Меллиш стал изучать полученное досье. Это надо было делать очень тщательно, поскольку каждое дело содержало мельчайшие и, казалось бы, незначительные детали, собиралось с необычайной дотошностью и к тому же было напечатано специальным составом, который начинал бледнеть, как только на бумагу попадал свет, так что буквы исчезали через три часа, не оставляя никаких следов.

Он не знал, что за ним наблюдают, что мощная линза телефотокамеры направлена на него с балкона дома на другой стороне площади. Сквозь стекло линзы его внимательно изучали быстрые и наблюдательные серые глаза — его небрежную позу, непринужденные жесты, явно выраженную заинтересованность тем, что он читает. Линзы были так совершенны, что девушка, которой принадлежала камера, могла бы прочесть, что напечатано в досье крупным шрифтом. Но это ее не интересовало. Она гораздо больше была заинтригована человеком, за которым наблюдала. Глаза и интуиция профессионального фоторепортера позволили ей заметить то, что наверняка ускользнуло бы от любого другого.

«Я никогда еще не видела человека, который с таким совершенством умел бы раствориться в окружающем, — бормотала она. — Или я полная дура, или он что-то скрывает. Во-первых, конечно, самого себя, но не только. В любом случае никто не сможет навлечь на себя меньше подозрений, чем этот невидимка, что делает его исключительно интересным объектом для наблюдения. Наверное, стоит еще немного заняться им...»





Меллиш дочитал материалы досье. До того как стать оперативным агентом, ему приходилось собирать подобные сведения. В настоящий момент он держал в руках полный анализ жизни трех человек: описание внешности, снабженное тонкими и точными рисунками с многообразными световыми эффектами, подчеркивавшими особенности гораздо живее, чем любая фотография; сведения о последнем месте жительства, занятиях, партнерах и так далее, вплоть до детального разбора психологических особенностей — страхов и пристрастий, привычек и излюбленных занятий. Меллиш деловито отмечал про себя все факты, останавливаясь на ключевых моментах. Например, все трое сейчас находились в этом городе. Он не удивился такому совпадению. Руководители «Кодекса», очевидно, специально выбрали время, чтобы облегчить проведение операции. Далее, вряд ли эти люди будут вступать в ближайшее время в контакты друг с другом, в том числе и через третьих лиц. Но, конечно, каждый будет знать, что делают другие, и этим фактором он может воспользоваться.

Он перетасовал досье и выбрал одно из них, чтобы еще раз внимательно прочесть содержимое. Витторио Паоло Торричелли, ну и имя! Сорок три года, холост, уроженец Неаполя, с финансовой стороны неуязвим, основатель и главный консультант трех различных фирм, обладает контрольным пакетом акций еще нескольких компаний, занимающихся поставками сырья и разработкой технологий.

Закончив изучать досье, Меллиш прикрыл глаза и начал мысленно вырабатывать наилучший план действий.

Сеньор Торричелли бросил взгляд на карточку, которую ему принесла секретарша, и перевел глаза на девушку.

— Этот... как его... Меллиш. — Он снова взглянул на карточку. — Что за человек? На кого похож?

— Ни на кого, — пожалала плечами секретарша. — Обычный человек. Может, американец, но в наше время трудно определить с первого взгляда. Я сказала ему, что вы заняты.

— Я действительно занят. — Торричелли нахмурился. — Пусть подождет минут десять, потом впустите его.

Секретарша кивнула и вышла из кабинета, а он продолжал рассматривать карточку. На ней было напечатано: «Эндрю Меллиш, агент «Кодекса». Но пока он держал карточку в руках, шрифт внезапно стал ярко-красным, затем начал темнеть, и вскоре буквы совсем исчезли. Торричелли вздрогнул, он вдруг почувствовал себя очень старым. До него доходили разные истории и слухи, их обычно рассказывали, криво ухмыляясь или нервно хихикая. Розыгрыш, шутка или все серьезно? Он откинулся в кресле, чтобы придать себе больше солидности, положил руки на обтянутые кожей подлокотники и внимательно посмотрел на вошедшего Меллиша. Затем презрительно улыбнулся и хрипловато спросил:

— Вы агент «Кодекса»? Вы?

— Так значит в моей карточке, — любезно ответил Меллиш, — хотите верить, хотите нет, как вам будет угодно.

— Я считаю, что так называемый «Кодекс» — просто шутка, миф.

— Воля ваша. — Меллиш небрежно кивнул. — Я могу рассказать вам о нашей организации, если она вас интересует. Некий остряк придумал такое сокращение от слов «комитет по обнаруживанию и деструкции криминальных систем», то есть это организация, занимающаяся свершением правосудия там, где закон по некоторым причинам бессилён. Шутка, не правда ли? Кодекс порядка и закона. Любопытная организация. Сейчас это просто кодекс, и все о нем знают, но никто не принимает всерьёз, — он сделал неопределённый жест, — почти никто.

— Зачем вы пришли ко мне? — резким тоном спросил Торричелли.

— Чтобы поговорить. Прежде всего мы знаем, что вы — один из трех виновных в катастрофе, постигшей Средне-Атлантический Искусственный Остров, и получивших от этой трагедии большие прибыли.

— Клевета! У вас нет никаких доказательств. Как вы можете доказать, что я связан с этим делом? Я же, напротив, могу доказать, что потерял в катастрофе много денег и очень хороших друзей.

— Не сомневаюсь, что вы можете доказать все что угодно. — Меллиш небрежно скрестил ноги. — Уверен, что люди, занимающиеся вашими делами, — первоклассные специалисты в своей области. Вне всякого сомнения, ваши счета окажутся безупречными. Я также убежден, что люди, которые могли доставить вам чуточку беспокойства, если бы остались живы, оказались среди сотен погибших во время катастрофы. Ваши друзья? Мне известно, что у многих из них есть родственники и приятели, продолжающие работать на вас в том или ином качестве. И если бы у них мелькнуло малейшее подозрение относительно того, как в действительности обстоит дело, это намного бы уменьшило их лояльность.

— Вы хотите запугать меня?

— Может быть, — мягко согласился Меллиш. — Это было частью моей задачи. Но главное — я пришел сообщить вам, что подготовил все для того, чтобы вы умерли.

Торричелли вскочил и потянулся к звонку. Меллиш предупреждая поднял руку.

— На вашем месте я бы никуда не звонил. Нет необходимости звать на помощь. Я не вооружен. Никакого насилия, уверяю вас.

— Но вы мне угрожали!

— Я вам угрожал? Что-то не помню!

— А если я вам скажу, что весь наш разговор записывался на пленку, тогда что?

— Я отвечу, что вы либо лжец, либо глупец, а вы отнюдь не глупы. Вспомните: упоминались вещи, которые вы никак не хотели бы сделать достоянием гласности, особенно официальных источников. Но никаких угроз с моей стороны не было.

— Вы сказали, что подготовите все для того, чтобы я умер. Это угроза!

— Вы плохо слушали. Не «подготовлю», а «подготовил». Все

готово. Но я не стану убивать вас. И никто вас не убьет. Если вы что-нибудь знаете о «Кодексе», то вам известно, что мы работаем не так. Более того, я выступаю соло. И я не терплю насилия.

— Вы сошли с ума! Идиот! Как вы подготовили мою смерть? Как?!

— Я скажу вам это в свое время. Может быть.

Рука Торричелли снова потянулась к звонку.

— Вы скажете мне это сейчас, или я, в свою очередь, приму меры. Я могу нанять детектива, чтобы следить за вами, могу сделать так, что вас избьют до полусмерти или даже убьют.

— Конечно, можете, — с готовностью согласился Меллиш. — Но не сделаете. Разве не удивительно: вы можете стереть с лица земли сотни людей, и никто не заподозрит вас в этом, но убить одного человека вам чрезвычайно трудно. Даже если вы, приложив все усилия, уберете меня, через некоторое время сюда придет кто-нибудь другой, потом еще один, и еще. Подумайте хорошенько.

— Вы убьете меня! — взвизгнул Торричелли. — Вы изверг, вампир!

— Я не вооружен, — терпеливо повторил Меллиш. — Я вообще не ношу оружия и не стану убивать вас. Это будет не по правилам «Кодекса». Я только занимаюсь приготовлениями.

— Как? Когда?

Меллиш встал, аккуратно расправил брюки и улыбнулся.

— Я расскажу обо всем подробнее сегодня вечером. В нижней части Виа Конти есть небольшой мостик через канал. Мы увидимся с вами на мосту ровно в шесть вечера. Никого не берите с собой.

— Вы думаете, я сошел с ума? — вскрикнул Торричелли. — Вы полагаете, что я, как дурак, приду туда, чтобы меня убили?

— Бросьте, — возразил Меллиш, — середь бела дня? Я выбрал специально это время и место, потому что там всегда много людей, но не слишком шумно, и мы сможем встретиться и поговорить. Обещаю еще раз, что приду один и без оружия. Я буду ждать вас.

Меллиш ушел, оставив сеньора Торричелли в высшей степени расстроенным, рассерженным и обеспокоенным. Он несколько не сомневался, что Торричелли явится на встречу, поэтому больше не думал об этом, а начал приготовления к следующему неприятному заданию. Пообедав, Меллиш отправился в другой конец города и вручил свою визитную карточку Феликсу Апраниму, директору интернационального обменного банка «Апраним». Апраним был смуглым, приземистым и раздражительным.

— Что за глупости насчет «Кодекса», а? — Он говорил с явным акцентом, брюзгливо и подозрительно. — Что вам нужно? Поскорее, я человек занятой.

— Вам и следует быть таким, — кивнул Меллиш, — учитывая, что жить вам осталось недолго.

Апраним минуту сидел молча, потом засмеялся. Его смех звучал очень неприятно.

— Вы хотите или напугать меня, мистер Меллиш, или всучить какую-нибудь страховку. Но меня не так-то легко испугать.

А ваш «Кодекс» — шутка дурного тона. Во всяком случае, ничего опасного.

— Возможно. Я могу назвать несколько имен. Эти люди тоже не считали «Кодекс» опасной организацией. Их уже нельзя спросить ни о чем.

— Ничего не выйдет, — качнул головой Априаним. — Меня не пугают всякие слухи. Я кое-что слышал о вас. А этот ваш трюк с выплетающим шрифтом! Детские шуточки!

— Да, — согласился Меллиш. — Но так уж у нас принято. Эти «шуточки» убедили Торричелли и, полагаю, убедят доктора Генриха Хабермана, когда я приду к нему. Ваши сообщники и приятели, сеньор Априаним. Это по крайней мере не бессмыслица и не детские шуточки, вы согласны? — Он внимательно изучал смуглое лицо, обращенное к нему, и, убедившись, что реакция именно такая, какую он ожидал, закончил: — Вы умрете, все трое, один за другим. Все готово.

Априаним медленно откинулся в кресле, на его лице отражалась внутренняя борьба: как отреагировать — признать обвинение или отвергнуть его? Пронзительные черные глаза глядели в одну точку. Наконец он презрительно фыркнул.

— Ничего не выйдет, супермен из «Кодекса». Вы не напугаете меня. Я уже давно ничего не боюсь. Имейте в виду, у меня острая астма, застарелая и неизлечимая.

— Я знаю, — мягко произнес Меллиш.

— Знаете? Так вот, у меня затруднено дыхание. Если я волнуюсь, то начинаю задыхаться; люди бросаются ко мне и думают, что я вот-вот умру. Но я всякий раз выкарабкиваюсь. А это моя страховка. — Он протянул руку и погладил крышку маленькой лакированной коробочки, стоящей на краю стола.

— Я знаю, — повторил Меллиш все так же мягко. Его спокойная уверенность наконец вывела из себя собеседника.

— Я научился не волноваться и не пугаться. С вашей стороны было бы глупо попытаться устроить что-нибудь здесь, в моей собственной конторе!

— Не стоит волноваться, сэр. Я ничего не собираюсь устраивать, может быть, только помогу немного. — Меллиш встал, протянул правую руку к коробочке и открыл ее так быстро и уверенно, что Априаним не успел его опередить.

— Вот ваша страховка, не так ли? — Он вынул из коробки маленькую ампулу и зажал ее между большим и указательным пальцами. Априаним ахнул.

— Все в порядке, — успокоил его Меллиш. — Я не отниму у вас вашу ампулу. Адреналин, верно? Мне сказал фармацевт в аптеке за углом, где вы покупаете лекарства. — Он засунул левую руку в карман пиджака и вынул другую ампулу, в точности похожую на первую.

— Видите? Я подумал, что у вас может кончиться лекарство, и попросил продать мне то, что вам обычно прописывают. Точно такое же. Видите? — Он положил обе ампулы на ладонь и держал руку так, чтобы Априаним мог их видеть.

— Спорим, вы не отличите их, верно?

Априаним не смог ответить. На шее и на лбу у него выступили

вены, челюсти сжались. Ампулы внешне совершенно одинаковы. Но что было внутри? Страх заставлял его задышаться все больше, лицо посинело. Меллиш покачал головой.

— Ну вот, у вас начался приступ. Как вы вызываете врача?

Он бросил взгляд туда, куда были устремлены выпученные глаза Апранима, нашел звонок и сильно нажал на кнопку, потом бросил одну из ампул в коробочку, закрыл крышку и двинулся к двери. Через несколько секунд дверь распахнулась, женщина в форме медсестры вошла в комнату и, увидев, что происходит, подошла к столу.

Меллиш уважительно отступил в сторону, наблюдая за ее деловыми манипуляциями со шприцем и ампулой. Она взяла руку Апранима, не обращая ни малейшего внимания на Меллиша и на слабые попытки жертвы воспротивиться ее заботам. Еще десять секунд — и Апраним потерял сознание.

— Вам лучше уйти, сеньор. Это очень тяжелый приступ. Я должна немедленно вызвать врача. Ваше дело придется отложить.

— Все в порядке, — вздохнул Меллиш, когда сестра стала набирать номер. — Здесь уже все в порядке.

Выходя из здания, где была расположена контора Апранима, Меллиш выбросил ампулу в урну и пошел вдоль улицы, остановившись только раз, чтобы понаблюдать за машиной «Скорой помощи», мчавшейся на предельной скорости к дому, из которого он только что вышел. Примерно через десять минут за столиком уличного кафе он снимал остатки коллоидного клея с кончиков пальцев с помощью маленького маникюрного прибора и бутылочки с растворителем. Едва он справился со своей задачей, как кто-то уселся за столик рядом с ним, и Меллиш, подняв голову, встретил внимательный взгляд очень красивых серых глаз. Эти глаза были частью симпатичного личика, юного и оживленного, обрамленного блестящими черными волосами, такого привлекательного, что он почти бессознательно улыбнулся ей.

— Чем могу быть полезен?

— Пока не знаю, сеньор, но, возможно, мы это выясним. — Ее прямые брови немного сдвинулись. — Прежде всего имейте в виду, что я следила за вами целый день.

— О! — Меллиш сразу стал серьезным. — Вам, должно быть, нечем занять себя. Откуда такое внимание?

— Вы хладнокровный человек. Не волнуетесь?

— А разве мне надо волноваться?

— По-моему, да. Посмотрите вот на это. — Она положила на стол кожаную сумку и открыла ее так, чтобы он мог увидеть лежащие внутри камеру и набор линз. Меллиш был искренне изумлен.

— Паппарацци? Свободный фотохудожник? Я думал, этим ремеслом занимаются одни мужчины.

— Есть места, куда может проникнуть только женщина.

— Да, конечно. Я не подумал об этом. Разумеется, не следует судить по внешности. И потом, любые комментарии были бы

нахальством с моей стороны, поэтому ограничусь словами: я очень удивлен.

— Но не обеспокоен? — настаивала она.

— Нет, очевидно, мне следует предупредить вас, что никто не заплатит за эти фотографии. Абсолютно никто.

— Вы так думаете? — Засунув руку в карман, девушка вытащила выброшенную ампулу. — А что на это скажете?

— Что тут можно сказать? — спросил он, глядя на девушку взглядом невинного младенца.

— Вы купили ампулу в аптеке. — Она почти проглатывала слова. — Потом вошли к сеньору Апанриму. Провели у него около двадцати минут. Вышли. Выбросили ампулу в урну. Ту, что купили, или другую, похожую на нее. И сеньор Апанрим умер. — Ее зубы сверкнули в беглой улыбке. — Фармацевт сказал мне, что вы покупали лекарство для сеньора Апанрима. Выводы сделайте сами.

— Нет, нет, вы ошибаетесь, — возразил Меллиш. — Этого недостаточно, чтобы сделать какие-либо выводы. Надо еще установить, есть ли реальная связь между всеми этими фактами.

— Вы не удивились, когда я сообщила, что Апанрим умер, — обвиняющим тоном произнесла девушка.

— Нет, — согласился Меллиш, — я ожидал этого. С долей лицемерия сожалел о его смерти, признаюсь, что в определенной степени содействовал этому прискорбному факту. Апанрим был больным человеком, а я в разговоре с ним упомянул кое о чем, что сильно обеспокоило его и вызвало острый приступ астмы. Ах, какая жалость!

— Вы признаетесь? — срывающимся голосом сказала девушка, и Меллиш нахмурился.

— Признаюсь в чем? У нас был деловой разговор, расстроивший его. Ему стало плохо, и он умер. Ну и что?

— А это? — Она тронула пальцем ампулу.

— Это? Раствор для инъекции в случае приступа астмы. Я специально купил его. Если вы пойдете в аптеку и спросите у фармацевта, он скажет вам, что я с ним советовался. Я показал ампулу Апанриму и даже сравнил ее с его собственной — они совершенно одинаковы. Вообще-то я точно не знаю, та ли это ампула, что я купил, или та, что была у Апанрима в коробочке. Я мог их нечаянно спутать.

Девушка бросила на него быстрый взгляд, и он увидел, как на ее красивое лицо опустилась тень страха.

— Вы подменили его ампулу своей? — прошептала она.

— Вполне возможно. Бывает и такое.

— Кто вы? Маньяк? Хладнокровное чудовище?

— Вы и Апанрим мыслите по одному шаблону, — вздохнул Меллиш. — Но теперь моя очередь задавать вопросы. Почему вы шпионите именно за мной?

— Я фотограф. Кроме того, на улице я не просто глазею по сторонам, как другие, — я умею смотреть. Заметив человека, который очень старательно и ловко пытался раствориться в толпе, я заинтересовалась и начала следить за ним. Вот так!

Меллиш рассмеялся и пальцем поманил официанта.

— Поздравляю! У вас в прямом и переносном смысле прекрасные глаза. Что вы предпочитаете: кофе или что-нибудь покрепче? Девушка смешалась и пробормотала:

— Ну ладно. Кофе. Но вы должны все немедленно объяснить.

— А почему бы и нет? — Меллиш сделал заказ и откинулся на спинку стула. — Интересная ситуация, не правда ли? Вы уверены, что держите меня на мушке, и в этом есть доля истины. Но все обстоит совсем не так, как вы воображаете. — Он задумчиво почесал подбородок и замолчал, ожидая, пока официант расставит на столе чашки. Потом начал тщательно размешивать сахар в кофе. Девушка старалась держать свою чашку подальше от Меллиша. Заметив это, он улыбнулся.

— Да, хорошенькое положение. Единственное в своем роде, как мне кажется. Согласно правилам «Кодекса», я должен действовать независимо от того, есть очевидцы моих поступков или нет. Это теоретически. Насколько мне известно, еще никто не работал под наблюдением. До сих пор.

— Я ничего не понимаю, — призналась девушка, осторожно разрывая обертку и высыпая сахар в чашку. — Я абсолютно ничего не понимаю.

— Да. Пока еще вы не понимаете. Но прежде чем что-то объяснить, я хочу спросить: вы записываете наш разговор?

— Записываю? — Девушка посмотрела на Меллиша округлившимися глазами, потом покачала головой. — Нет. Я только фотографирую.

— Поверю вам на слово. Фотографии меня не беспокоят, а вот запись могла бы вызвать некоторые затруднения. Не смертельная угроза, но все-таки опасно... Вы достаточно умны и должны понимать, что в этом мире есть немало людей, которых можно назвать преступниками и настоящими чудовищами. Они настолько хитры, что умеют обезопасить себя от преследования по закону. Понятно? Моя работа заключается в том, чтобы восстановить справедливость в таких делах. Я только один из многих. Мое нынешнее задание связано с тремя субъектами, вполне заслуживающими смерти. Я должен ликвидировать их, но так, чтобы это не выглядело как преступление. Понятно?

— Нет. — Она упрямо качнула головой. — Вы убили Апранима.

— Ничего подобного. Я говорил с Апранимом. Напомнил, в каком преступлении он виновен. В моих словах не было ничего необычного. Я сказал ему, что он умрет, а эта участь ожидает когда-нибудь каждого из нас. И я показал ему ампулу адреналина, которую приобрел для него в той же аптеке, где он покупает свои лекарства; эта ампула, можете мне поверить, была точно такая же, как та, что он хранил у себя. Я сменил ампулу, ну и что? Они ведь были одинаковы. Апраним испугался. У него начался приступ. Медицинская сестра сделала ему укол. Но он умер. Почему? Он был подозрительным человеком и уверил себя, что я подложил ему вместо лекарства что-то опасное для жизни. Его убили подозрение и страх, а не я. Я только все подготовил. Подумайте об этом!

Меллиш внимательно наблюдал за девушкой. Лицо ее отражало все ее чувства. Красивое лицо. Умное. Его кольнуло нечто,

похожее на сожаление, он знал, что такая привлекательная девушка никогда не обратила бы на него внимание просто так, ради него самого. Что ж, издержки профессии. Меллиш отогнал неприятное чувство.

— Меня даже мутит от страха, — прошептала она с легким отвращением. — Такое хладнокровие, такое безразличие!

— Все зависит от точки зрения, — ответил Меллиш. — Я думаю о нескольких сотнях погибших людей, о сотнях раненых и тысячах разорившихся — они могли бы поспорить с вами. Все их несчастья можно было бы сложить к порогу тех троих в моем списке. Будем абсолютно откровенны: никто из них своими руками никого не убивал. По закону эти люди невиновны. Вот что делает их особо опасными для окружающих — их безнаказанность! Моя цель заключается в том, чтобы другие, замыслившие подобные преступления, узнали о том, что этих троих настигло возмездие. Но я не убийца. У меня свой моральный кодекс, как и у вас. Вы фотографируете людей без их ведома и разрешения. Выбираете знаменитостей, кумиров толпы. Они желали бы избежать внимания публики. А вы охотитесь за ними, снимаете их, когда они этого не ожидают, и продаете снимки за деньги, верно? Но есть такие вещи, которых вы, могу поспорить, не смеете касаться. Я прав?

Меллиш был хорошим психологом. Сейчас лицо девушки отражало борьбу противоречивых эмоций. Наконец она пожала плечами так, как это умеют делать лишь итальянки.

— Верно. Есть вещи, которых я никогда бы не коснулась!

— Хорошо. Я не буду расспрашивать вас — это ваше личное дело. Но, поверьте, у меня тоже есть определенные принципы.

— А что вы делали с вашими пальцами?

— Снимал коллодий. Он очень удобен, если вы не хотите оставить отпечатки пальцев, и я не оставил их. Было бы очень некстати, если какой-нибудь любопытный субъект, который всюду сует свой нос, нашел бы чужие отпечатки пальцев на коробочке, в которой Апрагим держал свои лекарства. Не смертельно, как я уже сказал, но неприятно.

— Как вы узнали о лекарстве и вообще обо всем?

— А! — улыбнулся Меллиш. — В этом наша сила. Девять десятых успеха всей операции. Информация решает все. — Меллиш снова выпрямился. — Ваша камера может делать моментальные снимки?

— Конечно! В моей профессии главное — быстрота. Что вы еще задумали?

— Вы могли бы мне помочь? Знаете мостик в конце Виа Контти? Через канал? Я встречаюсь там с одним человеком ровно в шесть вечера.

— Следующий из этой тройки?

— Верно. Думаю, что произойдет несчастный случай. Мне бы хотелось, чтобы вы были на месте. Не на мосту, а где-нибудь поблизости, где можно будет снять все, что произойдет. Согласны?

— Вы сошли с ума! Хотите, чтобы я сняла вас в момент убийства?

— Нет. Просто чтобы вы пришли и сняли меня, доказав тем

самым мою невиновность. Вы не поверите, какие удивительные вещи может засвидетельствовать очевидец. Ну, идет?

— Что ж, отлично, — отрезала девушка. — А потом я обращусь прямо в полицию и покажу им фотографии!

— Именно так! Замечательно. Большое спасибо.

Одним из правил «Кодекса», которые давались Меллишу с наибольшим трудом, было не ломать голову над деталями операции до того, как наступит решающий момент. Проходя по мостику ровно без пяти шесть, Меллиш не имел представления о том, где находится девушка и пришла ли она вообще. Он знал уже, что ее зовут Анна-Мария Сантесси, что она не замужем и сама зарабатывает себе на жизнь. В остальном он был готов положиться на свое знание человеческой природы и предоставить все на волю судьбы. Сейчас прежде всего следовало очень тщательно выбрать место, где он будет находиться. Было еще совсем светло. Час пик уже прошел, через полчаса должна нахлынуть новая волна оживленного уличного движения, но сейчас мостик почти полностью опустел. Патрульный полицейский окинул Меллиша безразличным взглядом и прошел мимо.

Меллиш решительно двинулся к середине мостика, где рабочие чинили проржавевшие вычурные перила. Они сняли с моста ограду, а в образовавшуюся прореху временно поставили для безопасности прохожих непрочную загородку, сделанную из досок, связанных веревкой. Меллиш измерил глазами это сооружение, потом быстро наклонился над перилами, чтобы убедиться в том, что поднимавшаяся с дождями вода несет мощным потоком. Все шло по плану и соответствовало полученной информации.

Вот и Торричелли. Пунктуален, как всегда. Одно из его качеств, как указано в досье. Меллиш отошел на несколько шагов от дощатой баррикады и остановился, выжидая. Торричелли, подозрительно оглядываясь, замедлил шаг. Меллиш улыбнулся.

— Ну, это лишнее. Я один.

— Тогда вы идиот, — прорычал Торричелли, подходя ближе. — Потому что я не один.

Меллиш, глядя на его покрасневшее лицо, нахмурился.

— Вы, надеюсь, не слабоумный и не наняли убийц?

— Вы называете меня слабоумным? Для такого дела не надо никаких помощников. Я могу сделать все сам!

— Что сделать? Обойдемся без насилия! — Меллиш с беспокойством отступил. — Я ведь уже говорил вам, что не вооружен!

— И при этом смеете называть меня слабоумным? Ничтожный кретин! Я хочу объяснить, супермен «Кодекса», что я приготовил для вас. Через минуту я дам сигнал. Черный лимузин на большой скорости подкатит к мосту. К тому времени, как он подъедет ко мне, все будет кончено. Я вскочу в машину и исчезну!

— О, все понятно! — Меллиш отошел на несколько шагов, и Торричелли, все более и более уверенный в себе, задрал подбородок.

— Видите, я вооружен. Вы умрете.

— Нет, нет! — возразил Меллиш, все еще отступая. — Не я, вы умрете. Сначала Апрагим. Он уже умер. Потом вы. А потом уж Хаберман. Все подготовлено.

— Негодяй! — взвизгнул Торричелли, бросаясь вперед и расстегивая пуговицы пиджака. Меллиш успел заметить тяжелый пистолет, потом широко раскинул руки и обхватил Торричелли, чтобы удержать его. Это было насилие, ненавистная для Меллиша часть операции. Торричелли яростно зарычал, но Меллиш крепко держал его. Двое прохожих на другой стороне мостика остановились, глядя на борющихся. Полицейский, который отошел уже довольно далеко, закричал и пустился бежать к ним. Следом с мощным гулом мчался черный лимузин. Но они опоздали. У Торричелли было преимущество в весе. Меллиш блокировал его натиск, но не мог устоять против тяжести грузного тела.

Сцепившись не на жизнь, а на смерть, Торричелли и Меллиш налегли на хрупкую загородку, и та поддалась. Они упали на нее, проломив доски и полетели вниз.

Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что Меллиш отпустил своего соперника и, вырвавшись из его объятий, вошел в воду как профессиональный спортсмен. Но большая часть испуганных очевидцев увидела только, как Торричелли, падая, лихорадочно размахивал руками и с шумом плюхнулся в реку. Его голова показалась над поверхностью воды два или три раза, а затем быстрое течение понесло его, и он скрылся из виду. Раздавались свистки полицейских, люди металась в панике и вопили, но прошло целых сорок пять минут, прежде чем спасательная лодка подошла к Меллишу, который к тому времени очень устал и охотно принял помощь спасателей.

— Недалеко отсюда, — задыхаясь, сказал он, — я пытался держать его над поверхностью. Но он тонул. Я был вынужден выпустить его. Очень тяжелый. Всего несколько минут...

— Я видел, — кивнул смуглый моряк, сбрасывая ботинки. — Я попробую найти его. Мне хорошо известны эти места.

Примерно через пятнадцать минут моряк выудил тело Торричелли, и его подняли на борт. Пока спасательный катер разворачивался, направляясь к набережной у моста, умелые руки занялись неблагодарной задачей вернуть Торричелли к жизни с помощью искусственного дыхания. В кабине спасательного катера Меллиша допрашивал сержант с подозрительным взглядом и иссиня-черными усами.

— Вы говорите, что раньше встречались с сеньором Торричелли, сеньор Меллиш?

— Верно, встречался. Только один раз. Этим утром я приходил к нему, чтобы поговорить об одном деле. Я агент небольшой конторы. — Меллиш в грубом свитере и грязных брюках, которые ему дали на то время, пока сохла его одежда, выглядел еще менее презентабельным, чем обычно.

— И он договорился с вами о встрече на мосту?

— Нет. Это была моя идея. Слишком много глаз и ушей в его конторе. Я хотел поговорить с ним наедине.

— Пока все соответствует истине, — согласился сержант. — Он приехал на машине. Машина у нас, и водитель уже допрошен. Но почему сеньор Торричелли напал на вас?

— Я полагаю, его расстроили мои слова.

— Это не причина, — довольно грубо прервал его сержант. — Вы утверждаете, что сеньор Торричелли пытался убить вас. На чем основано ваше утверждение?

— У него был револьвер, — сказал Меллиш.

— Ну и что? У него действительно был револьвер, но зачем ему... Сеньор Меллиш, вы ведь, конечно, знаете, что сеньор Торричелли был очень известным и богатым человеком. К тому же один из моих людей видел, как вы напали... одну минуту, пожалуйста...

В каюту вошел полицейский, державший в руке кипу фотографий, он наклонился к сержанту и что-то прошептал. Меллиш видел, как двое полицейских еще некоторое время спорили, потом сержант повернулся к нему, положив на стол фотографии изображением вниз.

— Сеньор Меллиш, — любезно произнес он. — Вероятно, произошел несчастный случай. Понимаете? Смешно даже подумать, что такой человек, как сеньор Торричелли, может напасть на кого-то и попытаться убить его. Он был очень богатым, уважаемым и влиятельным...

— А как же револьвер? Что это у вас? Фотографии с места происшествия?

— Они не имеют к вам никакого отношения. Что же касается револьвера, то каждый имеет право держать оружие для самозащиты, верно? Произошел несчастный случай. Не будем больше говорить об этом.

— Как скажете, — вздохнул Меллиш. — Я не хочу никаких неприятностей.

— Очень разумно. Как только ваша одежда высохнет, можете быть свободны. Подумайте, как вам повезло, сеньор, что вы не утонули.

Меллиш думал об этом, покидая пристань. Когда он отошел достаточно далеко, его догнала мисс Сантесси. Он криво улыбнулся ей и повел в ближайший ресторан.

— Я должен по крайней мере угостить вас обедом. Ваши фотографии пришились как нельзя кстати и избавили меня от некоторых неприятностей. Спасибо.

Очень красивая, несмотря на пережитые волнения, она скромно молчала, пока Меллиш делал заказ, а потом прошептала:

— Я отдала им не все фотографии. Я оставила себе несколько, чтобы окончательно убедиться. Он действительно пытался убить вас!

— Да. Так все и должно было произойти. Я слишком много знаю. И он, конечно, принял решение сделать это сам, чересчур опасно было нанимать кого-то. Он полагал, что его план безупречен. Револьвер с глушителем, выстрел, быстрая машина. Револьвер пошел бы напрямиком в реку, водитель ничего бы не увидел. Да, хороший план. Но дело в том, что я ожидал именно таких действий.

— Вы знали, что он явится с оружием и попытается убить вас?

— О да! Все было подготовлено. Я изучил его характер, темперамент и знал, какую реакцию следует ожидать. И у меня были точные сведения о работах на мосту, о силе течения реки и о состоянии уличного движения. А еще я знал, что Торричелли не умеет плавать и боится воды. Знание — это сила, — высказал Меллиш не очень оригинальную мысль. — Единственная сила, которую я готов признать. Вы знаете, — медленно добавил он, когда официант принес суп и карточку вин, — он назвал меня ничтожным кретином. Еще одна его слабость: он не верил, что кто-нибудь, кроме него, может иметь достаточно развитый интеллект. Боюсь, что с третьим по списку дело обстоит по-другому. С господином доктором Генрихом Хаберманом придется работать иначе. Совершенно иначе.

Она поперхнулась супом и закашлялась.

— И вы говорите это мне? Вы готовитесь... готовитесь ликвидировать еще одного?

— А почему бы и нет? Что вы сделаете? Пойдете в полицию?

— Вы думаете, я дура? — возмутилась она. — А, впрочем, почему бы не пойти? Я могу сообщить им...

— Моя дорогая, полиция только что велела мне убираться ко всем чертям. Они как бы выбросили меня в мусорную корзину, и им желательно, чтобы я там оставался. Если вы станете уговаривать их снова подобрать меня, у вас будут неприятности.

— Во всяком случае, я могу предупредить доктора Хабермана.

— Можете. Я скажу вам, где найти его. Дом высокий, один из самых высоких в городе. Он живет на верхнем этаже.

— Почему вы говорите мне все это?

Меллиш наблюдал, как на ее подвижном лице сменялись противоречивые чувства. Страх, гнев и подозрение уступили наконец место лукавой улыбке.

— Вы, наверное, хотите, чтобы я предупредила его? Я должна сказать ему, что он скоро умрет? Это часть ваших приготовлений?

— Не самая важная. Но может немного помочь.

— Помочь? Тогда я этого не сделаю! — Она резко отодвинула от себя тарелку: — Вы знали, что я подумаю и что скажу!

— Ах, оставьте, — усмехнулся Меллиш. — Я вовсе не такой уж умный. Делайте, что хотите. Но если желаете получить от меня что-то вроде чаевых, будьте завтра неподалеку от конторы Хабермана с девяти до половины десятого. Подойдите как можно ближе, заберитесь повыше, и у вас будет несколько хороших фотографий. Они вам пригодятся.

Меллиш, который разбирался в архитектуре, считал, что это здание соединяет в себе худшие черты нескольких стилей; с другой стороны, он сознавал, что многие нашли бы его великолепным. Меллиш решительно прошел в фойе, держа в руках мешок, с виду казавшийся очень тяжелым; он нес его с явной осторожностью. Вообще Меллиш пользовался различными приспособлениями очень неохотно, лишь в случае крайней необходимости.

Клерк, сидящий за столом у входа, услышав его имя, кивнул и поманил кого-то. Меллиш повернулся и увидел рядом с собой двух мужчин, стоявших с каменными лицами.

— Очень обязаны вам за любезность и за карточку, супермен «Кодекса», — проворчал один из них. — Вас ждут. Мы отведем вас наверх, чтобы вы лично поговорили с доктором. Вперед!

Его повели к лифту. Когда дверцы с легким шипением закрылись, Меллиш сделал попытку переложить мешок в другую руку, но один из стражников оскалил зубы.

— Стоять! — Он приставил ко лбу Меллиша пистолет, появившийся в руке как по мановению волшебной палочки. — Ничего не делай с этим мешком, понятно? Ничего! Держи его, и все!

— Я только хотел сменить руку. Он очень тяжелый.

— Идиот паршивый! Я сказал: держи его, и все! И молчи!

Меллиш повиновался. Его ничуть не волновало такое сверхвежливое обращение, но мешок действительно был тяжелый, а до апартаментов Хабермана было довольно далеко. По приказанию стражников он безропотно прошел в большую комнату, устланную тигровыми шкурами, в бассейне с золотыми рыбками бил небольшой фонтан, одна из стен была сплошь уставлена книгами. Окинув комнату взглядом, Меллиш отказался от попытки определить ее предназначение и в сопровождении стражников подошел к закрытой двери из хромированной стали. По крайней мере до сих пор сведения досье были верными, хотя Меллиш сначала с трудом поверил прочитанному. Один из стражников нажал на кнопку и сказал по-немецки:

— С нами человек из «Кодекса». Он очень осторожно несет мешок. Мешок, кажется, тяжелый.

— Не давайте ему ставить мешок на пол. Хорошенько обыщите его. Потом доложите.

Меллиш должен был признать, что обыск проведен на совесть, но все же они оставили без внимания вещичку, которую он держал в другой руке. Удивительно, что обыскивающий всегда ищет что-то спрятанное, не обращая внимания на то, что у него перед глазами.

Наконец стражник решил доложить.

— Мы не нашли ничего опасного или необычного. Мешок вообще не трогали. Что теперь?

— Хорошо. Двери сейчас откроются. Оставайтесь снаружи и будьте наготове.

Всего несколько секунд понадобилось для того, чтобы двойная стальная дверь с рокотом отошла в сторону. Меллиш заглянул в небольшую, просто обставленную комнату, где были только серебристо-серый ковер и большой стол у окна. Хаберман сидел за столом — худощавый человек с лицом цвета портвейна, его седые усы и волосы особенно резко выделялись на этом фоне, взгляд светло-серых глаз был холоден как лед. По обе стороны от него стояли телохранители, держа наготове револьверы.

— Два шага вперед! Не больше! — рявкнул Хаберман.

Меллиш терпеливо шагнул вперед и услышал, как массивная дверь вновь пророкотала и защелкнулась намертво.

— Ну, а теперь вы будете тихо стоять и слушать меня. Эта

комната звуконепроницаема и совершенно недоступна для посторонних. Я могу делать здесь все, что мне заблагорассудится, понятно? Одно мое слово, один знак, и вы перестанете существовать. Понятно?

— Вполне. Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что совершенно бесполезно пытаться сыграть с вами какую-нибудь шутку?

— Именно так! Что бы у вас ни было в мешке, вы не сможете этим воспользоваться.

— Мешок? — Меллиш посмотрел на мешок, который продолжал держать в руке, словно только что заметил его.

— Да, мешок! Положите его на пол и отойдите к двери. Мы подождем одну минуту.

Меллиш осторожно опустил мешок и прислонился к двери.

— Мы подождем, — продолжал Хаберман, — и увидим. Если мы увидим или услышим что-нибудь — щелчок, взрыв или может быть, шипение газа, вы умрете. Немедленно.

Меллиш вздохнул.

— Знаете ли, ничего этого не нужно. Вы слишком умный человек, стараться перехитрить вас бесполезно. Это было бы самоубийством, не правда ли? А у меня пока нет желания умирать. Умрете вы, а не я. Так же, как Торричелли и Априаним.

— Молчать! — Хаберман смотрел на свои часы, кивая головой в такт проходящим секундам. — Болван! Вы посылаете мне предупреждение, а потом приходите сюда с мешком, полным всяких штук. Вы думаете, я настолько глуп?

— О нет! Напротив — уверяю вас. Что же касается мешка... — Меллиш сделал лишь намек на движение, словно хотел нагнуться и взять его, и Хаберман снова рывкнул.

— Стоять! Прошла одна минута. Подойдите сюда. Нет, оставьте мешок. Мы займемся им позже. Идите сюда!

— Хорошо, — пожал плечами Меллиш и медленно пошел к столу, немного задержавшись, чтобы взять стул, на который Хаберман указал ему. Немец сделал знак одному из телохранителей:

— Привяжи его к стулу. Крепче!

Меллиш не рассчитывал на такой поворот, и это, должно быть, отразилось у него на лице. Хаберман холодно улыбнулся.

— Я много слышал о вашем «Кодексе» и о людях, которые там работают. Никогда не считал это шуткой, как другие. Я знал людей, которых вы ликвидировали. Мне известно о Торричелли. И об Априаниме. И я знаком с вашими трюками. Представить все как несчастный случай, верно? Итак, сейчас вы здесь, привязаны к этому стулу. Посмотрим, как вы устроите несчастный случай, герой «Кодекса». И поторопитесь, потому что у меня тоже есть свой план. Я думаю, мне удастся заставить вас заговорить и рассказать все, что вы знаете о делах вашей организации. А потом, я думаю, мы произведем кое-какие изменения. Наступило время убрать этот позорный «Кодекс» с дороги. — Хаберман встал и, обойдя вокруг стола, посмотрел на Меллиша, привязанного к стулу. — Ну, сначала ваши трюки, а потом моя очередь. Говорите!

— Охотно. — Меллиш немного расслабился, чтобы веревки не так сдавливали запястья. Телохранитель был груб, но достаточно опытен и оставил небольшую слабинку. Немного, но все же кое-что. — Мой план очень прост. Вы правы, конечно, относительно мешка. Если кто-нибудь, кроме меня, попытается развязать его, то выпустит под большим давлением струи легко воспламеняющейся жидкости, и все будет в огне.

— Огонь, — фыркнул Хаберман. — И это все? А как вам удастся сжечь только меня и больше никого? Или вы просто глупы, или все это ложь.

— Надеюсь, ни то ни другое, — любезно ответил Меллиш. — Я предупредил вас об опасности, которая вам угрожает. Таким образом, никто не сможет обвинить меня в прямом насилии. Это главное.

— Я прикажу унести мешок. — Хаберман резко повернулся и поспешно обошел вокруг стола.

— И еще. Ваша стальная дверь больше не откроется. Я кое-что проделал с замком. — Меллиш говорил чистую правду. Досье содержало весьма интересные подробности; маленькой бутылочки с кислотой, которую Меллиш зажал в руке, вполне хватило на то, чтобы основательно испортить замок, и сейчас дверь была абсолютно неподвижна. Меллиш наблюдал за Хаберманом, который лихорадочно и безрезультатно нажимал на кнопку. Мешок может сработать автоматически. Должно пройти три минуты. И как раз сейчас...

44 Из мешка раздался негромкий сдавленный звук, потом оттуда вырвались две тугие струи жидкости, которая залила стену, где находилась дверь. Через секунду что-то щелкнуло, и часть комнаты охватило режущее пламя. Хаберман конвульсивным движением поднял руку, чтобы защитить лицо, а другой продолжал нажимать на кнопку. Меллиш почувствовал, как стало жарко лицу, и понял, что надо действовать, иначе он поджарится. Один из телохранителей повернулся к Хаберману, заслоняя его, и потянулся к ручке, открывающей окно.

— Пойдемте, герр доктор! — крикнул он. — Нам надо выйти отсюда, нельзя терять время!

Море пламени с ревом разлилось по комнате, усиленное потоком воздуха из открытого окна. Опираясь ногами об пол, Меллиш тяжело опрокинулся на спину, увлекая за собой стул, к которому был привязан, и почувствовал, как стул затрещал от такого нелюбезного обращения. Раздался треск, и стул распался. Меллиш лихорадочно перекатился на живот, поднялся и ударился спиной об стол, волоча за собой остатки стула. Он изо всей силы натянул веревки и освободил обе руки, задыхаясь от удушливого запаха горящего ковра. Переступив через обломки стула и веревки, он подбежал к окну, где Хаберман боролся, как зверь, попавший в капкан, со своими телохранителями, пытавшимися помочь ему выбраться наружу. Они тащили его, а он изо всех сил упирался. У Меллиша не было времени для дальнейшего наблюдения. Улучив момент, он протиснулся мимо них к узкой пожар-

ной лестнице. Общая опасность заставила полностью забыть об оружии и угрозах. Хаберман кричал и боролся с телохранителями. Они с проклятиями пытались вытащить его из окна. Меллиш быстро спустился по первому пролету металлической лестницы, дрожа от холодного ветра, остановился на минуту и крикнул:

— Пожар! Пожар!

И тогда он впервые ясно увидел открывшуюся под ним бездну: земля была где-то далеко, очень далеко, внизу. Желудок его конвульсивно сжался. Он ухватился за железные перила пожарной лестницы и немного постоял, крепко закрыв глаза и пытаясь как можно глубже вдохнуть холодный воздух. Через некоторое время головокружение прошло, и Меллиш смог продолжить спуск. Позади он слышал голоса телохранителей, то отчаянно умолявших Хабермана, то осыпавших его проклятиями.

Внизу раздавалась разнообразная смесь звуков: шум собравшейся толпы и проходящих машин, скрип тормозов, приближающийся вой сирен. К тому времени, как Меллиш достиг благословенной земли, зевак было уже так много и они были так поглощены созерцанием того, что происходило наверху, что никто не заметил его и не поинтересовался, зачем он забрался на пожарную лестницу. Не представляло никакого труда затеряться в этой толпе. Намного труднее было найти хороший наблюдательный пункт, но и тут ему сопутствовала удача. Меллиш увидел, что один человек выбрался из окна на пожарную лестницу и старался отойти подальше от оконного проема, откуда кипящими клубами выходил густой черновато-серый дым. Двое оставались в окне, борясь друг с другом. Но вот сквозь дым пробился острый, словно наконечник копья, язык ярко-красного пламени. Меллиш услышал, как его сосед, наблюдавший эту сцену с полуоткрытым ртом, сердито спросил:

— Что они делают там, наверху? Почему не спускаются?

— Мне кажется, — ответил Меллиш, найдя взглядом того, кто задал этот вопрос, — что один из них боится высоты и поэтому не может спуститься.

— Даже если за спиной огонь?

— Даже тогда. Боязнь высоты — ужасная вещь.

— Значит, он непременно сгорит?

— Боюсь, что да.

Пожарные машины заняли свои места. Вытянулись лестницы. Черные фигурки пожарных поднялись по ним на помощь пострадавшим. Толпа, затаив дыхание, следила за тем, как один из борющихся вырвался и поспешил вниз, оставив в окне второго, который был еще виден среди клубящегося дыма и беснующегося огня. Вдур квадрат оконного проема озарился яркой вспышкой, и толпа загудела. Меллиш вздохнул, покидая свой наблюдательный пункт.

Мисс Сантесси нашла его в том же уличном кафе, где впервые заговорила с ним. Когда девушка села за столик, Меллиш улыбнулся и попросил официанта принести кофе.

— Хорошие получились снимки?

— Очень хорошие. Уже проданы. Но я опять сохранила несколько штук.

— Сувениры? Немного мрачно все, не правда ли?

— Достаточно для того, чтобы обвинить вас в поджоге, может быть, даже в убийстве!

— Да ну, оставьте, — улыбнулся Меллиш. — Вы сами знаете, что это неправда. Вы видели, каким образом я спасся. И те двое тоже спасались. Хаберман мог бы сделать то же самое без всякого труда. Я сказал ему, что будет пожар. Не пытайтесь блефовать, мисс Сантесси, не стоит.

— Вы правы. Куда мне тягаться с вами! Вы, наверное, сам дьявол. Почему он не мог спастись?

— Знаете, — Меллиш задумчиво размешал сахар в чашке, — каждый чего-нибудь боится, имеет какой-то невроз или фобию, хотя причины не осознаются нами, и мы пытаемся противостоять нашим страхам. Это как ноющий зуб — больно, но все время трогаешь его языком; так и человек, который боится огня, любит играть со спичками. Или, например, вы... Вы сделали своей профессией вмешательство в чужую жизнь. Давайте подумаем — наверное, в вашей жизни было какое-то обстоятельство, что-то, что вы очень хотели бы скрыть.

Она привстала со стула, но Меллиш остановил ее.

— Это догадка, дорогая моя, на вас я не собирал сведений. Пожалуйста, садитесь и примите мои извинения. У меня просто скверная привычка — целиться прямо в пятку.

— Как это? — неуверенно спросила девушка.

— Я уже говорил вам — у каждого есть свои страхи, свое слабое место. Вот куда я целюсь каждый раз. Например, у Хабермана была боязнь высоты и открытого пространства. Он знал свою слабость и пытался бороться с ней. Очевидно, именно поэтому его апартаменты и контора помещались на верхнем этаже самого высокого здания в городе. Странно, правда? Фрейдисты назвали бы это стремлением к смерти.

— А вы сами? В чем ваша слабость?

— О да, — серьезно кивнул Меллиш. — У меня есть слабость, но в данном случае это профессиональное качество. Говоря по правде, именно поэтому я и выбрал такую работу. Я испытываю острое отвращение к насилию в любой форме. Подумайте над этим.

Меллиш встал, церемонно поклонился на прощание и растворился в толпе. Она долго сидела, обдумывая его слова. В конце концов до нее дошло, что он абсолютно прав.

**Перевод с английского
РАМИНА ШИДФАРА.**

«ФРАГМЕНТ»



Конкурс знатоков

мировой живописи

ВТОРОЙ ТУР

В январском номере «Смены» опубликованы условия конкурса и задание первого тура.

Предлагаем вашему вниманию еще 12 фрагментов картин известных мастеров живописи. По этим фрагментам вам предстоит точно назвать авторов, а также сами произведения, украшающие музеи России и мира.

Ответы на вопросы февральского тура нужно отправить в редакцию «Смены» не позднее 15 мая (срок отправки — по почтовому штемпелю).

В письмах просим указывать свою профессию и возраст. На конверте сделайте пометку: «На конкурс «Фрагмент». II тур».



13



14



15

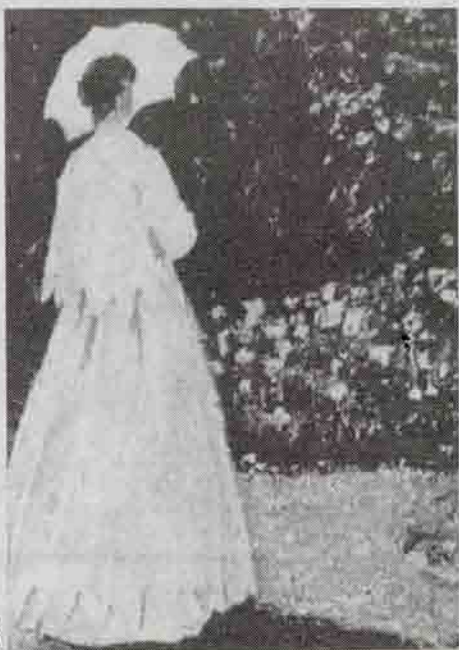


16

17



18





19



20



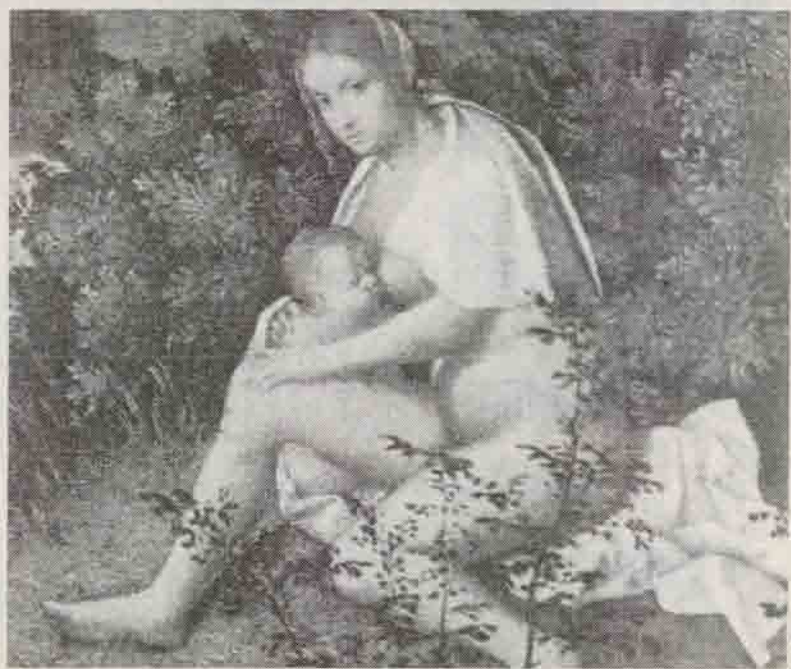
21



22



23



24

ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ

КАК ДОГНАТЬ АМЕРИКУ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

КАК ДОГНАТЬ
АМЕРИКУ
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ

Дано: нравственность падает.

Требуется доказать... Впрочем, доказывать ничего не надо, и так всем все ясно.

Однако любопытно вот что: а вообще существовали такие времена, когда нравственность не падала бы, а поднималась? Вы знаете, похоже, что нет. Разве что в сталинскую эпоху, когда любой советский человек был на порядок выше любого не советского, а те, кто до этого уровня чуток не добирал, в количестве то ли пятнадцати, то ли сорока миллионов коллективно исправлялись в прохладных регионах державы. Во все остальные времена нравственность шла только вниз, и народ становился все хуже и хуже.

Тем не менее и сегодня как-то живем. Изловчаемся.

Как правило, общественную нравственность разрушало не все население империи, а лишь наиболее разболтанная его часть — конкретно молодежь. Это она вопреки заветам примерных прадедов все делала не так: не так училась, не так одевалась, не так причесывалась, не так танцевала, не так работала, не так ложилась в постель, а уж в постели делала не так все без исключения.

Вот и в наши дни деградация духовности и традиций идет прежде всего по линии подрастающего поколения. Вечные ценности отброшены, приличия забыты, цинизм торжествует. Деньги и деньги. Мальчишки моют машины богатым иностранцам, подростки торгуют пивом и бананами, парни идут в коммерсанты и рэкетиры, девчонки норовят хоть в Африку фотомоделями, а не выгорит, согласны и проститутками. Распад, развал, оскудение. Все прут в биз-



нес — а кто ж будет учить, лечить, доить коров и строить дома?

Бескрылый прагматизм — вот болезнь эпохи. Пора бы ответственности ударить в набат.

Пора бы, а не ударяет. Средства массовой информации если и пишут о молодежной безнравственности, то вяло и как бы по инерции. Большой вопрос не болит, гражданский гнев комнатной температуры, вал читательских писем не захлестывает редакционные почтовые ящики.

Между тем еще недавно именно молодежная тематика делала издания тиражи, а зрелищам кассу. Долгогривые (или бритоголовые) юнцы в уродливо узких (или уродливо широких) штанах выделявали черт-те что на радость публике. Сперва они попадали в дурную компанию, потом раскаивались, зато в промежутке успевали такого понаторить! Только благодаря молодежи общество не скучало: дикарские моды сменяли одна другую, безуспешная, но интересная борьба с хиппи, рокерами, брейкерами, фанатами и прочими центровыми развлекала население, создавая видимость насыщенной общественной жизни.

Понятно, сейчас время иное. Торжествует свобода печати, коррупция оказалась увлекательней порнухи, политическая сплетня потеснила не только молодежную, но даже театральную. И все ж вопрос: а где они нынче, металлисты, чистильщики, любера и остальные, уже названные выше? Почему вдруг исчезли, будто и не существовали никогда? Ведь какие были красочные тусовки? Неужто совсем рассосались?

Лет, наверное, семь назад я попробовал разобраться в частой и пестрой смене молодежных движений, к которым как раз тогда прилепилось броское слово «не-

формалы». Вроде бы докопался до корней. Повторять написанное не стану, вспомню лишь выводы.

Неформальные подростковые движения были по преимуществу мужскими и причины, несмотря на заграничные названия, имели сугубо отечественные. Подрастающие мальчишки пытались решить свои навалившиеся мужские проблемы: утвердиться в собственных глазах, в глазах общества, в глазах ровесников, в глазах девочек — последнее, возможно, прежде всего. Будучи социальным никем, безденежные и бесправные, они сбивались в стаи и выкидывали опознавательный знак, все равно какой, лишь бы новый: рокер так рокер, металлист так металлист. Фирменный лейбл заменял личную значимость, привлекал внимание, делал социальный ноль хоть и осуждаемой, но все же единичкой.

Теперь молодежная тусовка уже давно не предлагает ничего новенького. Похоже, закомплексованные тинэйджеры наловчились решать свои личные задачи иным путем...

Молодых называют безнравственными. Но «безнравственность» — термин неточный. Настоящей безнравственности, вероятно, вообще не бывает. Если мы говорим, что у кого-то нравственности нет, это означает всего лишь, что он живет по нормам, не совпадающим с нашими. Скажем, у нас нравственна моногамия. Но разве мусульманин, у которого четыре жены и двенадцать наложниц, аморален? Он истово религиозен, он заботится обо всех своих женщинах и детях, помогает бедным, блюдет традиции и стремится распространить свою правую веру на весь неверный мир. Это ведь тоже нравственность, только иная.

Наши дети выросли в атмосфе-

ре господства весьма своеобразной «коммунистической морали», которая, впрочем, как это ни парадоксально, восходила к христианской системе ценностей. Большевики взрывали церкви, ссылали священников, но сурово карали не только за убийство или кражу, но и за «моральное разложение» (не пожелай жены ближнего), за «неискренность перед партией» (не солги) и т. д. Всевозможные кодексы строителей коммунизма вполне укладывались в нормы Священного Писания, хотя были и изрядные различия: скажем, кесарю полагалось отдавать не только кесарево, но и Богово. Что, правда, не было такой уж новинкой для России, где много поколений как минимум с грозного Ивана ставили царя неизмеримо выше святейшего патриарха: страх земной был ближе и опасней грома небесного. Большевики не желали делиться с церковью даже малым влиянием, но узда традиционной морали их вполне устраивала, если была в собственных руках.

Коммунистические правила поведения рухнули вместе с колючей проволокой, перемены стали неизбежностью. Видимо, главная вина молодежи в том, что ее нравственность изменилась так быстро, что мы, старшие, просто не успели приспособиться к столь стремительным поворотам. Вспомним, за что молодых больше всего ругали лет, скажем, десять назад?

Инфантильность. Помните такое словечко? Могли и забыть — сегодня оно практически не звучит. Нынешних школяров ругают за прямо противоположное: за прагматизм, расчетливость, ненормально раннюю зрелость. На нас не угодишь. Давно ли стыдили, что клянчат у мамы на мороженое? Сегодня какой-нибудь двенадцатилетний Вовик при

надобности сам ссудит поиздержавшимся родителям пару-другую десятитысячных бумажек, но и это не устраивает, поскольку мы в его годы денег не имели, зато «Дядю Степу» знали наизусть.

Может, время нам, взрослым, избавляться от своей инфантильности?

Помните, с какой завистью смотрели мы по телеку на обалденно сверкающие витрины всевозможных амстердамов и мюнхенов, как хотели, чтобы и у нас так, но чтобы при этом сохранились все достижения развитого социализма, включая пьянки у станка и бегодную по магазинам в рабочее время. Словом, по поговорке: работать, как у нас, а получать, как у них.

Нынешние тинэйджеры уже знают, что так не бывает. Они входят не просто в жизнь, а в рыночную, конкурентную жизнь, причем не европейско-американскую, упорядоченную, с неизменными законами, надежными банками и грозной полицией, а в нашу, совковую, где банки химичат и врут, а милиция из сотни убийств раскрывает те пятнадцать, которые по пьянке. Для нас это распад и раздрой, а для подростков нормальная окружающая среда, где вполне можно сориентироваться. Ведь не ужасается же бедуин бесконечности пустыни, а чукча — бесконечности зимы...

Для нас трудовая мораль, в основе которой лежали высокая сознательность, помощь отстающим, тюрьма за прогул и прочие формы бескорыстия, казалась естественной и как бы врожденной. Для них же она просто наглое лицемерие, вид начальственного жульничества. И ведь правы! Как в былые времена помещики давили крепостных моральным стимулом, так при диктатуре новые помещики, номенклатура, требовали от новых крепостных рвать жилы не

за деньги, а во имя высокой радости вдохновенного труда. Результат этого энтузиазма не мог в конце концов не сказаться: верхушка становилась все коррумпированней, народ — все злее. Экономика и мораль разваливались параллельно, только мораль быстрее. Ну в каком еще языке отыщется столько ласковых синонимов к слову «украсть»? Стибрить, слямзить, унести, увести, приделать ноги, позаимствовать, взять, что плохо лежит, и, наконец (пропускаю десяток выразительных, но, увы, нецензурных глаголов), великолепный, объединяющий экономику с идеологией, гордый термин «скоммуниздить». В деятельности этого сорта роль партии была уж точно ведущей и направляющей, но постепенно и народ раскочегарился: что не скоммуниздила номенклатура, добрал беспартийный люд, готовый по винтику в карманах вынести хоть тепловоз.

Так на какую же нравственную традицию могла опереться в конце 80-х молодежь эпохи гласности и рынка?

Если добавить, что в самом начале 90-х легко распалась огромная, из века в век разраставшаяся империя, можно только подивиться стойкости и жизненной силе подраставшего поколения, которому в этом содоме пришлось самостоятельно разбираться в весьма противоречивых заветах весьма разнообразных отцов, убитых и убивавших, сидевших и сажавших, красных, белых и менее четких по колориту, фанатиков и казнокрадов, коммунистов, монархистов, нацистов и прочих, пытавшихся осенить юную толпу множеством несовместимых символов — от креста до серпа и свастики.

По сути, подросткам не оставалось иного, кроме как на живо-

писных руинах коммунистическо-державной морали строить новую, хоть какую-то. Позволяющую жить хоть в относительном мире с самим собой.

Что-то у них, пожалуй, получилось.

Большинству старших искренне кажется, что еще недавно в молодежной среде с нравственностью был хоть и не идеальный, но порядок, а теперь все распалось. Вряд ли это так. Скорей прежде молодежь была понятней и управляемей, легче было различить, кто в строю, а кто выбился из ряда. Но если взглянуть на дело с точки зрения не сорокалетнего, а семнадцатилетнего, картина выйдет совсем иная.

По сути, в спокойные застойные времена положение молодежи было зависимым, унижительным и потому трагичным. Чтобы пойти в кино с девочкой, приходилось клянчить у мамы. Джинсы, кроссовки, магнитофон — не столь уж кричащая роскошь — требовали многомесячной осады родителей, запутанных воспитательной прессой и гадавших, способствует или препятствует серьезная трата счастья отпрыска в отдаленном грядущем. Что уж говорить, например, о мотоцикле — тут годами шла борьба, сопровождавшаяся кучей отказов, условий и нравоучительных историй об американском миллионере, который в шестнадцать лет выставляет сына из дому с долларом в кармане, тогда как ты, бездельник...

Не так уж трудно понять, почему молодежь в те времена бесилась, выдрочивалась, ставила на куртки заклепки и брила затылки, оставляя на макушке лишь зелено-розовые ирокезские гребешки.

Много ли сулили «юноше, обдумывающему житье», прилежание, послушание и твердость поступили на проложенном отцами

пути? Сто двадцать раз после института, в тридцать — туристская поездка в Болгарию, в сорок — кооперативная малометражка, в пятьдесят — «Запорожец» и, если уж очень повезет, «скворечник» пять на пять на садово-огородном пятачке. Не густо! Вот и перли, кто половчей, в комсорги и парторги, чтобы хоть как-то выбиться, не в баре, так в бурмистры. А золотой возраст любви — пятнадцать, семнадцать, двадцать — протекал по чердакам и подъездам, без денег, без реальных перспектив, в нищенской позе полупоклона перед взрослыми, кредитоспособными, уверенно стоящими на ногах.

Здесь не грех и признаться, что инфантильность тинэйджеров, которую мы с ядовитой снисходительностью высмеивали, была нам и приятна. В рабской стране, где мы жили, все зависело от парткома, от райкома, от директора, от выездной комиссии, от таинственного КГБ, от месткома, распределявшего путевки, от замага, распределявшего дефицит. Для равновесия было просто необходимо, чтобы хоть кто-нибудь зависел и от нас. Вот и выручали устные отписки, просившие рубль и тем самым возвращавшие отцам уверенность в себе.

Как же далеки патриархальные эти времена!

Сегодня кардинальная проблема воспитания — надо ли покупать детям кроссовки, джинсы, магнитофоны, мотоциклы, машины и квартиры, — можно считать полностью решена.

Не надо.

Сами купят.

Как-то сам собой отпал и еще один вопрос, совсем недавно будораживший умы: а что положено молодому человеку? Одежда, парфюмерия, рестораны, курорты, загранички — можно или нет? Теперь

и тут без проблем: что в состоянии оплатить, то и положено. На «мерседес» заработал — «мерседес» положен.

Надо честно сказать, эта ситуация здорово раздражает. Приятно ли в каком-нибудь Майами московскому профессору, скромно приглашенному на пять лекций в местный университет, наткнуться на компанию молодых лоботрясов, с российской широтой сорящих американской валютой? Хорошо ли, когда на Кутузовском проспекте твой битый-штопанный «жигуленок» обгоняет юный нахал на «тойоте»? Ощущение не из ласкающих душу. Да кто они такие? Да с какой стати в бедной России, вместо того чтобы...

Да, по сравнению с Америкой Россия очень бедна. Да, еще минимум лет пятьдесят нам предстоит жить хуже, чем им, возможно, намного хуже.

Но!

Но разве вытекает отсюда, что один отдельно взятый Вова непременно должен жить хуже, чем один отдельно взятый Джон? Вот это, извините, ниоткуда не вытекает. Такого приказа не было. А если и будет, вовсе не факт, что отдельно взятый Вова согласится его выполнять.

Нас раздражает, что парни студенческого возраста всюю раскатывают на подержанных иномарках. Но ведь студенты Страсбурга или Бостона делают то же самое. Они что, больше заслужили? Трудолюбивей, умней, предприимчивей наших?

Не думаю. Это их прадеды были трудолюбивей и умней: раньше установили демократию, раньше ввели свободу печати, гарантировали права человека, развили рынок, отделили экономику от государства. А правнуки пришли на готовенькое. Да, России в обозримом будущем Америку не догнать.

Но любой московский или ярославский студент имеет сегодня возможность догнать Америку, так сказать, в индивидуальном порядке. Получается, увы, далеко не у всех. Но ничего не поделаешь, тут как в спорте: все стараются, а чемпионом становится один. Зато в процессе состязаний результаты растут у всех.

Если нашему отечеству повезет, та же «тойота» станет по карману рядовому станочнику. Но и тогда какой-нибудь выскочка приобретет личный вертолет. Сегодня «выскакивают» в основном молодые. Приходится мириться. Придется смириться. У них здоровье крепче, мозги свежей, не развращены плановой экономикой, не привыкли плакаться по местномам и каяться по парткомам. Нормальные жители планеты, нацеленные лично решать личные дела.

Еще важный нравственный вопрос: чем зарабатывают? Самый распространенный ответ: спекулируют. Купи-продай, бизнесмены паршивые. Сидят по ларькам, а на завод никто не торопится.

Но совсем так, но во многом так. Однако это не грех — это одна из закономерностей свободного рынка: руки и мозги быстро перетекают в самые перспективные отрасли, и чем лучше мозги, тем быстрее перетекают. Молодежь пошла в торговлю, в сервис — туда, где сегодня результат достигается почти сразу. А мы ворчим, не замечая в раздражении, что практически исчезло давнее сугубо российское проклятие: очереди на час, на два, на пять. А ведь были! А ведь стояли! Насмерть друг друга затапывали! Так, может, скажем «спасибо» тем семнадцатилетним, что захотели быстро разбогатеть?

По существу, на наших глазах в воспитании подростков произошла революция, которую мы проглядели. Элементарная нормализация экономики, первые же шаги неумелого рынка освободили

и родителей, и детей от конфликта, казавшегося извечным и неразрешимым: между созреванием сексуальным и социальным. Усы вырастали в пятнадцать лет, зарабатывать начинали в двадцать пять, промежуток был жалок и уродлив. Вот и лезли на стену, чтобы хоть чем-то походить на мужчин.

Сегодняшний семиклассник, дежурящий на набережной с ведром и губкой, зарабатывает мытьем машин больше, чем папа с мамой в своих конторах. И если этот добытчик в каникулы не едет с девочкой в Геленджик, то не потому, что нету денег, а потому, что пока нету желания. Конфликт остался, вектор изменился: теперь сексуальная зрелость отстает от социальной.

Особенно много нареканий на нынешних девчонок. Стриптиз, эротические театры, школы фотомоделей, «мисс бюст», «мисс ноги», «мисс чуток повыше»... А телефонный секс, экзотический массаж, невесты на экспорт, девочки на дом и прямая проституция, не прикрытая никакими фиговыми листками? Уж это ли не развал, гибель идеалов, конец эпохи «тургеневских девушек»?

Но и тут не будем торопиться. Развалины возникают не на пустом месте — только там, где что-то стояло. Если нравственность погибла, значит, прежде она была. А она была?

С былых времен, и легендарных, и недавних, изменилось, пожалуй, только одно: тайное стало явным, подпольное вышло на поверхность. Прочее — это уже от наших эмоций.

Да, прошлое России во многом определяют для нас ангельские лики героинь великого Тургенева. Но ведь была и Катюша Маслова великого Толстого. И Сонечка Мармеладова великого Достоевского. И беспощадная «Яма» Куприна. И бунинские «Три рубля» свидетельствуют, что в определенных обстоятельствах мысль

о платной любви не была вовсе уж непереносимой даже для хороших, благородных, как тогда выражались, «чистых» девушек. Что уж говорить о крепостных гаремах родовитых аристократов. О весьма распространенной мужской проституции хотя бы в просвещенный век «матушки Екатерины», постельные наемники которой получали за трудовую ночь побольше нынешних пуган и в случае простынных достижений без отлагательств назначались опорой трона и державы. Тогда, правда, не было телефонного секса, но, может, лишь потому, что еще не изобрели телефон?

Сегодня проституция, оставшись, по сути, прежней, как бы обрела некое достоинство, став в общественном мнении просто одной из профессий, тяжелых, не престижных, грязных, опасных, но прилично, а порой и высоко оплачиваемых. Будем справедливы: каскадерки постели тоже рискуют здоровьем и даже жизнью (хотя бы из-за СПИДа), и резонно, что им, как и кинокаскадерам, платят за риск. Кстати, и то, и другое ремесло при всей финансовой привлекательности массовым не становится.

При ближайшем рассмотрении выяснилось и еще одно: и фото-модель, и стриптизерка, и даже проститутка — это профессии, тут только отвагой не обойдешься, нужны и опыт, и мастерство, и, простите, талант, и постоянное строгое внимание к рабочему инструменту — собственному телу. Раздетым, как и одетым, деньги за так не платят.

Словом, рыночная котировка женского тела сама по себе не нова — впечатляет только масштаб предложения. Но это легко объяснить: любая вновь открывшаяся возможность поначалу кажется самой перспективной, обещающей молниеносную удачу. Должно пройти время, прежде чем молодежь поймет, что не каждый

банкир — Ротшильд, не каждая актриса — Джейн Фонда, не в каждом солдатском ранце лежит жезл маршала и не на каждой проститутке женится наследный принц Йеменской Народно-Демократической Республики. А когда все утрясется и станет ясно, что у лаборантки или парикмахерши куда больше надежных шансов на житейский успех, чем у платной девочки без комплексов, популярность печальных жриц любви пойдет резко на убыль. Как, собственно, и случилось во всех странах, где в проституции видят не смелый вызов общественной морали, а низкосортную отрасль сферы обслуживания.

Даже переход из школы в школу ребенок порой ощущает как болезнь. Переезд из страны в страну и для взрослого может стать трагедией. Так легко ли целой стране пережить перемещение из одной экономической системы в другую? То и дело приходится решать проблемы, в том числе и моральные, которых прежде просто не существовало.

Например, хорошо ли быть богатым, когда соседи бедны? Почему он... в то время, как я...

Стоит ли удивляться, что многие молодые рэкетеры легко находят нравственное оправдание столь экзотической для России специальности? Тем более что свою нишу в рыночной экономике рэкет уже отвоевал.

Быстрое развитие мелкой и средней частной торговли породило смежную проблему: новому купечеству понадобилась хотя бы элементарная защита. Органы правопорядка ее не обеспечивали. Свято место не бывает пусто, спрос тут же породил предложение. Каждому ларьку и лотку назначать собственных стражей накладно — вот и возникло что-то вроде принудительной параллельной милиции, которая облагает данью, но и обеспечивает порядок, в отличие от милиции казенной,

которая данью тоже облагает, но порядка не гарантирует. Что будет с рэкетирами дальше? Превратятся в паразитическую мафию? Станут конкурирующей формой охраны общественного порядка? Пока обе калитки открыты...

Я тут, пожалуй, оптимист. Во-первых, рэкету необходимо процветающее предпринимательство, иначе с кого брать? Во-вторых, преуспевший рэкетир, как любой собственник, начинает стремиться к законности и порядку. Так что посмотрим...

Нигде на планете молодежь не хочет откладывать хорошую жизнь на отдаленное «потом». Но в стабильных странах все места заняты, все очереди выстроены, и порядок в них строго соблюдается. Там при прочих равных условиях пожилой всегда богаче молодого. И только в период резких перемен воцаряется желанный хаос, когда разом открывается куча вакансий, когда можно получить все и сейчас. В такие времена мораль впадает в растерянность, как полиция в момент уличных беспорядков, когда не ясно, кто бандит, а кто борец за идею, кого спасти, а кого хватать. В такой ситуации безопаснее выждать, пока оружие и бегущие сами разберутся, кто из них патриот, а кто негодяй.

Свобода свалилась на Россию, как кирпич с балкона. Наверное, этот кирпич золотой, но все равно больно. Пройдет немало времени, пока нравственность приспособится к новой реальности и общество более-менее договорится, что в дальнейшем считать хорошим, а что — дурным. Видимо, утверждать можно только одно: если прежде было поощряемо много работать и мало получать, то уже сейчас престижно получать много, а какие усилия при этом затрачиваешь есть коммерческая тайна. Притча из Священного Писания о верблюде и игольном ушке быстро теряет популярность — призыв не зарывать та-

ланты в землю находит куда больший отклик в душах молодых современников.

Скорей всего, он и ляжет в основу новой российской нравственности.

Боюсь, что-то у нас при этом утратится, людские отношения станут похолодней: придется меньше надеяться на компанию и больше рассчитывать на себя. Это будет не просто, но что поделаешь — народу обрыдла нищета. Авань потеряем не много, российские обычаи российскими же и останутся.

...Так лучше или хуже становится молодежь?

Мне кажется, сейчас еще не время выводов. Не стану говорить: скоро увидим, уже и сейчас видим достаточно. Лучше скажу: скоро поймем.

А пока что у меня лишь одна рекомендация вступившим в зрелый возраст согражданам: не торопиться с оценкой молодежи. Приговор может быть любым, но неразумно выносить его до начала серьезного следствия.

Тем более что у нашего приговора слишком мало шансов вступить в законную силу.

Мы живем уже в их время.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Известный публицист высказал свое мнение о явлениях, происходящих сегодня в молодежной среде. Наверняка кому-то оно покажется ошибочным, кто-то, уверенно, безоговорочно с ним согласится. Не исключено, что у кого-то из читателей есть совершенно отличный от остальных взгляд на жизнь молодых.

Давайте дискутировать. Мы публикуем любое письмо, автор которого добавит что-то свое, интересное, неординарное к пониманию явления, называемого «молодежь 90-х».

ЧИТАТЕЛЬ • «СМЕНА» • ЧИТАТЕЛЬ

Г Счастливы ли кукушкины дети?

Г «Не ваша вина...»

Г Москвичка Лена Антонова (ее письмо напечатано в № 6 за прошлый год) утверждает, что «никому никакого вреда» она, родив ребенка и оставив его в роддоме, не сделала. Вот уж где нравственная глухота в абсолют! Все «я» да «я». Родители — идиоты, дурачки, на бабушку плевать, годится только как временная пристань. Впрочем, они сами же и виноваты, что дочку таким чудовищем вырастили. Речь не о них, а о ребенке — маленьком, беззащитном, который ни в чем не виноват и не просил, чтобы его на свет производили. Да задумалась ли хоть на секунду эта несчастная «мать», что ждет ее дочку, на какие муки и страдания она обрекает свое дитя?

Я работаю с детьми-инвалидами, а среди них есть и сироты при живых родителях, которые тоже оставили детей в роддоме. Был у меня мальчик Алеша (сейчас он уже взрослый), мать родила его не от мужа, надеясь этим привязать своего любовника. Но получилось так, что и отец мальчика не женился на ней, и муж оставил. Стал ей Алеша ненавистен, и отдала она его государству. «Не нужен мне этот лягушонок», — сказала. И маленький Алеша из роддома перекочевал в дом ребенка, потом в детдом, а в шесть лет попал

к нам в интернат для детей с церебральным параличом, хотя поражение у него было небольшое: чуть прихрамывает он и сейчас. Сначала мы пытались образумить мать, и однажды она даже пообещала навестить Алешу под Новый год. Стремясь поскорее обрадовать мальчика, мы имели глупость сказать ему об этом. Как он ее ждал! От дверей увести было невозможно, он не сводил с них глаз, весь обратившись в слух и ожидание. Никакие ласки, игры, подарки не соблазняли его. С каждым хлопком двери он вытягивался в струнку и беззвучно шептал: «Мама!» Невозможно было смотреть на это без слез. Но «мама» обманула, а вскоре заявила, что отказалась от сына официально, мы не имеем права ее беспокоить. Что было с мальчиком, описать невозможно...

Но время шло, Алеша успокаивался — только характер выдавал его душевные муки. Он дрался, грубил, ни с кем не считался. Все женщины были для него воплощением бросившей его матери, и всех их он обвинял в своем сиротстве, но плохих слов о своей матери тем не менее не говорил никогда, потому что затаил в душе мечту: вырасти и найти и маму, и отца. Наши доброта, любовь, ласка и строгость, великое терпение

и хороший уход делали свое дело: характер мальчика выровнялся, он подрос, физически окреп, превратился в красивого, здорового подростка. Тогда и взялся он за осуществление своей мечты. Нам, воспитателям, было запрещено давать ему координаты его матери и сестры (у него была старшая сестра по матери), но он все-таки раздобыл их адрес и отправился в гости. Пришлось и мне подключиться, навестить эту «маму», хотя я перед этим убеждала Алешу, что он готовит себе лишние страдания. Так оно и вышло. Мать не признавала сына, хотя несколько подачек ему и перепало. Но ему были нужны не подачки в виде денег или куртки, а внимание, тепло маминной руки. Он хотел отдать ей неистраченную сыновнюю любовь, хотел услышать мамин «сынок». Не услышал. Не приняли его любовь, не нужна она была этой «маме». В интернате эта женщина ни разу потом не появилась и ничего не сделала для брошенного сына, хотя могла бы: она жила у дочери, вышедшей замуж, и свою пустующую комнату вполне могла бы отдать сыну — он уже заканчивал школу, и впереди его ожидало в лучшем случае общежитие.

Не найдя душевного отклика у матери, Алеша, взяв у нее фотографию своего отца, снова отправился на поиски. Нашел. Отец его даже признал, более того, наобещал ему всяких благ, а после отъезда сына написал письмо на имя директора интерната, в котором возмущался тем, что мальчика отпускают (а Алеша просто сбежал), и потребовал запретить сыну

беспокоить его, ибо жена и дочь заявили: «Или сын, или мы». Для мальчика это был еще один сокрушительный удар: он понял наконец, что не нужен ни «маме», ни «папе».

Что было дальше? Алеша окончил школу, с интернатским приданым вышел в жизнь. Получив специальность, устроился на завод, даже квартиру ему завод предоставил. Купил он мебель, вроде неплохо все у него сложилось. Вот только с бедами своими и радостями идет он в интернат, так как во всем мире нет у него родной души при живых родителях и куче родственников. Мечется он, прыгает с работы на работу, личную жизнь не может устроить, хотя внешне Бог не обидел. Но вот жизненных навыков, которые даются только в семье, нигде ему было приобрести.

Вот так. «Никому никакого вреда»? Судя, Лена, сама. И это еще более или менее благополучная история. А сплошь и рядом другие судьбы «сирот». Я могла бы и о них поведать тебе и всем таким мамам-кукушкам, которые считают, что никому плохо не делают, оставляя свое дитя в роддоме и обрекая его на муки, страдания и одиночество. Да, конечно, государство (т.е. мы с вами, ибо из наших налогов строится государственный бюджет) заботится материально о кукушкиных детях, но никакой воспитатель, как бы он ни был добр и ласков, не может заменить брошенному ребенку родителей.

Мне жаль этих детей. Но, как это ни парадоксально, едва ли не больше мне жаль тебя, Лена.

Прошу не указывать ни мою

фамилию, ни город: не хочу причинять Алексе (имя, конечно, изменено) лишнюю боль. Я написала это письмо для Лены и ей подобных.

С. В.

Очень надеюсь, что на свете еще есть добрые люди, которые смогут облегчить боль моему сыну. Ему одиннадцать лет, мальчика замучила бронхиальная астма. Приступы такие, что чуть ли не постоянно ему требуется лечение в стационаре. Какие методы мы только не испробовали! Народные средства, уринотерапию, травы. Недавно мне посоветовали попробовать для лечения корень девясила, но я нигде не могу его купить. Может, где-то поблизости девясил и растет — я просто не знаю. Если кто-нибудь сможет выслать мне этот корень — не откажите, прошу вас, вышлите, я заплачу; и посоветуйте, как излечить ребенка от этой страшной болезни.

Напишите нам по адресу: Чувашия, Канашский район, деревня Малые Кибегы.

В. Д. ФОМИНА

Я всегда выписывала кучу газет и журналов, а «Смену» — десять лет. Но у нас на Украине постепенно пришлось отказаться от многих изданий, которые раньше были нам доступны, и лишь «Смена» составляла для меня единственную радость из мира периодических изданий. Но вместе с благодарностью за интереснейшие публикации я вынуждена сказать вам про-

щальное слово. Дело в том, что на Украине не объявили подписку на «Смену» на 94-й год, а ведь я столько лет радовалась каждому номеру журнала — когда-то совсем другого, большого формата, потом — книжечке. В таком виде журнал что-то утратил, что-то приобрел. Он, к сожалению, стал быстро рассыпаться, поэтому я перед чтением сшиваю его нитками. Исчезли прекрасные цветные фотографии, но появилось больше литературных материалов, хотя, кажется мне, статей с острой направленностью маловато. Правда, компенсируется это историческими очерками, повестями, политическими памфлетами. Мне это тоже чрезвычайно интересно. И уж, безусловно, огромное удовольствие получаю от чтения детективов и мистики. Я предпочитаю интеллектуальные детективы, а в «Смене» они именно такие. Поэтому всегда была рада вашему и своему журналу. Считаю его своим, потому что он полностью отвечает моим вкусам, потому что я его очень люблю и жду. Спасибо за то, что столько лет вы делились со мной духовной пищей. Не ваша вина, что общаться с друзьями становится все труднее и что по политическим прихотям нас разлучают. После многолетней дружбы мне тяжело будет переживать разлуку с журналом. Остается надеяться, что добрые чувства переселят нагромождение амбиций, глупостей, и последующие годы мы все же будем вместе — «Смена» и украинские читатели.

**ЕЛЕНА САЕНКО,
Донецк**



ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

ИСПЮ

Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник¹ и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани² от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа — так начал свое жизнеописание самый замечательный русский поэт восемнадцатого века, а по сути дела — первый русский поэт: Гоголь считал, что только с Державина в нашей поэзии «выступило уже творчество», поскольку, скажем, для Ломоносова стихотворство было лишь «развлечением или делом отдохновения».

Много занимавшийся Державиным и написавший о нем книгу — шедевр русского биографического жанра! — Владислав Ходасевич утверждал, что «Державин-поэт был таким же непосредственным строителем России, как Державин-администратор», и «что его стихи суть вовсе не документ эпохи, не отражение ее, а некая реальная часть ее содержания; не время Державина отразилось в его стихах, а сами они ...создали это время».

В самом деле, никто из русских литераторов не дослужился до таких чинов и не занимал столь высоких должностей, как Державин. И все-таки административные заслуги Гавриила Романовича несравнимы с поэтическими. Чиновников, и даже удачливых, в России было немало, а карьеру Державина, хотя он и входил в число ближайших сподвижников Екатерины II (и даже изваян у подножия ее петербургского памятника), особенно удачливой не назовешь.

Его «благородные» родители были весьма бедны. Отец владел десятью, а мать — полусотней крепостных душ; к тому же отец рано умер, а мать беспрестанно судилась с соседями, отбиравшими у нее землю, что вконец разорило семейство.

С рождения Державин был записан в инженерный полк, но с бумагами вышла путаница, и девятнадцати лет, так и не закончив курса в казанской гимназии, ему пришлось начать службу рядовым в Преображенском полку. Обычно дворяне рядовыми не служили — вспомним Петрушу Гринева из «Капитанской дочки», — а вот Державину пришлось тянуть солдатскую лямку целых десять лет. Лишь на новый, 1772 год он был

¹ Второй по старшинству высший гражданский чин.

² На самом деле Державин родился под Казанью, в деревне.

произведен в гвардейские прапорщики. Если ко всему этому добавить, что за годы солдатчины Державин пристрастился к картишкам и однажды проиграл закладную на материнское имение, то счастливой ни его юность, ни его молодость не назовешь.

Но от одного необдуманного шага фортуна его все-таки уберегла. Прибыв в Петербург перед самым июньским переворотом, возведшим на престол Екатерину, Державин чуть было не поступил в голштинский полк Петра III (он недурно знал немецкий язык), но вовремя одумался, чем спас себя (и русскую поэзию!).

Став офицером, Гавриил Романович несколько поправил свои материальные дела, главным образом потому, что сначала научился играть «счастливо», а затем и вовсе оставил это занятие. Малоимущего и уже немолодого гвардейского прапорщика вряд ли ждало особенно блестящее будущее. Но тут вспыхнуло крестьянское восстание, и Державин решил поправить свои дела не больше, не меньше, как... поимкой самого Пугачева. Уроженец Казанской губернии, он сумел убедить возглавившего следственную комиссию генерал-аншефа Бибикова взять его с собой. Более года Державин безуспешно ловил бунтовщика. Впрочем, и Пугачев пообещал за державинскую голову 10 000 рублей. Удача не сопутствовала ни тому, ни другому. Самозванца привез в Петербург Суворов, а Державина едва не отдали под суд, поскольку, как сам о себе писал, «был горяч и в правде черт», начальникам дерзил и плохо с ними ладил. Вскоре после подавления пугачевского мятежа Гавриилу Романовичу пришлось оставить военную службу и перейти в статскую.

Однако же, увидев «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», он, хоть и не усомнился в основах крепостного права, все же понял причины крестьянского возмущения. Через пять лет он напишет свое знаменитое стихотворение «Властителям и судьям».

Первый вариант стиха, напечатанный в журнале «Санкт-петербургский вестник», 1780 г., № 11, весьма отличен от окончательной редакции:

*Се Бог богов восстал судити
Земных богов во сонме их;
«Доколе» — рек — «неправду чтити,
Доколе вам шадити злых?
Ваш долг — законы сохранять
И не взирать на знатность лиц,
От рук гонителей спасати
Убогих, сирых и вдовиц!»
Не внемлют: грабежи, коварства,
Мучительства и бедных стон
Смущают, потрясают царства
И в гибель повергают трон.*

Видно, как с годами стих Державина становился все звучней и раскованней.

Переложение 81-го псалма:

У Державина:

81-й псалом

Восстал Всевышний Бог, да
судит
Земных богов во сонме их;
Доколе рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять
законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг спасать от бед
невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать
бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! — видят и
не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! — Я мнил, вы боги
властные,
Никто пред вами не судья:
Но вы, как я, подобно
страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист
падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний царь
умрет!

Воскресни, Боже! Боже
правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли!

Чтобы так переложить псалом, надо было уже стать не только большим поэтом, но еще многое в жизни повидать, пережить и передумать. Под конец своего царствования Екатерина приказала выдрать этот стих из журнала, обвинив Державина в якобинстве, на что Гавриил Романович отвечал, мол, «царь Давид якобинцем не был». Однако и при Павле этот стих не прошел цензуру.

1. Бог стал в сонме богов;
среди богов произнес суд.
2. Доколе будете вы судить не-
праведно и оказывать лице-
приятие нечестивым?
3. Давайте суд бедному и си-
ро́те; угнетенному и нищему
оказывайте справедливость.
4. Избавляйте бедного и ни-
щего, исторгайте его из руки
нечестивых.
5. Не знают, не разумеют, во
тьме ходят; все основания зем-
ли колеблются.
6. Я сказал: вы — боги,
и сыны Всевышнего — все вы.
7. Но вы умрете, как челове-
ки, и падете, как всякий из
князей.
8. Восстань, Боже, суди землю;
ибо Ты наследуешь все наро-
ды.

Известный русский религиозный мыслитель Георгий Федотов назвал Пушкина певцом империи и свободы. Думаю, эти слова не в меньшей мере приложимы и к Державину. Высший сановник, слуга трона, был свободолюбивым человеком. Свою знаменитую «Фелицу» он написал, наблюдая Екатерину II издали. Когда же она его наградила за этот стих и приблизила к себе, он уже ничего столь искреннего создать не мог. В своих «Записках» он вспоминает: ...«Императрица: «...прашивала его, чтобы он писал в роде оды Фелицы... хотя дал он ей в том свое слово, но не мог оно сдержать по причине разных придворных каверз, коими его беспрестанно раздражали: не мог он воспламенить своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческой с великими слабостями. Сколько раз ни принимался, сидя по неделе, для того заперевшись, в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен: все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства».

Однако сама ода «Фелице» замечательна. До Державина оды, в том числе и ломоносовские, лишь воспевали величие адресата, а в державинском стихотворении перед нами живой портрет не только героини (императрицы), но и самого автора.

*А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью,
Преображая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою:
То плен от персов похищаю,
То стрелы к туркам обращаю;
То возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан.*

Если внимательно приглядеться к этим строчкам, нельзя не увидеть в них что-то знакомое: они как бы «предчерновики», грубый, необработанный, будущих первых глав пушкинского «Онегина».

Все мы со школы помним строчки:

*Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.*

(Восьмая глава «Евгения Онегина».)

Но в частной переписке Пушкин был к Державину весьма строг. Из михайловской ссылки он писал Дельвигу летом 1825 года: «По твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы... Что в нем: мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-Богу, его

гений думал по-татарски — а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу...» (Тут Пушкин действительно не ошибся: оду «Бог», которую Александр Сергеевич наряду с «Фелицей» и еще тремя стихотворениями Державина считал лучшими его вещами, переводили не менее пятнадцати раз на французский язык, не менее восьми раз на немецкий, несколько раз на польский, а также на английский, итальянский, испанский, шведский, чешский, латинский и даже на японский языки.)

Но почему Пушкин был так суров к Державину? «Истинный вкус, — считал он, — состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и соразности». Конечно же, стих Державина и должен был казаться Пушкину диким и державинские оды невыдержанными. И с русской грамотой у него было не в порядке, хотя бы потому, что в его эпоху русская грамота только упорядочивалась. И все-таки время поправило Пушкина: как поэт Державин, несомненно, выше Ломоносова...

И вот еще что удивительно: русская поэзия больше взяла от Державина, чем от Пушкина. Пушкин — совершенство, а совершенству подражать немислимо, с ним можно лишь сверяться (как, скажем, сверяют часы с солнцем). И все-таки я думаю, что, не пояись Державина, и Пушкин был бы другим. Первоначальную, черновую, грубую, первопроходческую работу в русской поэзии за Пушкина сделал Гавриил Романович. И уже после Державина с его несообразностями, с его промахами, несовершенством, неряшливостью и небрежностью первопоселенца пришел гармоничный Пушкин. Пушкинское «разборчивое» ухо и пушкинская волшебная рука отвергли, отсеки все лишнее, необработанное и привели стих к соразмерности и соразности.

Но вот опять же какая странность: после Пушкина поэты сызнова стали заимствовать у Державина, стали гранить его необработанные алмазы. Это предсказывал еще Гоголь, когда писал о Державине: «Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина».

Конечно же, все наши поэты, в том числе и Пушкин, тотчас начали осваивать эти сочетания. «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь» — высокое «торжествуя» ставится рядом с низким — «дровни». Но не только этому училась русская поэзия у Державина. Гоголь, сам не ставший поэтом, но как никто из наших классиков понимавший тайны стиха, писал: «Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашей землею, преобразуя что-то высшее, нас ожидающее, или это навеялось на него отдаленным татарским происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распалющиеся наше воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете, — что

бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда, Бог ведь, как издали забирал он слова и выражения за тем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все, но где только помогла ему сила вдохновения, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячьо глазами глядит он... глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного: возвращается святое высокое значение тому, что мы привыкли называть общими местами, и, как из уст святой церкви, внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него все выглядит исполненным: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия».

Однако, слава Державина, Гоголь все-таки в чем-то смыкается с Пушкиным: «Но надобно сказать... другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в нерящество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда всё в беспорядке: речь, язык, слог, — всё скрипит, как телега с немазаными колесами, и стихотворение — точно труп, оставленный душою...»

И действительно, нерящество у Державина хоть отбавляй. Они видны даже в его знаменитой оде «Бог», хотя колокольным звоном звенят ее строфы. Вслушайтесь!

*О, Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех ликах Божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог.*

*Измерить океан глубокий,
Сочечь пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, —
Тебе числа и меры нет!*

С сожалением пропускаю пять с половиной строк, потому что для первого чтения и первого впечатления Державин все-таки труден.

*Ты есть! — природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.*

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь ¹,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие Твое.

В объяснении к своим стихам Державин рассказывал: «Автор первое вдохновение или мысль к написанию сей оды получил в 1780 г. быв во дворце у всенощной в Светлое воскресенье, и тогда же, приехав домой, первые строки положил на бумагу; но, будучи занят должностию и разными светскими суетами, сколько ни принимался, не мог окончить оную, написав однако в разные времена несколько куплетов». Дальше Державин рассказывает, как в 1784 г., «прибыв в Нарву, оставил свою повозку и людей на постоялом дворе, нанял маленький покой у одной старушки-немки, с тем, чтобы она и кушать ему готовила, где запершись сочинял оную несколько дней, но, не докончив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом; видит во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему, вокруг стен бегают свет, и с сим вместе полились потоки слез из глаз у него; он встал и ту же минуту, при освещающей лампаде, написал последнюю строфу...»

Вот эта строфа:

Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвыщаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

Эта строфа явно слабей остального стихотворения; даже «непо-

¹ творение.

стижный — бессильны» рифмой не назовешь. К сожалению, прозрачных стихов, стихов без огрехов и срывов, у Державина почти нет. Даже знаменитое, написанное на смерть Суворова «Снигирь» Гавриил Романович умудрился испортить странной рифмой «лежат — побеждать», которую сегодня отвергнет самый неискушенный графоман. Что ж, нелегко быть первопроходцем! И все-таки Державин справился с этой должностью. Двести без малого лет его «Снигирь» вдохновляет наших лучших поэтов. Последний пример: прекрасное стихотворение Иосифа Бродского «На смерть Жукова», где последние строки прямо адресуются Державину:

*Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.*

Следует добавить, что, несмотря на то, что с Пугачевым «повезло» не Державину, а Суворову, поэта с полководцем связывала долгая дружба, причем не только Державин писал стихи о Суворове, но и Суворов посвящал стихи Державину, да и на петербургском памятнике Екатерины они расположены рядом.

Но вернемся к стихам. Свои рассуждения о Державине Гоголь закончил словами: «...остается он, как невостребованная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которою долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным».

В самом деле, для читателя Державин сегодня труден. Но каждому начинающему стихотворцу я бы пожелал почаще раскрывать Державина. На мой взгляд, его наследство — это алмазные копи. Державинские необработанные алмазы уже два столетия без устали гранят наши лучшие поэты. Это такое богатство, которое, сколько ни растаскивай, все равно не растащить. Стоит любому из наших лириков хоть на миг взять торжественную ноту, и уже в его голосе слышна державинская хрипотца.

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек...

или:

И внял я неба содроганье,

И горних ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

А возьмите Тютчева:

О жертвы мысли безрассудной,

Вы уповали, может быть,

Что станет вашей крови скудной,

Чтоб вечный полюс растопить.

Едва, дымясь, она сверкнула,

На вековой громаде льдов,

Зима железнаядохнула —

И не осталось и следов.

В этом стихотворении 1826 года Державин слышится куда сильнее, чем любой тютчевский современник или предшественник. То же самое можно сказать о Баратынском. А лермонтовское «На

смерть поэта» по своей мощи и гневу намного ближе к Державину, чем к оплакиваемому поэтом Пушкину.

Но не только поэтической мощи учились у Державина. У него заимствовали и его изумительную образность. Нас восхищают строки из «Медного всадника»:

*Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.*

Но двумя с лишком десятилетиями раньше Державин в стихотворении «Аристиппова баня» написал строчки, восхитившие Гоголя:

*И смерть, как гостью, ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.*

«Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожидание смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов? Но как через это ощутительнее видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе!» — восторгался Гоголь.

Перенесемся в двадцатый век и сравним два четверостишия:

*Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти,
и к бессмертной славе.*

*Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.*

И

*Не легкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.*

У этих стихов и у их столь чуждых друг другу авторов — Маяковского и Ходасевича — на самом деле один предок! Еще раз повторю: для русской поэзии Державин — неиссякаемое богатство; в нем до сих пор неоткрытого не меньше, чем, скажем, у Хлебникова. Конечно, у него масса никудышных, попросту плохих стихов. Еще Пушкин отмечал: «Кумир Державина, 1/4 золотой, 3/4 свинцовый...» Важно лишь разборчивым ухом отделить примеси, отсеять все скрипучее, тяжеловесное, лишенное чистого звука. Фривольные стихи Державина явно устарели. Для них его стих недостаточно легок и изящен. Например:

*Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках,
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях.*

Такого рода стихи он писал под старость, но даже и тогда, слабее телом, он не терял ни силы голоса, ни живописи стиха.

*Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером*

Там щука пестрая: прекрасны!

Этот почти фламандский натюрморт взят из большого стихотворного послания «Евгению. Жизнь Званская». Выйдя при Александре I в отставку, Гавриил Романович поселился на берегу Волхова в имении Званка. Послание начинается словами благодарности свободе:

*Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных!*

*Зачем же в Пётрополь на вольну ехать страсть,
С пространства в тесноту, с свободы за затворы,
Под бремя роскоши, богатства, сирен под власть
И пред вельможей пышны взоры?*

И самое удивительное, что семидесятитрехлетним стариком, за несколько часов до смерти, Державин продиктовал едва ли не лучшие свои строки:

*Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.*

76

Мощь этих строк не ослабевает даже из-за небрежного слияния двух «з», и вообще они настолько сильны, что даже побеждают свою безнадежность. Думается, что Державин более прав в своем «Памятнике» (1795 г.):

*Так! — весь я не умру, но часть моя большая,
От глена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.*

И хотя в этих строках исторический и поэтический оптимизм выражены не так мощно, как ужас перед вечностью в последнем его стихотворении, два прошедших столетия уже подтвердили предсказание Державина.

Я мало рассказал о державинской биографии, потому что есть замечательная книга Владислава Ходасевича, и сегодня она наконец напечатана в России (вышло несколько изданий!). Я обильно цитировал Гоголя, потому что Гоголь, как никто из наших классиков, понял значение Державина и добавил к гоголевским словам вряд ли что можно. От себя же мне остается лишь закончить эту статью собственным стихотворением — данью благодарности нашему замечательному поэту.

КОЛОКОЛА ДЕРЖАВИНА

*Колокола Державина,
Звонче вас, громче нет!*

Бьете неподражаемо
Вот уж две сотни лет.

Не серебро, не золото —
Просто глагола медь,
Но еще долго молодо
Вам после всех греметь.

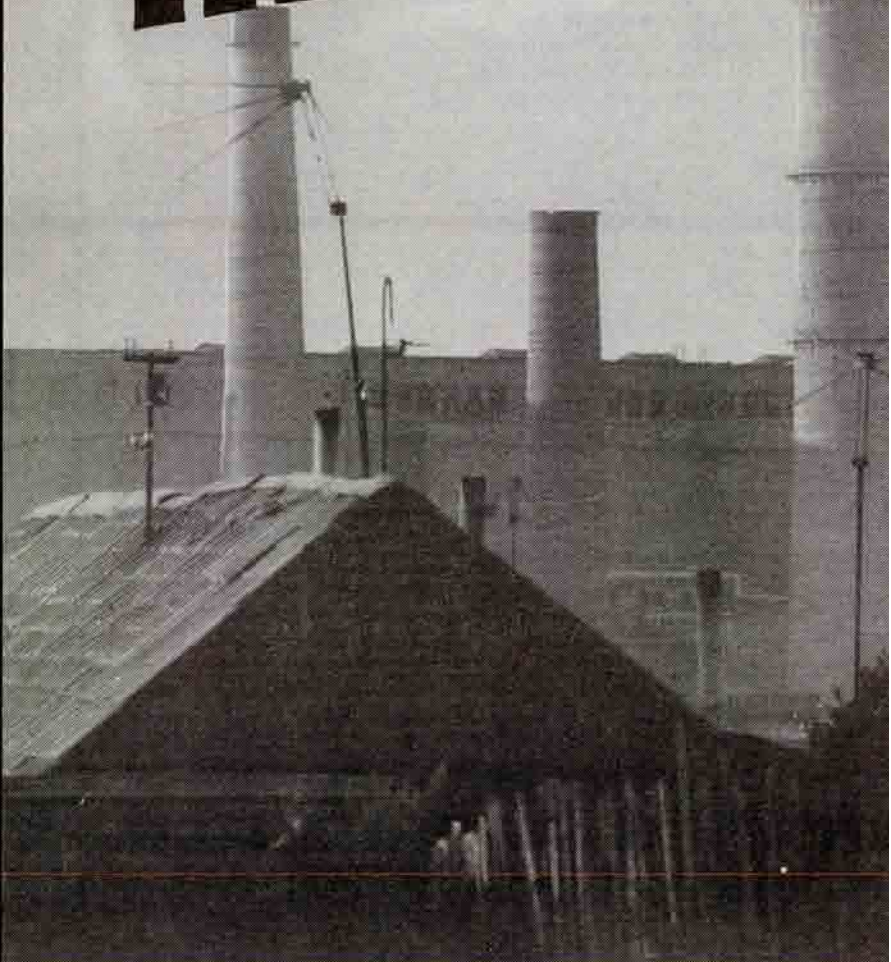
Ярости ваша жалоба,
Радость, хвала, хула,
Колокола Державина,
Страсти колокола!

Дыбой, кнутом и ядрами
Волю прогнали прочь,
Но отчего-то ямбами
Заговорила ночь,

Может, всего не ведая,
Может, и о другом,
Но целых два столетия
Не умолкает гром.

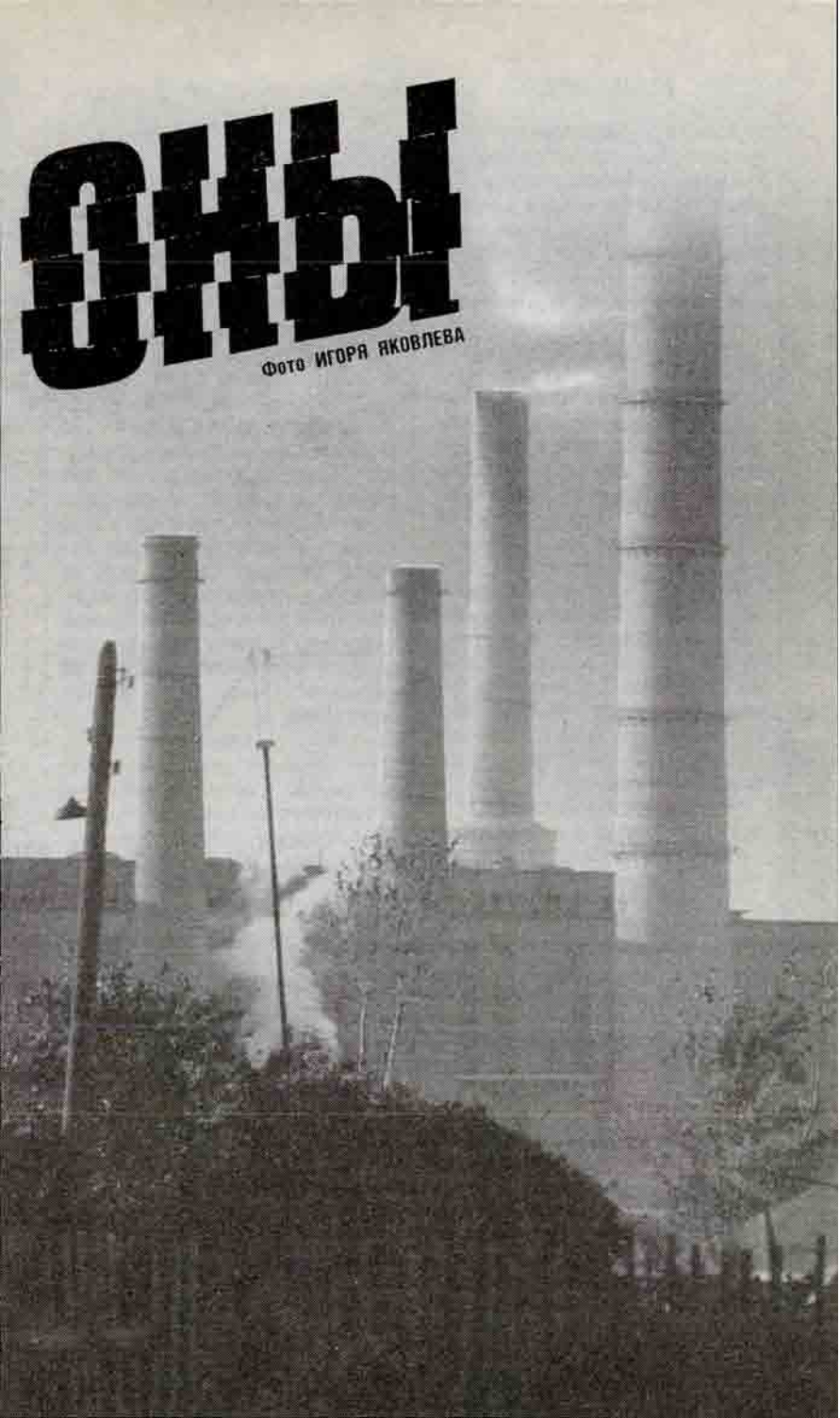
ВИТАЛИЙ СВЕТОВ

ПЕРЕЗВ



СИБИРЬ

ФОТО ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА



Рудное место

Долетев до Екатеринбурга, мы проехали еще сто километров до Каменска-Уральского, города, где живут 210 тысяч человек и работают заводы — алюминиевый, цветных металлов, радио, трубный, металлургический.

В центре Каменска-Уральского — трамплин.

Сразу за площадью, где высится державное здание с поникшим от дождя российским флагом, — овраг; с обрыва виден старый город: домики с палисадами и две неразрушенные церкви. А по склону овраг и на дне его — слой красной глины — бурый железняк, спутник железной руды. Ей и обязан своим рождением Каменск (с 1940 года — Каменск-Уральский). Мне об этом рассказал Владимир Петрович Шевалев. Семидесятилетний учитель географии знает в городе каждый камень — в буквальном смысле. Минералогией он увлекся, когда ему было двенадцать, а в город приехал шестнадцатилетним.

Надев сапоги и дождевик, он показывал город, а с ним увязались трое учеников. Им, десятилетним, пока еще интересны камни.

Остановились на берегу Каменки. Неожиданно быстро для своих лет Шевалев нагнулся, поднял обычный камень, отглаженный водой.

— Смотрите: это кусок древнего коралла. Вот он, коралл, облеплен затвердевшим со временем песком. Ему — триста миллионов лет. Тогда на месте Урала было море.

— А это что, Владимир Петрович? Смотрите, какой красивый! Синий!..

— Шлак. Продукт переработки бывшего Каменского чугунолитейного завода. Этому камню никак

не больше трехсот лет. Здесь у завода свалка была.

— А почему шлаку не больше трехсот лет?

— Да потому, что завод основан в 1700 году. А в 1701 году отлили первые пушки. Наш завод — самый старый на Урале. Долго здесь пушки делали. Они и шведов били под Полтавой, и французов при Бородино...

— А завод сохранился?

— Его сломали после революции. Осталось только здание, где нынче краеведческий музей — там была заводская контора. Заводские конюшни остались — в них сейчас драмтеатр квартирует... А вон видите — плотина? Эта — новая, а я еще старую застал. Когда в пятьдесят втором году ее меняли, я видел, как десятитонный кран еле-еле лиственничные плахи друг от друга отдирали... Они за два с половиной века даже не подгнили, стыки были сукном проложены...

— А до завода что было?

— Крестьяне жили, вольные. А в сорока верстах Далматовский монастырь стоял. Крестьяне здесь руду находили, лили в своих кузнях металл. Игумен прознал об этом и решил их к своим рукам прибрать. А крестьяне жалобу написали, отвезли в Москву. И она, жалоба эта, видать, на глаза царю Петру Великому попалась. А ему в ту пору пушки нужны были, он к войне готовился — вот и повелел поставить в здешних краях завод... Завод стал казенным, то есть государственным, а все крестьяне — его собственностью: не хотели на монастырь работать — стали работать на завод.

«Самосветы»

В школе, где Шевалев долгое время был директором, он создал и пестует музей, посвященный

камню. Об экспонатах Владимир Петрович может рассказывать бесконечно. Неудивительно: преподает он с 1947 года, камней в музее тысячи...

— Отпечатки древних гигантских папоротников на угле мы нашли с ребятами во время водного похода... А эти зубы древней акулы отыскивали в песчаном карьере под городом — помните, я говорил, что миллионы лет назад здесь было море?... Ребятки мои захватили дуршлаг и просеивали песок... Смотрите, какой роскошный бивень мамонта! Родители нашего школьника с Северного Урала привезли... А этот искусственный кристалл подарил мой бывший ученик — он стал инженером на оборонном заводе, где такие кристаллы выращивают... Сей тихоокеанский коралл, его еще «мозгом Нептуна» называют, преподнес другой наш выпускник, поэт и бард Валера Берсенев... А эти камешки, вырезанные из почки больного, подарил еще один бывший ученик, сейчас хирург...

И знает о камнях Шевалев десятки, сотни историй.

— ... соткали для заводчика Никиты Демидова мастерицы скатерть из асбеста. Тот преподнес ее царю. Петр порадовался, велел застелить, усадил Демидова обедать. Подносят кушанье — Демидов вскочил неловко, разлил соус по скатерти. Петр Великий осерчал: «Ах ты, медведь уральский!» А Никита скатерть снял со стола — да в огонь! «Вот черт полумный!» — Но не горит полотно, дивится царь...

«Камни рождаются в крошечной мгле, и только солнечный свет открывает их красоту людям», — сказал учитель, включая софиты, направленные на витрину, где лежат камни, обработанные им вместе с учениками. И вправду: залучились, зазвенели камушки... «Ну, —

улыбнулся Шевалев, — не случайно самоцветы на Урале самосветами называют?»

Сейчас в мастерской работают четверо парнишек. А за сорок шесть лет тысячи ребят Шевалев выучил. Кем особенно гордится, спрашиваю.

— Всеми, кто не спился...

Музейные редкости

С восторгом неопита узнаю, что в петровские времена «некрасиво» было синонимом слова «нехорошо», а Достоевский говорил не только, что красота спасет мир, но и что некрасивость его убьет.

Сидели мы в кабинете Ларисы Ивановой, научного сотрудника краеведческого музея. Она показывала фотографии с видами Каменска начала века.

— Красивее, чем нынче, правда?

— Тогда ведь у завода свой архитектор был, — сказал Шевалев. — Видите, какое здание симпатичное? Что это, как вы думаете?.. Домна!

— А что у вас сейчас можно посмотреть? — спрашиваю. — Куда вы, например, своих друзей или родственников приглашаете, которые в город приехали?

Иванова переглянулась с Шевалевым, пожала плечами:

— За город, если погода хорошая.

В залах музея полутемно. Служительницы жмутся к электрокамину.

Экспозиция советского периода начинается с разбитого зеркала, опрокинутого бюста Александра II и красных томиков Маркса, из-под которых выползает красный канат... Он ползет, этот канат, мимо фотографии комиссара полка Красных Орлов; свидетельства о смерти доктора Скворцова, расстрелянного в 1938-м; фотографии

ударницы, которую за доблестный труд покатали на самолете; семи слоников; грамот с Лениным — Сталиным; отбойного молотка; газет с «давай-давай!»; одежды сталевара; фото парашютной вышки, устроенной на колокольне Свято-Троицкой церкви, в прошлом заводского храма... Трижды в советском разделе возникают талоны, ими же он и заканчивается...

— Все, кто приходит сюда, грустнеют, — заметила Иванова. — Ничего, я вас развеселю. Когда мы этот отдел в конце девяностого года открывали, приглашенные смеялись: «Зачем в музее — талоны? У нас у самих их полный кошелек!» А сейчас они уже такой древностью кажутся, правда?.. И теперь мы перечеркнутые рубли и трешки для музея припасли... Вот видите дверь в стене? Мы экскурсантам говорим: «За ней новые залы, там продолжается история, которую напишете вы». Интересно, что останется от нынешнего времени? Ваучеры? Стреляные гильзы? Колокола?

Колокольных дел мастер

Колокола, что отлил каменский мастер Николай Пятков сотоварищи, звучат в столице на колокольне храма Василия Блаженного. И еще на многих храмах по Руси.

36-летний Пятков, инженер-металлург по образованию, в недавнем прошлом начальник литейного участка на алюминиевом заводе, возглавляет товарищество «Пятков и К^о», в котором работают, кроме него, шестеро (в том числе младший брат Виктор).

У товарищества нет офиса, а у Николая Пяткова — домашнего телефона, поэтому по вечерам он, бывает, ездит на почтамт и порой часами ждет, пока дадут междугородный разговор с заказчиком.

О том, как начал лить колоко-

ла, Пятков рассказывает иронически:

— Когда у нас человек особо не пьянствует и у него автомобиля или там дачи нет, надо же ему чем-то заниматься. И у меня был какой-то заскок — крыша, что ли, поехала? — стал запоем читать все историческое. О России. Начал с исторических романов, потом они стали неинтересны, и вот так лезешь-лезешь: Зимин там, Ключевский, Соловьев... И когда всякие смуты или противостояния лагерей, везде церковные деятели проходят. Везде православие! История церкви — это история государства...

Однажды Пятков прочитал о создании ассоциации колокольного искусства с приглашением откликнуться музыкантов, ценителей и литейщиков. Написал, впервые в жизни, письмо в газету и получил «очень душевный ответ» от председателя ассоциации, который советовал ему связаться с литейщиками из Воронежа, что уже делали колокола на продажу. Пошел Пятков к каменскому батюшке Ивану Алексеевичу, отцу Иоанну, и сказал, что хочет отлить колокола на церковь. Тот поверил («может, в глазах у меня увидел чё?») и дал триста рублей на поездку в Москву. Встретились с колоколелитейщиками в пивбаре «Жигули» на Калининском («я говорю: может, в Мавзолей сходим, а они: ты чё, дурак, что ли?»), и те передали Пяткову небольшой такой чертежик колокола...

Но колокол тот был европейский. А хороший русский колокол отличается от плохого тем, что звучит. А звучание, если объяснять его языком слов, должно быть таким: нельзя, чтоб исполнял одну ноту, как струна (или европейский колокол), надо, чтобы обладал богатыми обертонами, причем главный обертон попадал



Музей учителя Шевалева.

бы в малую терцию, а унтертон — в октаву. Так объяснил мне Николай, не имеющий музыкального образования. Вы поняли?

Чтобы колокол звучал, надо знать секрет. Он, по словам Пяткова, не только в химсоставе металла — его подберет любой знающий литейщик и не только в грамотной плавке, а в профиле колокола, его форме. Каким образом старорусским мастерам без акустических лабораторий и компьютеров удавалось отливать идеально звучащие колокола — загадка.

А как удается Пяткову? Опять-таки без компьютеров. И без лабораторий. Может, дело и не в химсоставе, и не в плавке, и не в форме? Может, еще какой секрет у Пяткова?

— Деда моего с родней сюда в город — был тут у нас такой поселок Мартюш для ссыльных — на телегах голыми привезли, а к войне они уже жили лучше,

чем вся округа, потому, что сюда самых головастых, самых работающих собирали... У него, у деда, в деревне Пятково Челябинской области мельница была — сейчас там ни мельницы, ни хлеба...

— Никакого начального-первоначального капитала у нас не было, — продолжает Николай. — Шли на завод цветных металлов и брали под честное слово тонну лома. Культура литья, хотя мы и на Урале живем, в краю мастеров, с этим планом, «давай-давай», «и так сойдет» — практически уничтожена... Мы учились год. Считаю, задаром — ничего год не получали. Я спать ложился в шесть-семь вечера, потому что казалось, что так ночь быстрее пройдет...

Личное клеймо

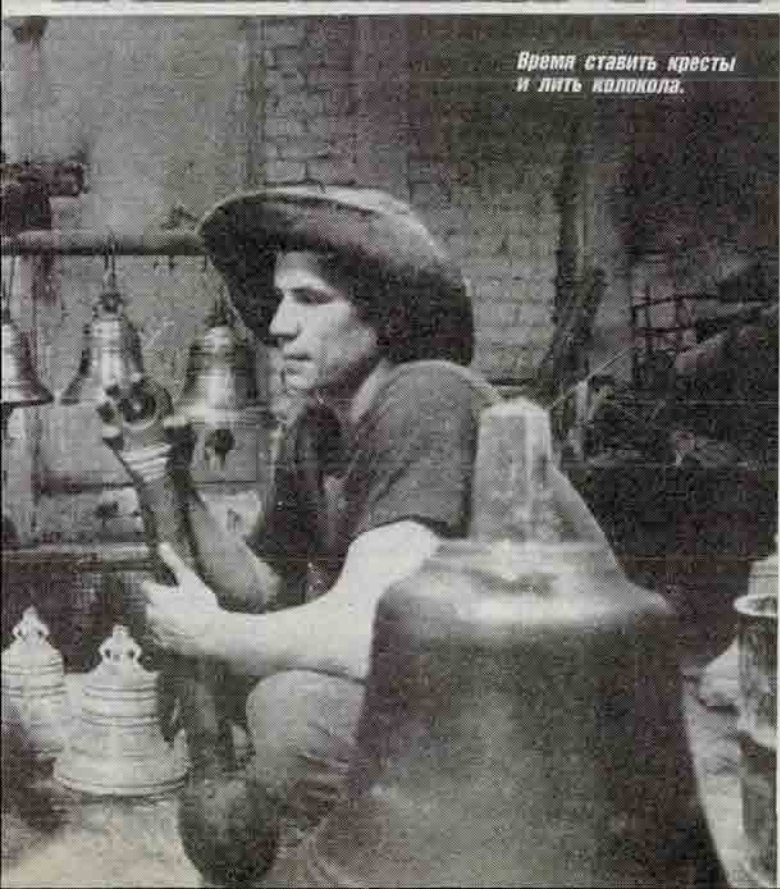
— Мечта? — Пятков задумывается ненадолго. — Построить все-таки свой завод. Покуда мы уча-

*Шесть мельниц было
на берегу Исети...*





*Время ставить кресты
и лить колокола.*



86

стки арендуем, а квартиранта и выгнать недолго... И будем лить и лить колокола. Отчего бы «Сысой» не повторить 32-тонный? Он в истории. Ему цены нет, как Моне Лизе... Нас жизнь заставляет работать красиво. Где-то допустим технический сбой — не будет звучания. Мы изначально не продаем плохие колокола. Ломаем. Можно ведь плохой колокол продать подешевле? Но мы этим не занимаемся... До Петра здесь, где Каменск стоит, ничего не было. Манси раз в пять лет на олене с песней проедет — и тишь! А то, что Петр колокола на пушки переливал — он тоже считал, что цель оправдывает средства. И всю жизнь Каменск был городом-заводом, каких сейчас сотни на Руси. Люди здесь рождались для чего? Чтобы научиться читать-писать, деньги считать, потом вкалывать на заводе, потом выйти на пенсию и помереть. А чтобы веселей работалось — пили, водки всегда навалом...

— Мы видим, как специалисты и священнослужители относятся к старым колоколам, — замечает Пятков. — Для них это далеко не кусок железа. Нам хочется, чтобы и к нашим колоколам через сто, двести лет — они ж вечные — относились, как сегодня к оловянишниковским, не говоря уж о моторинских... У нас работают Модест Васильевич Ощук и два его сына, Андрей и Валерий. На больших колоколах мы ставим не только: «Отлито на Каменск-Уральском металлургическом заводе товариществом «Пятков и К°» в 1993 году», но и фамилию: «Мастер Ощук М. В.». Когда Модест Васильевич приболел и лил Валерка, он ставил свои инициалы: «Мастер Ощук В. М.».

— А те первые колокола, что для батюшки Иоанна сделали, мы переплавили — уже по нынешней

форме — и обратно повесили. Чтобы не было мучительно больно перед потомками...

Вечерний звон

Учитель Владимир Шевалев завез нас в Успенскую церковь.

Рядом с церковью стоял отец Иоанн в фетровой шляпе, заложив руки в карманы болоньевой куртки.

Двое плотников доканчивали отделку главки, которая еще стояла на земле. Она должна была занять место одной из тех, что спешно, за пару часов, скинули наземь после войны.

Главка была очень красива. Это была настоящая, любовная работа. На нее хотелось смотреть.

— Вот ирония судьбы, — сказал Шевалев, — был склад одежды — теперь Храм Божий.

— Да нет, — улыбнулся батюшка, — был Храм Божий, потом склад одежды, а нынче снова Храм Божий.

Подошел звонарь:

— А колокола-то вы наши слышали? Пятковские, местной работы!

— Слышали-слышали, мы даже с самим Пятковым виделись.

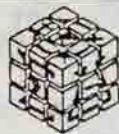
— Так то вы слышали на земле, а на Храме — дело другое.

И звонарь широкой походкой пошел к колокольне.

Хотя она и была высокой, первый басовый удар раздался очень скоро.

А потом пошел, поплыл над Уралом, над нами перезвон...

P.S. Авторы благодарят главного редактора газеты «Каменский рабочий» Ирину Владимировну Сажаву и сотрудников газеты «Компас» за помощь в подготовке материала.



- ♦ Юных ученых и естествоиспытателей
- ♦ Создателей технических устройств и программных продуктов
- ♦ Разработчиков научных и коммерческих проектов

Всех, кто не старше 20
и в ком горит огонь творчества

ПРИГЛАШАЕМ

принять участие

в Российском конкурсе работ молодежи и школьников

"ШАГ В БУДУЩЕЕ - 2"

научные работы и разработки, проекты и рефераты
в области техносферы фундаментальных наук, экономики и бизнеса

Для лауреатов и участников конкурса
по решению Экспертного совета

- Прием в ВУЗы-учредители без экзаменов
- Именные стипендии и премии
- Участие в Российской научно-технической конференции молодежи и школьников
- Первая научная публикация в сборнике лучших работ молодежи и школьников России
- Рекомендация для вступления в Российское Молодежное Политехническое Общество

и кроме того

- Консультации ведущих отечественных специалистов
- Сотрудничество с кафедрами и научными коллективами
- Реализация идей и внедрение разработок
- Новые друзья, новые знания, новые горизонты

**Конкурс "Шаг в будущее" - это не лотерея,
здесь каждый может сделать свое будущее!**

Срок приема материалов на конкурс до 15 марта 1994 года.

Оформление материалов производится согласно проспекту конкурса. Оргкомитет
высылает проспекты по заявкам участников.

☎ **Телефон Оргкомитета** : (095) 263-62-82

☎ **Факс Оргкомитета** : (095) 267-98-93

✉ **Почтовый адрес Оргкомитета** :

107005, Москва, 2-я Бауманская ул., дом 5.

МИТУ им. Н.Э.Баумана

Российская Научно-социальная программа "Шаг в будущее"

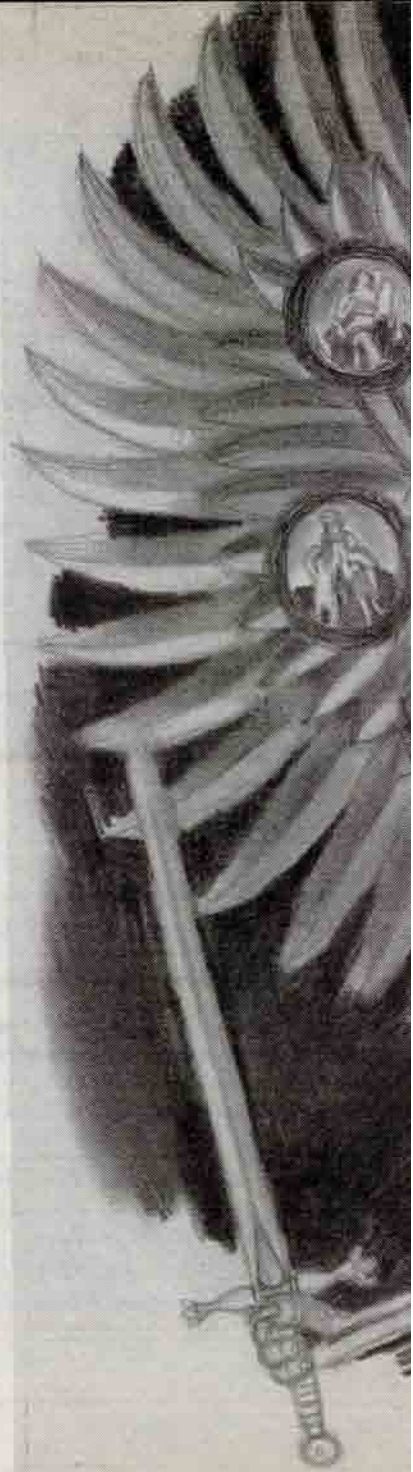
Издаека

88

БЫЦА

В. ФИЛАТОВ

Рисунок
ГЕННАДИЯ НОВОЖИЛОВА





ВНЕШНЯЯ ПРАВА СЛАВЯНСКАЯ

Часто, слишком, быть может, часто дела давно минувших дней оказываются уроком нынешним. Так бывало в нашей истории, особенно в смутные ее поры.

Нельзя сказать, что исключительно с этой целью публикуем мы сегодня забытый, затерянный в дореволюционной периодике очерк о временах правительницы Софьи, многим из нынешнего поколения знакомой по скороговорной странице учебника, а больше, пожалуй, по знаменитой репинской картине — могучее и страшное Петрово царствование заслонило и саму Софью, и семь лет ее правления на пороге его. Так же нельзя сказать, что, предлагая читателям этот материал, мы заботимся только об исторической их эрудиции. Но если при чтении у кого-то возникнут политические аллюзии — не наша в том вина. Во все времена так бывало: страна, измученная тяготами бытия, а оттого — малыми и большими раздорами, уподоблялась пороховому погребу. Чем это кончалось — слишком хорошо известно. Известно и то, что никому еще не удавалось вразумить доведенных до края людей в том, что если, не дай Бог, коснется пороха пламя, искра одна, пойдут люди кровь проливать, калечить и убивать друг друга — не за себя, не за народ и страну, а за враждующих между собою правителей... Дай же, Господь, когда-нибудь вразумиться!

На рубеже двух эпох — между Петром и его «типичнейшим» отцом Алексеем Михайловичем — лежит смутная, бурная эпоха, полная заговоров, убийств и крови. В эти необыкновенные годы резко выделяется небывалая на Руси фигура царевны-правительницы. Не только русская жизнь, но и преданья, ни сказки не знают такого чуда, чтобы царь-девица правила государством.

Историк И. Е. Забелин видел в Софье-правительнице отблеск Византии, искал ее идеалов в сказании о царевне Пульхерии, которая правила за своего брата Феодосия. Но если даже Софье было знакомо это сказание, то она пользовалась из него лишь формой, по своим же поступкам она была гораздо ближе к Екатерине II, чем к Пульхерии. Она не была преемницей своей знаменитой тезки Софии Палеолог, перенесшей в Москву византийские обычаи, но скорее предвестницей генократии, которая царила на Руси в XVIII веке. Так же, как и Екатерина II, и другие правительницы XVIII столетия, она при помощи войск захватывает трон, умеет выбирать умных правителей и красивых фаворитов; в ней нет византийского аскетизма Пульхерии, и если она теряет трон, то ведь Петр был слишком сильный соперник; однако и с ним она боролась долго и упорно. Вся эта борьба корнями лежала в той грубой перестройке, которая шла на Руси, но ее ближайшие причины были в отношениях между членами царской семьи.

30 января 1676 года умер царь Алексей Михайлович, оставив

после себя две враждующие семьи: от первого брака из рода Милославских — царевичи Федор и Иван и царевны Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина и Мария, и вторая — нарышкинского рода — вдова-царица Наталья Кирилловна, Петр, Наталия и Феодора.

Обе семьи жестоко враждовали и группировали вокруг себя придворные партии. Престол достался больному и слабовольному Федору. За свое короткое царствование он был дважды женат, но обе женщины не успели да и не умели заняться политикой; зато возле больного брата была неустанная сиделка — царевна Софья: она давала лекарства, помогала принимать доклады, разбираться в трудных политических вопросах. Софья медленно, но верно подготавливала свое выступление на политическое поприще.

Не ей было жить в терему по домострою. «Это была женщина, — говорит ее врач Матвеев, — великого ума и самых нежных проникательств, больше мужеска ума исполнена дева». Француз Невиль называет ее московским Макиавелли, обвиняет ее в ряде преступлений, но не может без восторга говорить о ее способностях: «Эта принцесса, пылкая и увлекающаяся, соединяла с честолюбием, жаждой власти и храбростью ум обширный и предпринимчивый».

Скоро представился случай покинуть терем.

27 апреля 1682 года умер Федор. Его законным преемником является следующий брат Иван, но сторонники Петра (царевича от второго брака) не дремали. Иван был полуслепой, слабоумный, совершенно неспособный управлять; никто не сомневался, что при больном царе вся власть досталась бы его родственникам, Милославским. Боясь этой кабалы, старая знать, фавориты Федора, его вторая жена, — все объединились вокруг Петра и решили поддержать Нарышкиных. Они так откровенно готовились к борьбе, что когда оповестили, что Федор стал отходить, то четверо князей Долгоруких, князя Борис и Иван Голицыны и другие сторонники Петра явились во дворец на избрание царя в кольчугах под одеждой. Но партия Милославских, уверенная в бесспорных правах Ивана, не приготовилась, и, по предложению патриарха, почти без споров, был избран одиннадцатилетний Петр. Народ, собравшийся у Красного крыльца, криками одобрил выбор, и дело на первый взгляд кончилось гладко — до ножей, как и полагали почтенные бояре, не дошло.

Но сторонники царевича Ивана, точнее, Софья и ее приверженцы, просто растерялись от неожиданности и начали готовить удар.

На похоронах царя Федора народ увидел небывалое по тем временам, заторное зрелище: царевна Софья шла за гробом брата, плакала и громко причитала. Это было полное нарушение старых заветов — неприлично было девушке, да еще царского роду, появляться перед народом. Но Софья знала, чего хотела, она не ограничилась тем, что проводила тело брата, но, возвращаясь с похорон, перед всем народом громко плакала и жаловалась:

— Извели покойного брата злые люди, остались мы теперь

круглыми сиротами, нет у нас теперь ни батюшки, ни матушки и никакого заступника!.. Брата нашего Ивана на царство не выбрали. Умилосердитесь над нами, сиротами! Если в чем провинились мы перед вами, отпустите нас живых в чужие земли к королям христианским!..

С удивлением внимал народ неслыханным речам. Старые опытные люди уговаривали царевну не ходить на эти похороны, оно-де негоже, но эти ссылки на отцовские и дедовские обычаи не были для Софьи убедительны; она шла напролом. В своей личной жизни Софья уже разбила теремные оковы — Василий Васильевич Голицын уже открыто состоял ее фаворитом, и, восторжествовав Нарышкин, ей прежде всего пришлось бы расстаться со своею любовью и отправиться в монастырь.

Сторонники Петра не оценили энергии Софьи и слишком рано сняли кольчуги. Они занялись захватом мест и званий, а в это время в Москве нарастал бунт: сначала один стрелецкий полк отказался от присяги, затем все стрельцы стали жаловаться на своих полковников, и те не только были наказаны, но и выданы головой солдатам. Это показало, что новые правители боятся войска, и стрельцы от искоренения неправды в своем приказе быстро перешли к искоренению неправды во дворце.

По слободам побежали темные слухи, что Иван садился на трон и облачался в царское платье. Вдруг 15 мая пришла страшная весть, что царевич Иван задушен Нарышкиными.

— Да и что мудреного, — говорили стрельцы, — Федора извел иностранный лекарь, Ивана прикончили, теперь по своей воле будут править.

— К оружию! — раздалось в слободах.

— Идем выводить изменников, неправдотворцев и губителей царского роду! — кричали стрельцы.

В церквах раздался набат, обычный вестник московских бунтов, и толпы с оружием, с пушками, «яко на некоего неприятеля иностранного», двинулись к Кремлю.

Стрельцы окружили дворец и кричали, что пришли мстить за погубленного царевича Ивана, но в ответ на эти крики царица Наталья Кирилловна вышла на крыльцо, ведя двух царевичей, Петра и Ивана. Последний обратился к толпе, вопрошавшей его: «Он ли царевич Иван Алексеевич?»

— Меня никто не изводит, и жаловаться мне не на кого.

Толпа затихла. Умный боярин Матвеев сошел к стрельцам и стал их убеждать не бунтовать; стрельцы просили походатайствовать за них перед царицей, и Матвеев поднялся снова на крыльцо. Но заговорщики в это время не дремали: раздались голоса, что «недругов государственных» (это все были друзья и родственники государей, но враги Софьи) все-таки надо извести. Кто-то пустил толпу наиболее дерзких стрельцов другим ходом. Мимо патриарха ворвались они на Красное крыльцо. На глазах государей и царицы Натальи Кирилловны они схватили ее приемного отца Матвеева и сбросили вниз, где толпа подхватила его на копья. Тут же убили князя Долгорукого, пытавшегося угрозами остановить волнения.

Царская семья скрылась в своих покоях, бояре побежали прятаться кто где мог. Возбужденная кровью, толпа хлынула во дворец и по улицам. В потайных светелках дворца, в собственных домах, в Немецкой слободе, — везде разыскивали лиц, отмеченных в списке, заранее приготовленном.

15 мая всегда чтилось в Москве как кровавый день — в это число был зарезан царевич Дмитрий, — но такого дня в смуту не видали: вся Красная площадь была забросана кусками мяса — это стрельцы рубили «изменников»; куски человеческих тел втапывали ногами в кровавую грязь, внутренности разбрасывали по площади. Тела таскали по улицам с криками:

— Гей, сторонись! Думный едет, дорогу боярину Ромодановскому!

— Смерть изменникам! Долгой жизни царям нашим и царевнам!

Последний возглас имел глубокий смысл, ибо руководил ими высокий терем, дотоле безгласный на Руси. Теперь в нем пробудились жизнь и мысль, и сразу направились на политическую борьбу.

Со всеми расправились, многих перебили, между ними отца царицы Натальи Кирилловны; Нарышкина постригли в Белозерский монастырь, трех младших братьев — шести, одиннадцати и четырнадцати лет — отправили в ссылку, почти всех их родных истребили, только не могли найти наиболее политически опасного из них, Ивана Кирилловича, — никто не знал, куда его схоронила царица. На третий день бунта царица Софья приступила к ней:

— Выдай брата добром, не погибать же нам всем через него!

Когда он выходил, Софья, приготовившая этот путь, знала исход, но успокаивала:

— Возьми икону Божьей Матери, они и отпустят.

Но путь был уготовлен: Ивана Кирилловича жестоко пытали кнутом и огнем, наконец изрубили на площади.

Покончив с кровавой расправой, стрельцы пошли ко дворцу за благодарностью и, зная, где ожидать им награды, пришли не к Красному крыльцу, а к Постельному, что у терема, «и выходили к ним говорить государыни, чтобы они, помня крестное целование, так к ним в дом их государев не приходили с невежеством».

И так беседовали они не раз, и в эти кровавые дни царевны уговаривали их не поступать с «невежеством», а когда расправа была окончена, 19 мая, выдали стрельцам по десять рублей на человека, все пожитки побитых бояр да раньше недоданного жалованья 240 тысяч.

Политические результаты этой борьбы проявились немедленно: 19 мая стрельцы провозгласили царевича Ивана царем наравне с Петром. Но суть была не в этом: за братьев, из которых один был слабоумный, а другой — ребенок, должен был кто-нибудь править. Закон и обычай были на стороне царицы Натальи Кирилловны, но недаром же терем командовал всей военной силой: 27 мая короновали обоих государей на царство, а 29-го Софья была провозглашена правительницей.

«И Великая Государыня,— гласит грамота,— благоверная царевна и великая княгиня София Алексеевна, по многом отрицании к прошению Братии своей, Великих Государей, склоняясь на челобитие Бояр и Окольныхчих, и Думных, и всего Московского Государства всяких чинов людей, правление восприяти изволила».

Во все города посланы были грамоты о том, что Софья восприята царство, а чтобы оправдать столь пречудесное событие грамоты, ссылались на пример византийской царицы Пульхерии.

Трудно было оправдать этот первый шаг, который открывал особую полосу в русской жизни, когда правление было в руках женщин, но Софья тотчас же проявила свой ум московского Макиавелли. Ее пособники — стрельцы, князь Хованский, чернецы-раскольники думали, что раз они посадили царевну на царство, что если она оперлась на людей старой веры, то она поддержит и их идеалы. Но Софья не интересовалась ничем, кроме власти, и прежде всего принялась за расправу с беспокойными друзьями.

С самыми верующими и честными расправа была произведена быстрее всего.

Расколоучители и посадские, крепкие в старой вере, видя, что их друг князь Хованский у власти, а стрельцы — большая сила, повели пропаганду; они хотели добиться если не восстановления старой веры, то хоть ее свободного исповедания.

«Правда, святейшие владыки,— говорили они,— что вы (никониане) на себе Христов образ носите? Но Христос сказал: «Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем», а не срубам, не огнем и мечом грозил; велено повиноваться наставникам, но не велено слушать и ангела, если не то возвещает. Что за ересь и хула двумя перстами креститься; за что тут жечь и пытать?»

При помощи новой правительницы думали раскольники разрешить этот тяжелый вопрос и стали добиваться общего с православным духовенством собора, но после затяжек со стороны церкви добились лишь диспута, назначенного на 5 июня 1682 года.

Дни перед диспутом проходили бурно; спорили о вере на площадях, в церквях, у городских ворот. Ко дням этим в пору слова Симеона Полоцкого:

«Ныне разглагольствуют о богословии мужие, разглагольствуют и отроки, беседуют в лесах дивни человецы, препираются на торжищах скотопродатели, да не скажу в корчемницах пьяные. Напоследок и буия женщины словопрение деют безумное, мужем своим и церкви пререкающе».

Народное сочувствие оказалось на стороне раскольников, и духовенство не решилось на диспут на площади, а расколоучители не шли в палаты, опасаясь внезапного ареста.

Софья разрешила колебания: она объявила, что сама будет на диспуте, который должен состояться, хотя и в Грановитой палате, но при народе — сколько вместится.

Даже сторонники уговаривали ее не принимать участия

в этом споре о вере, но она не только настояла на своем, но и руководила прениями и принимала в них участие. К удивлению ее наивных сторонников, она крепко держалась за новую веру, в трудный момент прикрикнула на Никиту Пустосвята, вождя раскола, и, когда в челобитной раскольники назвали Никона еретиком, соблаздившим царя Алексея Михайловича, то Софья воскликнула:

— Если патриарх Никон еретик, то и отец наш, и брат такие же еретики; выходит, что нынешние цари не цари, патриархи не патриархи и архиереи не архиереи?! Мы такой хулы не хотим слышать, что отец наш и брат еретики! Мы выйдем все из царства вон!

— Пора, государыня, — раздалось из толпы раскольников, — давно вам в монастырь, полно царством-то мутить, нам бы здоровы были государи, а без вас пусто не будет!

Дорого заплатили раскольники за эти слова: никто ни до ни после не преследовал их так жестоко, как в правление царевны Софьи.

В прениях, конечно, никто никого не убедил, но народ был на стороне раскольников, и те с торжеством вышли из Кремля. Высоко подняв руки, они показывали двуперстный крест и кричали: «Тако веруйте, тако креститесь! Всех архиереев перепрехом и посрамихом!»

Но Софью мало интересовала догматическая победа, она призвала к себе выборных от стрельцов, угостила их и спросила:

— Неужто вы поменяете нас и все Российское Государство на шестерых чернецов?

— Нет нам дела до веры, сложим за вас головы! — отвечали стрельцы.

Почти все чернецы отправились в ссылку, а Никите Пустосвяту отрубили голову на Красной площади.

Покончив со сторонниками старой веры и старых порядков, которые не могли помириться с захватом власти девицею, — ведь восстание началось во имя царевича Ивана, — Софья стала подготавливать удар самому влиятельному союзнику — вождю стрельцов, князю Хованскому. Ей было необходимо расправиться с майскими союзниками — они сразу зазнались и хотели слишком многого.

Все лето прошло в усиленной законодательной работе. Царевна старалась сблизиться с нейтральными лицами, привлекала к себе тех, кто не был замешан в майском бунте. Князь же Хованский не ладил ни с кем, угождал стрельцам и грозил новым кровопролитием. Софья и воспользовалась этой неосторожностью.

В начале августа в Москве вдруг пошел слух, что во время крестного хода 19 августа стрельцы собираются напасть на царскую семью, всех перебить, а на царство посадить князя Хованского. Современники так привыкли к чудесным превращениям, что, как видно из записок, верили этому слуху.

В день своих именин Софья пригласила в село Воздвиженское всю московскую знать и после угощения неожиданно позвала всех на думское сидение по важному делу. Думный дьяк Федор

Шакловитый, восходящий фаворит, прочитал боярам обвинительный приговор князю Хованскому и его сыну Андрею. Их обвинили в целом ряде преступлений: в неповиновении государям, в обманах, растратах казенных денег, в вымогательствах, в умысле на жизнь государей. Последнее обвинение было основано на подметном письме, в котором говорилось:

«Называл вас, государей, еретическими детьми и хотел корень царский извести: убить вас обоих, и царицу Наталью Кирилловну и царевну Софью Алексеевну, и патриарха и властей, а на одной бы царевне князю Андрею жениться, а остальных бы царевен постричь и разослать в дальние монастыри».

В происхождении этого подметного письма можно не сомневаться, но обвинения желала Софья, да и бояре не собирались защищать Хованских. Дело решили быстро, без формальностей, даже не допросив обвиняемых, и приговорили: «По подлинному розыску и по явным свидетельствам и делам и тому подметному письму согласно, казнить смертию».

Так как Хованские ехали поздравить царевну с именинами, то им навстречу отправили князя Лыкова с отрядом вооруженных придворных. Отца и сына схватили и привезли в Воздвиженское. У ворот дворца в присутствии бояр им прочли обвинения, и, когда они начали оправдываться, Софья прислала из хором сказать, чтобы исполняли приговор немедленно. Но не было палача, и с Хованскими, потомками князя Гедимины, расправил-ся стреманный.

Головы тех, кто возвел Софью на престол, были ее именинным подарком. Она шла к власти, не останавливаясь ни перед чем.

Но даже в эти кровавые месяцы ожесточенной борьбы Софья не забывала личной жизни.

Рано и смело вырвалась она из теремной, полумонастырской жизни. С умом тонкого, беспощадного политика сочеталась в ней страстная женщина, всегда искавшая наслаждений. Эта свободная жизнь царевны, и за нею — ее сестер, не была секретом, в Москве прямо говорили: «Царевна Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая царевна сестра ее... и бояре ходили к ним, и робят те царевны носили и душили, и иных на дому кормили...»

Сначала, еще при брате Федоре, Софья жила с князем Василием Васильевичем Голицыным, любила она его крепко, посвящала ему стихи, которые выучил ее писать Симеон Полоцкий. В письмах она его называет «свет мой, братец, Васенька» и сохранила с ним близкие отношения до конца, даже когда он перестал быть ее любовником. «Васенька» остался другом, советником и полномочным министром, в светелке же был сменен Федором Шакловитым, который сочинил обвинительный акт против князей Хованских, а может быть, и подметное письмо, послужившее к обвинению в самом тяжелом преступлении. Неудивительно, что он постарался убрать Хованских — князь Андрей был его соперником.

Предание говорит, что старый Хованский хотел женить сына на Софье, и завел с ней об этом разговор. Дело было в начале лета 1682 года. Софья велела прислать молодого князя к ней

в терем, чтобы посмотреть его. Когда к царевне явился совсем еще мальчик, небольшого роста, невзрачный, она со смехом прогнала его. «Поди прочь, гаденок!» — крикнула ему вслед царь-девица.

Подчинив себе менее чем за полгода сначала врагов, а затем друзей, Софья стала самовластной и фактически безраздельной правительницей всей Руси.

Она титуловалась «самодержавной» и, к возмущению царицы Натальи Кирилловны, писалась в титуле наравне с государями. «Для чего учла она писаться с великими государями обще; у нас люди есть и того дела не покинут», — жаловалась царица.

Софья не только участвовала в торжественных выходах наравне с братьями, но и одна совершала церемониальные выходы; в собор она входила не как остальные царевны, через южные врата, а как государи — через главные, западные и, если в церемониях ее обходили чем-нибудь, сильно гневалась.

Софья была государыней не только по титулу, она прекрасно понимала тогдашнее положение России и серьезно готовила те же реформы, которые провел ее брат. Она выписывает заморских искусников, чтобы обучать русских делать бархат, атлас, сукно; заботится о развитии промышленности и торговли; производит размежевание земель; заключает вечный мир между Россией и поляками, по которому левобережная Украина и город Киев остались за Москвою. Но больше всего сделала Софья в области духовной культуры; здесь ей принадлежит особое, очень оригинальное место.

Ее умственное развитие прошло под влиянием южно-русской образованности Симеона Полоцкого и его ученика Сильвестра Медведева. «Венец Веры» — катехизис Симеона Полоцкого, заподозренный впоследствии в неправославии, был посвящен царевне. «Мудрейшая ты в девицах!» — говорит о ней Полоцкий.

Сама Софья владела польским языком и много читала; все это создало у нее и у близких ей людей тяготение к Европе, но не к северной, как у Петра, а южной, католической. Обвинять ее и тогдашних передовых людей в желании подчинить русскую церковь Риму нет никаких оснований; они искали просвещения, и не только узкоутилитарного, как Петр, но и отвлеченного, философского, по тому времени сильно пропитанного богословием. Софья же создала первое в России высшее учебное заведение, знаменитую впоследствии славяно-греко-латинскую академию. У Софьи был сильно развит вкус к науке и книжной мудрости. В 1688 году в Чернигове была издана книжка «Дары Духа Святого» с приложением портретов царевен и В. В. Голицына; Софья восхвалялась там до небес и именно она-то и оказывается наделенной всеми дарами Духа Святого. Софья, кстати, заказала в Европе целый ряд гравюр со своим портретом в царском облачении, чтобы разослать их иностранным дворам.

Надо сказать, что ее законодательства принесли и действительные облегчения. Например, была отменена смертная казнь за целый ряд преступлений. В этом пункте, как вообще в области духовной культуры, Софья и ее окружение стояли гораздо выше Петра. Любимая царевна и искусство. Для нее были построены

роскошные каменные палаты, расписанные стенной живописью; в нижнем этаже была устроена особая палата, «где сидят с бояры слушать всяких дел».

Итак, внутри государства царевна Софья достигла полной власти, даже монеты чеканились с ее изображением; но одной внутренней политикой в те бурные времена, когда Россия боролась по всем своим границам, обойтись было невозможно. Все же внешние дела были в руках князя В. В. Голицына, который с осени 1683 года носил громкий титул «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберэгатель».

Голицыну удалось заключить довольно удачный мир со Швецией, но «вечный мир» с Польшей, заключенный в 1686 году, был так неудачен, что современники говорили, будто Голицын был подкуплен за 100 тысяч рублей. Его последний акт, договор с Китаем, по которому Китаю уступались оба берега Амура, был прямо позорным, Россия теряла старые приобретения.

Но самый сильный удар правительству Софьи нанесли крымские походы Голицына. Эти военные неудачи, несмотря на щедрые награды, были для всех очевидны, и правительству, не могшее поддерживать внешний престиж страны, потеряло кредит.

98 Попытки Федора Леонтьевича Шакловитого добиться венчания на царство Софьи не нашли сочувствия даже у стрельцов. В трудный момент, когда Голицын возвращался из второго неудачного крымского похода, противная партия подняла голову. Но теперь это уже были сторонники не Нарышкиных, а законного царя, и во главе стояла не женщина, а молодой, способный царь Петр, за спиной которого были полки нового солдатского строя. Новый мятеж, затеянный Софьей и ее «галантом» Шакловитым, не удался. Федор Леонтьевич сложил голову на плахе, Голицын пошел в ссылку в Пинегу, где и умер в 1714 году. Казнили еще многих — Петр крови не жалел.

Сама царь-девица попала в монастырь, откуда продолжала вести интриги против счастливого брата. Но все эти попытки оказались безнадежны — скипетр был в крепкой руке.

Последняя попытка бороться была сделана Софьей в 1698 году. На этот раз стрельцы были усмирены быстро и жестоко, казнили без счета и без разбора: только против кельи Новодевичьего монастыря было повешено около двухсот стрельцов.

Это последнее восстание велось именем Софьи и, конечно, под ее влиянием, и Петр жестоко отомстил сестре: 21 октября 1698 года ее постригли под именем Сусанны и заключили под строгий караул. Видеться с сестрами разрешалось ей дважды в год.

3 июля 1704 года умерла в тесной келье царь-девица, первая женщина на русском троне.

**Предисловие и публикация
АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.**

"ХЕРБАЛАЙФ"

*Муки голодания... Упражнения со штангой...
Ради избавления от нескольких лишних кг?
Не надо!*

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ питания на основе целебных трав не только снижает холестерин, выводит шлаки, повышает жизненный тонус, стабилизирует обмен веществ и артериальное давление, но и поможет похудеть на 15 кг за месяц.

Удивительная новинка: набор кремов «Коллекция Марка Хьюза» из пяти компонентов предназначен для вашего лица. Отдельные препараты американской фирмы «Гербалайф» («Флорафайбер», «Гербалайфлайн», «Киндерминс» и многие другие) нормализуют функции желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и т. д.

Предлагаем дистрибьюторские наборы.

Оплата в СКВ.

*Справки по телефону: (095) 238-70-41,
231-15-09.*

"ХЕРБАЛАЙФ"

КЛУН

ЭМИЛЬ ДРЕЙЦЕР





Была поздняя осень. Парк вокруг стадиона стоял пустой и одичалый. Вот уже в который раз они обходили его, увязая по циклотку в палых листьях, и говорили. Впрочем, говорила она, он только время от времени кивал головой в знак согласия.

— Филя, надо нам пожениться,— сказала она.— Надо. Сам прекрасно знаешь. Ну, сколько еще я буду тащиться через весь город к тебе! Снимем где-нибудь в центре... Кругом магазины, в кино можно ездить не на трамвае, а пешком пойти. И вообще ты должен понимать, каково мне каждый раз пробираться в мужское общежитие...

Встретились они за год до этого на какой-то вечеринке. Потом она приезжала к нему, на окраину города, прямо с фабрики, со смены. Она приезжала, и без особых разговоров они прижимались друг к другу, и только теплота ее тела помогала ему избавиться от полного одеревенения чувств, освободиться на время свидания от тоски, сдавливающей голову. Она работала сменным мастером в ситценабивном цеху. В волосы, хотя она тщательно обвязывала их косынкой, набивались тончайшие нити, и она страдала оттого, что негде здесь, в общежитии, как следует вымыться. Когда он утыкался лицом в ее плечо, до него доходил легкий запах машинного масла, и ему казалось, что ее тело все еще вибрирует в унисон станкам; однажды он заезжал за ней в цех, видел, как с сумасшедшей скоростью летал челнок, похожий на бесноватого лысого черта, и, когда он подошел сзади, взял ее за руку, рука дрожала в такт машине. В ней было так много молодой энергии! И от этого — ни от чего другого, он чувствовал — в минуты страсти из нее вырывались слова, от которых его бросало в жар и мутило разум.

— Фи-ля,— шептала она, обжигая его ухо своим дыханием.— Е-ще! Надо же! Надо! О...об-язательно! Спасибо! Как раз... Как раз ты... Как раз ты Филя для меня... Как раз... Надо же, как раз!..

Он еще крепче сжимал ее в объятиях и думал, что не выдержит наслаждения, закричит.

...Душно, душно в текстильном цеху, на ее лице пот, и его глаза щиплет, обезумевший челнок летит из одного конца огромного ткацкого стана в другой, стремительно и точно, оттуда и туда, сцепляет невозможно разведенные нити, вмиг завязывает узлы, которые ни в жизнь развязать, — нити схлестнуты, сплетены, обжаты до легкого сплюснения друг другом, — а челнок, что щенок, знай себе мечется, горячий и счастливый, легко и радостно помешанный от близости хозяина, от важности порученного дела. Прыгает в зубах связочка ключей, от хозяина хозяйке надо донести, доскакать — не добрести. Бежит прямо и по кругу, бежит легко, не только в деле спор, но еще успевает между делом шутку выкинуть, какое-нибудь сальто-мортале, и не по строгой фигуре дрессировщика, а с дурашливым, рассчитанным на хозяйское удовольствие и смех выкидом, с клоунским азартом. Пospеть надо между тем повсюду; в этой невероятной

задаче, кажется, непосильной, невыполнимой для маленького щенка, его главная гордость и радость. Вот не поспеет, и повиснет нить, запутается, оборвется, пропадет. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Сцепляются, переплетаются нити, влево уходят и вправо, забирает их куда-то вбок, поджимаются, обвиваются, перемежаются, меняют место и время, способ передвижения, наливаются светом луны, невозможно нахальной луны, пробирающим дешевые казенные занавески общежития трудовой молодежи (очень, очень трудовой молодежи!), и невозможно нитям расцепиться, поскольку нет на то пустого, незаполненного движением времени, нет пространства для вдоха. Летит челнок, летит сломя голову, успевая в последний миг прибыть в назначенный пункт, в желаемый пункт, пункт высочайшего, сладчайшего назначения, прибыть вовремя, ни раньше ни позже, как раз тогда, когда он желаем и привечаем, прибыть, волоча за собой новую нить, живую и сучающуюся, извивающуюся от захватившей и ее страсти движения. Бежит челнок, неутомимый и юркий, ополоумевший от азарта схватки, от страсти обжати, объятий, сплетений, радостный и испуганный невероятностью задачи, игрой, которая в то же время работа, счастьем, которое в то же время мука.

Жаркая рука сдавливала его затылок.

Он едва сдерживался, чтобы не закричать. Его затыгивала какая-то сила; сквозь остроту наслаждения он чувствовал, что шепот Тамарин не только радует его, но почему-то и пугает...

В эти мгновения высочайшей интимности она становилась вдруг невероятно близка ему. Так близка, что ему не хотелось ее отпускать, хотелось держать, что есть силы прижав к себе. Держать, чтобы избежать того, что повторялось из разу в раз. Стоило ей уйти, и он обнаруживал, к своему недоумению, что ощущение близости куда-то исчезало. Он с тревогой и виной чувствовал, что забывает ее, даже если ее не было всего несколько дней. Да что там дней — бывало, проходил лишь час, а как будто ее никогда не было. Что за причина, что за загадка! С ней было так хорошо, так споро и жарко, а вот нет ее — и стремительно, как влага на тротуарах от выглянувшего солнца, куда-то испаряется ее след. Ничего, говорил он себе, ко всему надо привыкнуть, к хорошему тоже. Вот еще повстречаемся, и завяжется узелочек, протянется ниточка, шпулька станет обрастать памятью проведенного вместе времени, и все будет хорошо. Не будет больше пустоты. Не будет рядом остывшей за ночь подушки... Но не вязался узелок, никак не вязался. Схлестнувшись, нити почему-то выпрастывались, повисали в воздухе — нестянутые, несхлестнутые...

Встречались они неровно — то она приезжала чуть ли не через день, то звонила, что у нее сверхурочные, и проходило несколько недель, пока она снова появлялась. Месяца через два после того, как начались их встречи, она рассказала, что у нее вот уже больше года сложный роман с начальником цеха. Его зовут Виктор, жена у него несносная женщина, совсем его не ценит,

влюблен же он в нее, Тамару, и только сложности отношений с женой, ее тупое нежелание отпустить его стоят на пути их счастья. Филиппа это известие застало врасплох, но, себе на удивление, он почувствовал даже некоторое облегчение, выслушал ее спокойно, только под конец, глухо, полувнятно спросил, чем Виктор так ей нравится. В ответ она блеснула в полутьме глазами и мечтательно сказала, легко пошлепывая Филиппа по плечу: «Он особенный».

Уточнять, чем именно, не стала. Все, что он понял из отдельных сдержанно-восторженных реплик, это то, что Виктор очень остроумный, ценит ее как молодую, подающую надежды ученую, они вместе собираются писать научную статью, она уже собрала в цеху достаточно исходного материала. И вообще они замечательно и с полуслова понимают друг друга.

Филипп не стал больше ни о чем расспрашивать. Проходил месяц за месяцем, она по-прежнему наезжала время от времени, но говорила о Викторе все меньше, и однажды, когда Филипп спросил невзначай, как продвигается ее роман, сказала, что решила порвать с Виктором, поскольку он ее разочаровал — оказался нерешительным человеком. А нерешительный мужчина — не мужчина вовсе. Такого мужчину трудно уважать...

Филипп между тем жил как-то рывками: то увлеченно, то пусто. Он впервые был один, вдалеке от родных и знакомых, совсем в другом городе. Жил замкнуто, спрашивая себя, кто он такой и зачем собственно живет. От долгого одинокого пребывания в комнате общежития у него начинали болеть виски. Он разуверился в мудрости Хайяма и давно обнаружил, что предпочитает чье-либо (не важно чье) присутствие рядом полной пустоте. Иногда его, молодого специалиста, просили приютить на ночь командированного инженера с другого участка. Хотя особых разговоров обычно не получалось — командированные приходили к ночи, обычно изрядно выпив после рабочего дня, и заваливались спать, — лому в висках тем не менее отпусало. Филипп часто сожалел, что не может завести собаку, комендант общежития о такой вольности даже и слышать не хотел.

По-настоящему одиночество отступало только тогда, когда он прижимался к Тамириному небольшому телу. Он утыкал голову ей в живот, она разом охватывала ее и узкие его плечи, совсем как бабушка в детстве. В несколько минут проходило одеревенение, отпускала рука, сжимавшая его затылок, и это уже было счастье, что говорить.

Потом наступал черед ласк. Дерзких — он сам порой удивлялся собственной смелости и уверенности в том, как надо ее ласкать.

Иногда она удивляла его тем, что вставала среди ночи, включала маленькую настольную лампочку и шла к зеркальцу в противоположном углу комнаты, перед которым Филипп брился, гляделась в него и охала по поводу того, что выглядит плохо. «Как ведьма на шабаше», — говорила она смеясь и принималась причесывать волосы, пудрить нос, сетуя при этом, что вянет, вянет ее красота, скоро мальчики совсем перестанут любить.

— Ты удивляешься, почему я так много времени провожу у зеркала, — говорила она, гася свет, уже в темноте возвращаясь к нему. — А потому что это очень важно. Потому что это единственное, на что стоит тратить время. Ты думаешь, это все глупости. А это не глупости. Это, может быть, единственное, чем поддерживается жизнь на земле. Я думаю, что зеркала во всем мире каким-то образом посылают женские изображения куда-то далеко, в другие галактики, которые держат в руках нашу судьбу и решают, быть нам или не быть. Они легко могут нас уничтожить за ненадобностью, и только красота их останавливает. Пока еще есть на земле красивые женщины, мир спасен. Так вот, Филя-простофиля.

«Может быть, и есть какая-то правда в ее словах, — думал Филипп, засыпая. — Жизнь бессмысленна. Может быть, красота осмысленна? Может быть, не случайно говорится, что женщины у зеркала священнодействуют?»

...Так оно шло вплоть до осени. Когда затянули дожди, Тамарины ботики стали застревать в грязи перед входом в общежитие. Лужи мало смущали рабочих людей, поскольку многие из них были монтажниками, круглый год ходили в резиновых сапогах. Тамара же очень огорчалась и наконец, вздохнув, сказала Филиппу, что больше так не может продолжаться, что надо в конце концов пожениться. Он кивнул головой, пожал плечами:

— Ну, конечно, ты права, надо. Так будет лучше, чего говорить.

Они подали заявление и получили талончики в магазин для молодоженов. У него не было приличных брюк. Она высмотрела для себя белые модные туфли на высоких каблуках.

— Филя, нравится? — сказала она, вертясь перед зеркалом.

— Годится.

— Не очень, значит.

— Что ты, Том. Я в женских туфлях просто ничего не смыслю.

Поколебавшись немного, она туфли купила.

За день до расписки он позвонил ей на фабрику. Ее долго звали, жутко стучали станки, и она прокричала в трубку:

— Что случилось, Филя? Мы же договорились на завтра.

— Ничего не случилось! — крикнул он в ответ. — Приезжай в город! Сегодня!

«В город» означало у них на городскую площадь, к почтамту.

Она приехала вовремя, даже немного раньше его, отпросилась с работы. Когда он пришел, она уже успела в окошке до востребования получить пакет. Посылка была от мамы, из Фрунзе, где она жила с Тамариным отчимом.

Ничего друг другу не говоря, они пошли вверх по улице, к Днепру. Когда поднялись, она быстро заглянула в лицо Филиппа.

— Филя, ты что? Ты что? Мы же договорились...

Филипп молчал.

— Ну, хорошо, — сказала она, сжав обеими руками пакет, и заставила себя улыбнуться. — Хорошо, давай отложим. Ты еще не готов, я понимаю... Я ведь тебя хорошо понимаю, Филя. Я тебя лучше всех понимаю, правда ведь?

— Всех? — удивился Филипп. Больше никого, кто мог бы или не мог его понять, просто не было.

Она еще раз взглянула на него.

— Филя, будь мужчиной. Ну, что ты себя и меня мучаешь? У тебя будет дом, семья. Вместе жить легче. Все будет, как у людей. Все, как положено.

Она помолчала, потом добавила спокойно, глядя уже не на Филиппа, а вдаль, на оголенные кроны деревьев, на Днепр, студено-сизый на быстрине, матово-серый у берегов:

— Все будет, как положено, Филя, можешь не сомневаться.

Она подошла к обрыву, посмотрела вниз, на колочий мокрый и голый кустарник, концом туфли столкнула вниз небольшой камень, подождала, пока он не скатится до самого низа к воде, и произнесла не очень громко, но он услышал:

— А от большой любви никто из нас не застрахован. Ни ты, ни я...

(Потом, годы спустя, он вспоминал эти слова и в минуты отчаяния, когда ему было очень худо и одиноко, досадовал на нее — ну зачем, зачем она это сказала! Не сказала бы, и, может быть, все было бы хорошо, и все бы как-то образовалось...)

Он понимал — она права, надо жениться и не думать больше об этом. Она права — конечно же, есть резон. Не надо будет больше мучиться от одиночества длинными, не заполненными ничем выходными днями, когда Тамары нет, не будет пусто и муторно по праздникам, когда ищешь, к какой пристроиться компании, и можно будет каждую ночь спать в одной постели с Тамарой и слышать живое дыхание рядом.

— Ну, что, Филя? — сказала она, обернувшись к нему с улыбкой старшей сестры, которая видит своего младшего братца насквозь, все его нехитрые мысленки. — Что ты трусишь? — Она рассмеялась. — Все будет хорошо, приходи завтра в загс. Придешь? Боже, я, кажется, уговариваю на себе жениться. Какой позор!

Филипп продолжал молчать. Она не выдержала и заплакала. Ее смуглое лицо еще больше потемнело, так что проступили темно-серыми пятнами веснушки на щеках. Он заметил ниточку в ее волосах, сбоку, у виска, которую она не успела вычесать, так как торопилась к нему. Она плакала, и на виске билась жилка, и ему из-за этой ниточки и этой жилки стало ее нестерпимо жалко. Он попытался заставить себя обнять ее, утешить, но, чувствуя себя виноватым, тем не менее не мог пошевелиться...

Они по привычке пошли в сторону кафе напротив почтамта — было обеденное время.

Он удивился, как горе идет своей тропой, а жизнь своей. Они шли к кафе, Тамара плакала, и его поразило, как нетерпеливо, несмотря на слезы, она разорвала на ходу пришедший по почте пакет. То был подарок от мамы к свадьбе. Она быстро осмотрела розовую шелковую сорочку в кружевах, сунула обратно в пакет.

Потом они ели в кафе, и, волоча по тарелке не до конца разрезанную сосиску, она, улыбнувшись, сказала: «Трамвайчик».

Встретились они еще раз, а может быть, дважды. Там же,

в парке, у пустынного стадиона. Она снова плакала и говорила: «Ну что, что ты от меня хочешь? Уходи, уходи, я себе найду кого-нибудь». Она говорила, проговаривала со смехом в горле:

— Приду на пляж, расстелю полотенчику, лягу, набегут мужчинки... Всегда набегали... Почему бы им опять не набежать? Я еще ничего, храню фигуру. Эх, ты, Филя, Филя! Просто Филя. Простофиля Филимон...

Она дразнила его без всякой надежды. Просто так.

Филипп молчал, был угрюм, пуст, несчастен и не знал, что ей сказать, чем утешить.

Встретились они через семь лет. К тому времени он уже успел жениться, прожить несколько лет в браке и развестись. Жил в узкой, длинной, с низким потолком, похожей на карандашный пенал, комнатенке в одном из переулков в центре Москвы. Он стоял у входа в метро и увидел ее. Она говорила о чем-то с двумя молодыми женщинами, почувствовала его взгляд и обернулась.

— Филя? Ха-ха-ха! Вот так встреча.

— Ты в Москве? — удивился Филипп, все еще не понимая, что это она.

— Нет. Я живу в Ташкенте. Здесь в командировке, — кивнула в сторону молодых женщин, с любопытством поглядывающих на них. — Из моего института. Живем в одной гостинице.

И тут Филипп сказал неожиданно для самого себя:

— Приходи вечером на спектакль. У меня роль небольшая, но пьеса тебе может понравиться.

Сказал и только тут заметил на ее руке кольцо.

— Филя, ты артист? Вот уж не ожидала!

— Да так, — пожал плечами Филипп. — Чтобы время убить...

Он пошел в любительскую театральную труппу, чтобы не бывать по вечерам одному.

Она опять рассмеялась и сказала, что он ее очень удивил и что, хотя времени жутко не хватает на все столичные дела, она, пожалуй, придет, посмотрит, что он там, на сцене, делает, очень уж любопытно.

Она посидела на спектакле, подождала в фойе, пока он, намазав лицо вазелином, снимал грим.

Потом они шли без особого разбора по московским улицам. Да, она вскоре вышла замуж. За кандидата наук. Сама тоже стала кандидатом три года спустя. У них с мужем полное взаимопонимание — сначала занимаются в упор квартирой, надо выбить у институтского начальства. Потом машиной — уже два года стоят на очереди. Следующим чередом — ребенок. Она говорила с легким смешком о том, как у них с мужем все вперед рассчитано и предусмотрено. Век такой, чтобы не пускать свою жизнь по воле волн. Она посмеивалась темными своими глазами — все, мол, у меня как надо, все порядком.

Был поздний вечер, они шли среди редящих прохожих, и просто так, естественным продолжением разговора, да и накрапывал дождик, он предложил зайти к нему — посмотреть, как он живет. Она, не колеблясь, вошла в парадное дома, где он жил, как будто знала — так оно и пойдет.

В комнате было мало света. Она прошла к распахнутому окну,

застыла у подоконника. Пахло сыростью. Дождик сыпал мелко, стесняясь своей неуместности, понимая, что не очень прошен. Еще ни разу не было по-настоящему жарко, был только май, московский прохладный месячишко, зябкий, как новорожденный котенок. Пыхала неоновая вывеска кондитерской напротив. Жужжал мирно летающим по цветнику шмелем плохо пригнанный ламповый балласт. От этого жужжания и от подрагивания в такт ему бледно-зеленого света рекламы казалось, что дрожит ее щека — бледно-зеленая, печальная щека. Она смотрела вниз, в переулок, совсем пустой теперь уже переулок.

Он предложил вина.

— Ты пей, — сказала она, не оборачиваясь. — Мне не надо.

Потом было молчание. Столь долгое, что он не выдержал, подошел и осторожно, неумело положил руки ей на плечи. Она продолжала смотреть в переулок. Бледно-розовая, нет, теперь уже зеленоватая аквариумная фея, русалка, вынырнувшая из темной глубины его одинокой молодости. Она похлопала по руке Филиппа, похлопала легко, как бы говоря — ничего, Филя, все будет у тебя хорошо. Он обхватил ее крепче. В ответ она спокойно выпросталась из его объятий. Сняла его руки со своих плеч, улыбаясь сложила их крестом у него же на груди, как бы говоря: «Вот где у хороших мальчиков должны быть руки», — и пошла к двери.

«Неужели вот так молча и уйдет?» — подумал он в смятении.

Она прошла в дальний угол пенала, к двери. Сняла туфли — белые босоножки на высоком каблуке, он заметил их раньше, когда они шли по городу. Похоже, те самые, из магазина для молодоженов. Удивительно новые, будто ни разу не надеванные...

Сняв туфли, она стала маленькой, подошла к нему — он тем временем опустился на диван — разобрала его сцепленные у подбородка руки и прижала его голову к своему животу. Он обнял ее бедра, ощутил сквозь платье давно забытый запах ее тела. Ему даже показалось, что пахнуло тканой пылью, той самой, из ситценабивного цеха. Он понимал, что это чепуха, она давно уже работает не в цеху, а в чистых кабинетах института. Но, ей же Богу, пахнуло...

Она села к нему на колени, чуть-чуть покачалась на них, глядя не на него, а в окно. Ему было неловко держать ее на коленях, но он не решался сделать то, что ему так хотелось, — снять с нее платье, увидеть смуглые плечи, перерезанные лентами комбинации, услышать ее жаркое дыхание и шепоток в ухо: «Надо же, Филя, как раз... Ты как раз для меня». Он часто потом вспоминал этот обжигающий шепот, это сокровенное заклинание женской мучительной страсти, подобного которому ни одна женщина, тем более его бывшая жена, никогда не произносила.

Она встала с его колен и сама, молча и ловко, одним движением сняла через голову платье...

Часа через два она стала собираться, хотя он просил ее остаться до утра. Она удивилась, как будто он произнес какую-то невероятную глупость, которую она никак от него не ожидала:

— Что ты, Филя! В гостинице меня ждут сослуживцы.

Пока она приводила себя в порядок, он встал и снова обнял ее. В ответ она вдруг заплакала горчайшими слезами:

— У меня мог быть сейчас семилетний сын. Представляешь, — сказала она с жестокой обидой, — семь лет могло быть человеку.

От неожиданности он разжал руки, державшие ее плечи, и ощутил горечь во рту, хотя вино было легкое, не могло быть от него.

— Откуда ты знаешь, что сын?

— В три месяца уже ясно — кто.

Через мгновение она успокоилась, совсем пришла в себя, взрослая женщина, кандидат наук, сильная женщина, которая держит в узде свою жизнь. Она обхватила его шею и, насколько позволяла полутьма, заглянула в его глаза:

— Ну, а ты что, Филя? Почему один?

Филипп рассказал ей глухо, как коротко и несчастливо был женат.

— Это тебя Бог за меня наказал. — Она провела рукой по его лицу.

За окном, в тишине начинающейся ночи, громко захлопал, проносясь по переулку, поздний мотоциклист. Переждав треск, перед тем, как отойти от Филиппа, она сказала с легким вздохом, с легкой усмешкой, которая оставила его в полном смятении и запомнилась навсегда:

— Знаешь, Филя, ты у меня вроде клоуна. С тобой ничего не считается.

Он не понял, о чем она говорит. Почему клоун? Шутил он редко, слишком уж был угрюм. В пьесе роль была, скорее, лирическая, никаких смешков...

Она была уже у двери, нагнулась за туфлями, когда он спросил:

— Может быть, завтра придешь?

— Может быть, — ответила она, надев туфли, ее глаза теперь были вровень с его глазами. Она еще раз поглядела на него, он заметил легкую улыбку на ее лице. — Может быть. Все на этом свете может быть. А чего не может быть, не бывает...

Высокоэффективное лечение

облысения и выпадения волос

НА ОСНОВЕ КИТАЙСКИХ ТРАВ

в Центре ЮРИЯ РУМЯНЦЕВА:

Кострома.

Телефон: (код 0942) 53-44-30.

Звонить с 11.00 до 19.00.

ИСТОРИЯ русской живописи



АЛЕКСАНДР БЕНУА

IV

Действительно, Кипренского можно считать порождением того проторомантизма, который в конце царствования Екатерины, при Павле и в начале царствования Александра из Англии и Германии заглянул и к нам.

Во всей Европе одна лишь Франция, почивая на лаврах, добытых Вольтером и всей ложноклассической помпой, ничего не желала знать о новом и многозначительном движении, которое возникло как-то сразу в разных местах, и, наоборот, благодаря увлечению республиканскими взглядами тогда более, чем когда-либо, в ней царило исключительное и раболепное поклонение античному миру.

Совсем другое представляла Англия. Первый сигнал нового течения был подан ею задолго до других, и теперь она уже почти вся была охвачена горячим пламенем романтизма. Не говоря уже о литературе, вся английская школа живописи XVIII в. видела мир в какой-то необычайной, темной и таинственной окраске. Положим, Рейнолдс в своих книгах явился, по классичности взглядов, вторым, лишь более оживленным, Менгсом, но в картинах его ничего подобного не проскользнуло. Принимаясь писать, он забывал все свои академические тезы и лишь старался угнаться за страстностью итальянцев, глубиной Рембрандта и чувственностью Рубенса, — тремя моментами чисто романтического характера. О других и говорить нечего: они все, с Гейн-

Продолжение. Начало в № 1.

ИЯ писи



В. А. ТРОПИНИН.
Портрет П. Н. Зубова.
Ок. 1839 г.

сбором во главе, разумеется, несравненно больше имеют общего с теми художниками, которые в первые три десятилетия XIX века сознательно подняли знамя романтизма, нежели с теми своими современниками на материке, которые еще робели пред указкой Винкельмана. Германия вся стояла im Banne der Romantic; «Гёц» и «Разбойники» сделали свое дело, и одновременно с тем, как у нас рос и развивался Кипренский, там росли и развивались Корнелиус и Овербек.

К нам вместе с модой на руины, готические капеллы, Мальтийский орден и франмасонские тайнства перебралась из стран, зараженных романтизмом, и мода на все остальное: на повести с рыцарями и пажами, на романсы и даже в живописи на что-то более страстное и сумрачное. Русские бары любили заказывать свои портреты английским художникам.

Тогда как раз Европа и мы с ужасом отвернулись от «взбесившейся» и окровавленной Франции, и даже почувствовали отвращение к тому возрождению античного мира, которое теперь расцвело в ненавистном Париже. Но с этого момента, с первых годов нового века, во вкусах и увлечениях общества, как повсюду, так и у нас, получилась какая-то невозможная сумятица, представляющаяся странным и знаменательным контрастом тем общим, дружным и ровным увлечениям, которые до того времени владели целиком всей образованной Европой, а именно: с одной стороны, все еще царил классическая, тяжелая рутина, не признававшая никаких отступлений от своего канона (крайне ребячески понимаемого), рутина, поддержанная авторитетными

стариками, воспитанными на поклонении Буало и Винкельману, и той передовой молодежью, которая увлеклась античностью, как запрещенной и тем более прельстительной модой из Парижа; с другой стороны, явились какие-то (у нас очень смутные, почти безотчетные) порывы к чему-то более свободному, самостоятельному, к выражению своих чувств — все это и в виде глупой моды, и в виде естественного пробуждения самосознания. Этим путем мы, мало-помалу стали возвращаться к себе, к почве, к собственному сознанию, наносная скорлупа спадала, и стоило только Наполеону вступить за русскую границу, как эта скорлупа вся треснула и разлетелась, затаенное пламя прорвалось и засветилось*.

Орест Адамович Швальбе родился в 1783 году, в семье крепостного человека бригадира Дьяконова, крещен в селе Копорье (Петергофского уезда) и от этого села получил фамилию, под которой стал известен: Капорский — Кипренский. Будучи отпущен на волю, он пяти лет был определен в Академию Художеств, не случайно (как то бывало в большинстве случаев), а потому, что успел проявить кое-какие задатки к рисованию. Однако в Академии он учился плохо, лениво, нехотя, но, к счастью, мог пользоваться советами такого мастера, как Левицкий, и хотя состоял одно время учеником Угрюмова, но это не повредило развитию его, так как в авторе двух самых скучнейших и бездарнейших картин старой русской школы** было гораздо больше жизни и теплого отношения к искусству, нежели во всех его товарищах и особенно заместителях.

112 Одетый еще в тесный, академический мундир, он уже имел случай проявить себя, как истинное дитя своего времени. Он влюбился в одну девушку, но, не встретив взаимности, с отчаяния решился на поступок, по крайней мере столь же сумасшедший и отважный, как разбойничество Карла Моора. Среди какого-то чопорнейшего парада, когда весь воздух, земля и люди коченели от безумного трепета перед страшным монархом-военачальником, он бросился к Павлу и стал умолять взять его в солдаты. К счастью, к 16-летнему юноше отнеслись милостиво и только отдали назад в Академию, где ему весьма прозаично, перед всеми учениками, был прочитан выговор.

В 1803 году он кончил курс, как самый обыкновенный академик, без блеска, вероятно, все еще объятый ленью и чисто художественной беспечностью. Но два года спустя он все же собрался с духом и представил программу, за которую и удостоился большой золотой медали, дававшей право на казенную поездку за границу.

В этой программе уже чувствуется нечто совершенно иное, нежели во всех других программах, как до, так и после него

* Кипренский по всему своему характеру, как дитя своего времени, весьма близко стоит к Карамзину, но если он и является крайне интересным явлением в живописи, то, разумеется, не может быть и речи о сравнении их значений, особенно для современного им общества.

** В Музее Имп. Александра III: «Взятие Казани» и «Венчание Михаила Федоровича на царство».

сделанных. Сюжет трактован с явным намерением растрогать зрителя, есть что-то слезливое, Карамзинское, в позах, жестах и лицах Дмитрия (на Куликовом поле) и его окружающих, а в красках сказывается несомненное влияние итальянцев и фламандцев (отчасти, может быть, и Шукина).

Но Кипренского за границу сейчас же не послали, так как вся Европа в то время готовилась к грандиозной, всеобщей войне, и он до 33-летнего возраста оставался в России, что ему, как оно ни покажется странным, послужило скорее на пользу. Положим, он не был завален заказами, но и не голодал, писал как ему вздумается и захочется, никто не лез к нему с назойливыми советами, так как вообще в воздухе был какой-то дух вольности, молодцеватости и бодрости. Он продолжал копировать старых мастеров в Эрмитаже и у Строганова, опять-таки без непрременной указки на Болонцев, все более и более развивался, освобождаясь от академических приемов, от известной робости и «жидкости» письма, и кисть его становилась все свободнее, краски — гуще, тон — вернее и теплее.

В эти, петербургские годы он совершенно созрел, и тогда же создал лучшие свои вещи, все исключительно портреты, так как и для него, как и для больших его предшественников, другие области оставались еще закрытыми.

На выставке 1813 года появились зараз: портрет отца, в котором он так близко подошел к огненному колориту и свободному письму Рубенса, что впоследствии серьезные знатоки в Италии не могли допустить, что перед ними не произведение великого фламандца, портрет Дениса Давыдова, портрет принца Гольштейн-Ольденбургского, князя Гагарина, коммерции-советника Кусова и другие.

Между этими портретами наиболее хорош Денис Давыдов*, являющийся теперь во всем Музее Императора Александра III наиболее совершенною по живописи и краскам вещью. В черно-синем небе, в оливковой листве есть что-то сумрачное и жгучее, вроде того, что так чарует в генуэзских портретах Ван Дейка и что было так удачно у них заимствовано Рейнольдсом и Ребреном. С бесподобным в XIX веке мастерством приведены вообще все краски в этой картине в соответствии между собою, начиная с этого колорита неба и листвы, продолжая желтоватым тоном лица, красным — мундира, белым — досин (по которым удивительно кстати свешивается серебряный шнур португели), кончая загрязненными перчатками и пестрыми перьями на шапке. Горделиво и очаровательно торчит из-за мехового воротника небольшая и курчавая голова героя, осанка полна мужественной прелести, а в элегантной позе есть что-то слегка балетное, но все же бравое до дерзости.

Однако тут же необходимо сейчас же отметить и слабую сторону как этой вещи, так и вообще всего творчества Кипренского: для психологии данного лица сказано не много.

Кипренский вообще был натурой сентиментальной, склонной

* Позднее — в 50-х годах — эта работа была атрибутирована как портрет Еврафа Васильевича Давыдова.

к романтическим порывам, к сердечным увлечениям, но в то же время скорее поверхностной и легкомысленной, скорее влюбленной во внешнюю прелесть, нежели вникающей в глубь явлений. Впоследствии мы встретимся с другим русским художником, который явился прямым контрастом ему, — с Перовым, прелесть портретов которого заключалась именно в том, что сквозь отвратительную оболочку отчаянной живописи и грустных красок светится внутренний огонь, внутренний смысл, способный настолько заинтересовать, что забываешь подумать о том, какова эта их живопись.

Денис Давыдов у Кипренского — кокетливый танцор, отважный воин, но нигде и ничто не намекает на то, что это поэт. Все пожертвовано для внешнего эффекта, для какой-то чисто гусарской нарядности, но нужно отдать справедливость, что этот внешний эффект, эта нарядность настолько хороши, что, глядя на этот портрет, забываешь, наоборот, подумать о том, выражена ли в нем душа.

Так и во всех других портретах его. Молодые дамы кокетливо милы, старушки благообразны, сановники напыщенно сановиты, дворяне благородны, но среди всего этого праздничного общества нигде не видишь ни умных людей, ни тонких людей, ни одна из этих голов не врезывается в память, ни с одним этим человеком не желал бы познакомиться. Лишь кое-где, особенно в дамских портретах, проглядывает та же поверхностная, но все же чувствительная нотка, что-то умильное и нежное, что жило в Кипренском.

Очень часто Кипренский писал самого себя, и во всех этих портретах скорее различных между собой, встречается и нечто общее: живой и приветливый взор, что-то мягкое и чувственное в губах, чуть-чуть аффектированный и эlegantный беспорядок в costume, розовые (подрумяненные?) пухлые щеки, поэтично взбитые волосы; но опять-таки ни в одном из этих портретов нет чего-либо хотя бы отдаленно подходящего к мрачной сосредоточенности Рембрандта или к гордой от самосознания мине Рубенса и Рейнолдса, даже нет того измученного тщеславием и собственной пустотой взгляда, который пугает в портрете Брюллова. Кипренский, нежный, нарядный, влюбленный в себя, беспечный и всем довольный Кипренский мало думал, и вряд ли разговор с ним представил бы большой интерес.

Несчастливым переломом в его жизни является поездка на 33-м году в Италию. Там недавно еще торжествовали Винкельман, Баттони и Менгс, только что еще великий Пиранези основал на целые 100 лет школу, призванную возродить древнее зодчество во всей его строгости (из нее вышли наши Кваренги и Росси); там теперь гремела слава гладкого Кановы, тоскливого Камуччини и морозного Торвальдсена; там в строгую, стройную, умную (вконец погубившую итальянское искусство) теорию было облечено то самое, что у нас мямлили академические профессора, какие-то, никому не нужные немецкие ученые и понахватавшиеся всякой всячины русские любители.

Где тут было развернуться и поучиться Кипренскому? Глядеть в римских музеях стариков для колориста было опасно: в них

немногие Рубенсы и Тицианы утопали в сотнях и тысячах Гвидов, Альбанов, Доменикинов и Мараттов, а Рафаэль и Буонароти ничего не могли дать русскому Веласкесу.

Как человека слабого и впечатлительного, приехавшего без всякого внутреннего руля, освежиться, его сейчас же завербовали всевозможные художественные кучки разных толков, сходящихся, впрочем, на одном пункте — что живопись в живописи пустое и второстепенное дело. И под их влиянием Кипренский, наш дивный, прекрасный мастер живописи, принес свой божественный дар в жертву всепожирающему истукану ложноклассической скуки и академической порядочности, принялся вылизывать всякие «Анакреоновы гробницы», разные хорошенькие головки итальянских пастушков и цыганок, умышленно связал себе руки, отрекся от своего мазка, от прелести своих красок, и погнался за общей вылощенностью, бесцветностью и тоскливостью.

Погиб Кипренский во цвете лет и в полной силе таланта, и его итальянские вещи: «Читальщик газет», в Румянцевском музее, массу других портретов, знаменитую «Сивиллу с тремя освещенными» — с трудом можно отличить от дюжинных, добросовестных, но жиденьких французов, немцев и итальянцев, и от нашего Варнека, который также учился у Левицкого и Щукина и которого вконец испортила заграничная поездка.

Как раз тогда, в Италии, с Кипренским произошла снова самая романтическая история. Он увлекся малолетней очаровательной девочкой-натурщицей, увлекся так сильно, что решился выкупить ее от развратных родителей, отдал на воспитание в монастырь, приехав в Россию, затосковал по ней, не выдержал, вернулся, с трудом отыскал и, наконец, женился на своей Мариуле. Все это он проделал, несмотря на бесчисленные препятствия, прибегая к похищениям, впутываясь в неистовые скандалы, возясь с цыганами, монахами, кардиналами, преданными друзьями и коварными врагами, точь-в-точь, как добрый герой из повести мадам Радклифф. И все же эта романтическая беспашанность в жизни не страшнула его, как художника; нигде в последних картинах его, во всех этих выглаженных мальчишках-садовниках, дрянно писанных Торвальдсенах и массе очень строгих и более, чем прежние, похожих портретов ничего не отразилось от всей этой жгучей страстности и безумных увлечений: все в них было ровно, мертво и холодно, как у любого профессора или академика.

Русская академия не задавила Кипренского: каким-то чудом, а вернее — по милости Угрюмова и Левицкого, он из нее вышел целым и невредимым; но одинокий, бессознательно отдающийся общим влечениям, без внутренней зрелости, он, попав в громадную, всемирную академию, — в Рим, сразу там отравился. Никто не постарался его вылечить, так как никому не было дела до его страстного искусства: в нем видели только очень хорошего портретиста, который в Италии мог усовершенствоваться благодаря драгоценному влиянию «единственной» во всем мире художественной среды.

Умер Кипренский 5/17 октября 1836 г., спустя три месяца

Е. Ф. КРЕНДОВСКИЙ. Подруги. Фрагмент. 1830-е гг





А. Г. БЕНЕЦИАНОВ. Туалет Дианы. 1846 г.

после своей женитьбы, как будто и в этом оставаясь верным своей неугомонной и отчасти неудачнической натуре.

Что для Петербурга значил Кипренский, то для Москвы — Тропинин. Впрочем, его значение для Москвы было даже большим, нежели Кипренского для Петербурга, так как до Тропинина в Москве не было совсем художников, если не считать заезжавших на время иностранцев, а потому московская школа живописи вполне основательно может считать его за своего родоначальника.

Тропинин был так же, как Кипренский, крепостным человеком (графа Маркова), но был отпущен на волю уже взрослым (24 лет) и, будучи свободным, долго еще продолжал жить у бывших своих господ, не имея средств обзавестись собственным хозяйством. Лишь впоследствии он зажил самостоятельно, тихо и скромно в Москве, пользуясь некоторой известностью, но чрезвычайно скудно оплачиваемый за свои произведения.

И характером он походил несколько на Кипренского, хотя с еще большим уклоном в сторону сентиментализма, без малейшей дозы чего-либо романтического: мягкий, молчаливый, добрый человек, без определенных взглядов и направления. Его собственный портрет изображает его уже стариком, кругленьким, и бритым, с усмешкой, скорее благодушной, нежели хитрой; позади него — выражая его неизменную привязанность к древней столице — высятся, на фоне зари, Кремлевские башни.

118
Слава Тропинина за последнее время чуть ли не превысила славу Кипренского (разумеется, это еще вовсе не значит, чтоб он был оценен по достоинству), но не по справедливости. Первые его картины действительно оправдывают его прозвище «русского Грёза» — не столько за хорошенькие личики, которые он, подобно французскому мастеру, любил изображать, сколько за густой, смелый мазок, красивый тон, имеющий что-то общее с жирными сливками, какую-то приятную и теплую белесоватость, совершенно непохожую ни на болезненную гамму Боровиковского, ни на горячий, темный колорит Кипренского. Но впоследствии он сбился, как и этот последний, с толку, в угоду требованиям безвкусных поощрителей принялся выписывать штофы, кружева, все второстепенное в картине, и головы его утратили значение, стали какими-то гладкими, фарфоровыми, шаблонно-милыми.

На рубеже между обеими манерами стоит его знаменитая «Кружевница», которая написана гладко, довольно жидко, и хотя чрезвычайно закончена, однако не замучена и способна до сих пор производить впечатление чрезвычайной жизненностью лица, отлично вылепленными руками и серебристым, нежным колоритом.

Что дает Тропинину особенно почетное место в истории русской живописи, это — сродство его в некоторых задачах с Венециановым, вернее — его зависимость, столь почетная, от последнего; а для Москвы это имело громадное значение, так как он первый (а за ним, гораздо позже, прямой ученик Венецианова Зарянко) посеял семена того реализма, на котором вырос и окреп впоследствии чисто московский протест против чужого и холод-



Г. А. КРЫЛОВ. Портрет ржевского купца. 1830-е гг.

ного, академического, петербургского искусства. Но только все эти «девушки-садовницы», «кружевницы», «швей», «молочницы», «гитаристы» и проч. скорее предвещали своими «жанровыми» ужимками, почти анекдотическим заигрыванием, последующее блуждание москвичей (с Перовым и Вл. Маковским во главе) в «типах» и «рассказиках», нежели являлись прямой параллелью той непосредственности взгляда на природу, которая была драгоценнейшей чертой в Венециановском творчестве.

Как портретист, в тесном смысле, Тропинин стоял неизмеримо ниже не только Кипренского, обоих Брюлловых и П. Ф. Соколова, но и более второстепенных живописцев, вроде Варнека и Яковлева. Очень неприятна круглота его овалов, какая-то *шаблонная жизненность* во взгляде, мягость в рисунке, унаследованная от Щукина. Знаменитый же его портрет Брюллова, писанный уже в старости, но почему-то без меры прославленный, — ординарная, слащавая вещь, без всякого тона, робко и лизано писанная, с более чем проблематическим сходством этого юношеского, добродушного личика с пожившим, стареющимся казаться гениальным, лицом выспренного творца «Помпей».

Рядом с Кипренским можно, с грехом пополам, назвать представителем в русской живописи начала романтизма поляка Александра Орловского, а жизнь его уже наверное не менее богата романтическими похождениями, нежели жизнь Кипренского.

Сын бедного содержателя корчмы, он попал стараниями княгини Чарторижской, проездом заметившей в нем задатки к жи-

вописи, в ученики к славному французскому мастеру, жившему в конце XVIII века в Варшаве, — Норблену де ла Гурденю. Будучи еще юношей, он впутался в какую-то скандальную историю, бежал в солдаты, участвовал в битвах, раненый попал в табор странствующих фокусников, таскался некоторое время с ними, принимая участие в их представлениях. В таком виде его узнал его учитель, который вразумил его, спас, взял к себе и у которого он и окончил свое художественное образование. Он вошел затем в моду среди варшавской аристократии, но почему-то бросил Польшу и переселился (в 1802 г.) в Петербург. Здесь он некоторое время боролся с нуждой, пока его не заметил великий князь Константин Павлович, большой охотник до всяких чудачков, и не взял его к себе во дворец, после чего он, разумеется, стал пользоваться таким успехом, что не поспевал справляться с заказами. Особенно способствовали этому его карикатуры. Было принято возить его на балы, на ужины, на обеды, в интимные кружки и на парадные фестивали, и всюду он должен был показывать свои штуки, до бесконечности разнообразные. В час времени создавал он громадные композиции, разливал по столам чернильные кляксы в виде всяких кикимор и животных, с престижитаторской ловкостью рисовал карандашом, мазал пальцами, спичками, носом, всякую всячину; то принимался делать шаржи на присутствующих, аллегории на злобы дня, то рисовал костюмы для маскарадов или народные сценки в юмористическом духе. Тут же принимал он участие в крупной карточной игре, как ни в чем не бывало проигрывал пол своего состояния или вдруг выигрывал невероятные суммы, которые на следующий же день растрчивал до последней копейки на покупку всякого исторического старья (как характерно для времени!) на толкучке; лат, пик, шлемов, панцирей, старинных костюмов. Дом его мало-помалу от всего этого принял вид какого-то средневекового, мрачного арсенала, куда, впрочем, с охотой приходили поохотаться и поспорить русские бары и польские паны.

В результате от такой деятельности получилось несметное количество рисунков, набросков пастелью, кистью, пером, углем, карандашом, спичками, часто до чрезвычайности живых, типичных, чаще же нелепых, грубых и даже пошлых.

Впрочем, Орловский успел написать и несколько десятков картин масляной краской, но они наименее отрадны во всем его обширном творении, видно, сделаны с натугой, нехотя, вероятно в минуты угрызений совести, при воспоминаниях о представлениях учителя или под влиянием увещаний всяческих доброжелателей. На этих вымученных и холодных вещах, пейзажах и баталиях не стоит останавливаться, так как они гораздо ближе стоят к методическому Жозефу Верне или мелковатому Демарну, нежели к произведениям Калло, Роза, на жизнь и характер которых так походили жизнь и характер Орловского, гораздо ярче отразившегося во всех тех быстрых и непритязательных импровизациях, которыми он щеголял в гостиных.

Если разобраться в невероятной массе сохранившихся после

него карикатур, портретов, рисунков, литографий, то можно выискивать в ней несколько — не много, сравнительно с общим количеством — перлов, которые рисуют и самого Орловского, во всем брио его пламенной, открытой к пониманию жизни, истинно художнической природы, и его тревожное, полное героизма, увлечений и страстей время.

Сюда попадут несколько его народных и уличных сцен, типов мужиков и продавцов*, всяких азиатов, татар, жидов, калмыков, казаков; сюда попадут очень живые сцены со страстно любимыми им лошадьми: то породистыми, запряженными в четверку и везущими в карете богатого сановника, то деревенскими сивками, жалостно плетущимися обозом по бесконечным дорогам; сюда попадут также быстро набросанные, но очень типичные, пылкие генералы, славные поручики, юнкера и майоры, иногда изображенные в карикатурах, незлобных, но чрезвычайно метких, вроде того инженерного генерала, который пугает кур, или Багратиона с предлинным носом, или Брызгалова в невероятных ботфортищах (в Музее Александра III). Далее можно набрать несколько баталлий, на которых режутся и колются, стреляются и рубятся с чисто звериной яростью всевозможные старинные и современные воины, и даже, наконец, десяток иллюстраций к наиболее романтическим сценам Шекспира (!) или к современным рыцарским романам, а также, в духе времени, не мало всяких страшилищ, схваченных и перенесенных из действительности или созданных целиком пылкой фантазией художника.

В стороне будут лежать скромные этюды русского пейзажа, очень близкие к правде и взятые с той широтой взгляда, которую в старину отличали голландцы, и, наконец, его этюды домашнего скота — прекрасные материалы к тем скучным масляным картинам, опять-таки исполненным с громадным пониманием дела, с любовью и даже странной в Орловском выдержкой. Нельзя сказать, чтоб Орловский оставил после себя школу. Разве только глухонемого Гампельна можно считать работавшим под влиянием его, когда он создал свою многоаршинную гравюру — ленту, изображающую все сложные перипетии Екатерингофского гулянья, изображающую это с удивительным искусством и даже некоторой поэзией (таковы сцена под деревьями или полные вечернего майского света сцены на мосту и у заставы). Но если непосредственных последователей у него и не было, то, несомненно, его влияние выразилось впоследствии в работах П. П. Солодова, Сверчкова и других, и таким образом можно проследить его вплоть до нашего времени.

Не было же у него школы потому, что на него глядели как на чудака, фокусника, налепили ему не особенно важную в то время кличку русского Воувермана и сейчас же после смерти забыли, даже те, у кого были богатейшие собрания его рисунков и набросков, сваленных в одну кучу, в одни альбомы со всякими сидуэтами, любительскими карикатурами и помарками заезжих шарлатанов.

* Быть может, не оставшихся без влияния на Венецианова.



А. Г. ВЕНЕЦИАНОВ. Сенокос. Не позднее 1827 г.

О. А. КИПРЕНСКИЙ. Портрет Е. С. Авдулиной. 1822 г



Орловский считался русским Воуверманом, — прозвищем Тенирса современники удостоили одного из удивительнейших людей в истории нашей живописи.

В своем месте Мутер восклицает: «Откуда появился Милле?» — мы с таким же недоумением можем искать, откуда появился наш Милле — Венецианов, живший на 50 лет раньше великого французского художника: ничто в русской живописи как будто не предвещало его появления.

И до него были в России художники, которые писали картины с народным содержанием. Таков Танков, от которого мы имеем маленькие жанровые сцены в духе Ле Прена и три большие сложные композиции, на одной из которых изображен русский народный праздник, вернее — фламандский кермес в русских костюмах, а на прочих двух — деревенские пожары: театральные декорации, с условным пейзажем, долженствующим изображать русские деревья, русские избы, и освещенные бенгальским заревом. Таковы жанры и жанровые сценки в пейзажах М. Иванова — робкие подражания французским и староголландским образцам. Таковы картины самого начала XIX века, скучных академических живописцев: Тупылева, случайно взявшегося за бытовые сцены и изобразившего очень бездарно и вовсе не типично крестины и игру в карты, Сазонова и Акимова. Таковы казенные батальные картины Серебрякова и этюды нищих Ерменьева, сделанные акварелью очень искусно, но совершенно условно, точно иностранцем, никогда не выдавшим России. Таковы — и это еще, пожалуй, важнее всего — этнографические и топографические, с многочисленными фигурами, съемки разных иностранцев: Лепрэнса, Аткинсона, Демартрэ, Патерсона, Гейслера и других. Наконец, таковы все работы, производившиеся в Академии Художеств в основанном (в конце XVIII века, но ненадолго), для образования русских Тенирсов и Схалкенов, классе живописи «домашних упражнений» (был и такой), на темы вроде следующей: «Представить мещанина, который, чувствуя небольшой припадок, готовится принять лекарство».

Однако все эти подражательные и ремесленные работы не имеют ничего общего с творчеством Венецианова и, пожалуй, могли лишь в самом начале его деятельности, в общих чертах, обратить внимание на народную жизнь; говорить же о зависимости его от них невозможно.

Как на вполне достойного предшественника Венецианова можно было бы указать лишь на первого директора Академии — Лосенко, если бы только оказалось, что та необычная картина в Третьяковской галерее, под которой значится его подпись с годом 1757, действительно его работы; но можно сильно в том сомневаться, так как ничто ровно — ни колорит, ни письмо, ни отношение к жизни — не указывает на то, что она писана тем же гладким и холодным художником, который написал портреты Волкова и Сумарокова, который, в назидание своим ученикам, издал атлас академической анатомии и, к великому удовлетво-

рению господ любителей, создал такие вполне условные и скучные вещи, как «Улов рыбы», «Авраама», «Товия», «Рогнеду» и др.

Возможно, что картина эта писана Дрожжиным: она сильно напоминает, и даже типами, костюмами, его портрет Антропова с семьей, как черновато-зеленым тоном, так и несколько жесткой, но сильной и вовсе не лизаной, серьезной, простой живописью. Кем бы эта картина ни была написана, она остается одной из самых замечательных и прекрасных картин всей русской школы и даже — странно сказать — всех картин подобного же характера того времени и в Европе, разумеется, оставляя в стороне совершенно бесподобного Шардэна.

Какая умная, тонкая, поэтичная это вещь, полная живописной прелести, как удивительно смела по рисунку (по совершенно «Вермееровской» перспективе) и как характерна! Мальчишка-живописец, неуклюже усевшийся на табурет, в узкой курточке и со смешной дьячковской косичкой, со вниманием всматривается в свою модель — очень милую девчонку в курьезном длинном платье, прислушивающуюся к увещаниям доброй мамыши смиренно сидеть, — общий тон, несколько темный (опять-таки не без иконописной черноты), и все настроение картины свидетельствует о строгом, любовном и внимательном изучении действительности.

Одиноко стоит загадкой эта скромная картинка, загадкой, так как неизвестно, ни кто написал ее, ни чем он был движим, ни какое влияние этот крупный мастер имел на последующих художников. Во всяком случае, если она и писана в 70-х годах, то на Венецианова она или ее автор (Дрожжин? Антропов? Лосенко?) вряд ли могли иметь влияние. Впрочем, все это покрыто, как многое другое в истории русской живописи, непроницаемым мраком неизвестности, и весьма может быть еще, что забытый всеми Антропов, ненавистник Академии, и есть автор этой картины, что он, как учитель Левицкого, и есть источник всей русской школы, а что Левицкий мог передать кое-какие подобные взгляды, в свою очередь, Боровиковскому, Боровиковский же — опять-таки своему ученику Венецианову; но эта догадка покамест остается одним фантазерством.

Во всяком случае, мы вправе с тем же недоумением спросить: откуда явился Венецианов? И ответить на этот вопрос так: причины его появления нам кажутся настолько глубокими, что нельзя видеть их исключительно в чисто живописной преемственности, — они лежат скорее в том настроении всего общества, которое помогло развиться Крылову, а позже Грибоедову, которое уже промелькнуло в Новикове, Щербатове, Шишкове и более всего, но уже позже, в Карамзине, которое так чутко поняла и которым воспользовалась остроумная Екатерина, отлично знавшая, хотя бы глядя на Петра III и его судьбу, что лучше не противиться этому настроению, проснувшемуся еще при Елисавете, в чем ее сильно поддерживали чисто русские люди: Орлов, Потемкин и Суворов. Екатерина, как известно, даже изобрела способ привлечения к себе всеобщей симпатии очень тонким подделыванием под общий дух и поощрением

русского, что, положим, сразу несколько исказило все направление, так как вызвало первые признаки официального народничества, пейзажного жеманства, всякой наносной слащавости и нелепости, однако в то же время не мешало идти внутреннему брожению в выработке народного самосознания вперед и дойти, к концу XVIII и началу XIX века, до полной теоризации и до объявления задолго до славянофильства, что нет спасения вне русского.

Это настроение достигло высшей точки своего пафоса, когда началось торжественное шествие Наполеона к святыне русской, к Москве. Пожар Москвы огорчил, но и согрел и осветил русское общество, и здесь во время всеобщего умиления, в веселом ликовании по случаю освобождения всей России и побед, всей Россией одержанных, произошло первое примирение высших кругов с народом: вместо скота они увидели людей, у которых во многом им следует поучиться. Не сразу в этом тогда убедились, но какое-то предчувствие того, что придется убедиться, заговорило уже тогда, особенно в 20-х годах, в созданиях молодежи, выросшей среди этого предчувствия.

Благодаря зависимости от такого глубокого, проникавшего всю народную и его личную душу настроения, Венецианов мог один, без всякой видимой помощи, создать целую теорию, воспитать целую школу, посеять первые семена русской народной живописи.

Алексей Венецианов родился в Москве, в 1780 г., от небогатых родителей, переселившихся туда в середине века из Нежина. Его отец, занимавшийся на довольно широкую ногу огородничеством, в то же время торговал картинами, и, вероятно, это обстоятельство направило молодого человека на художественный путь, на который он, однако, не сразу попал, сначала поступив на службу землемером. Лишь в 1807 г., будучи переведен в Петербург, познакомившись с Эрмитажем и с петербургскими художниками, он решил себя всецело посвятить живописи; большой помощью при этом ему здесь оказался Боровиковский, сам художник свежий, страстный, близко стоявший к жизни, который мог им руководить в приобретении технических познаний, не засушивая и не сбивая юный талант с толку.

И сразу Венецианов попал на верную дорогу: в Эрмитаже его не прельщали великолепные болонцы, премудрые французы, но он увлекся маленькими, скромными, полупрезираемыми тогда голландцами. Научившись от них мастерству, он, однако, не пытался, вроде какого-нибудь Дитрихса, делать то же, что они: он не принялся, никогда не выдавши, писать старинные голландские сценки, но, внимая советам, как бы доносящимся из их картин, обратился к окружающему миру, стал пробовать передать его на полотне.

Нужды нет, что сначала ему это удавалось наполовину, что его русские парни скорее были похожи на переодетых антиноев, а русские пейзажи выходили совсем так же красиво закопченными, так же ни на что живое не похожими, как фоны на фламандских портретах, — горевший в нем огонь, предоставленный самому себе, разгорался и помог ему выбраться на новый и вольный

путь. Мало-помалу все громче и громче в его честной душе раздавался голос, что так продолжать нельзя, что даже эти технические заимствования — ложь, художественный разврат, и явилось убеждение, что и самые приемы живописи нужно черпать не из собранного другими богатства, но из того источника, из которого они сами почерпали, — из изучения жизни.

Окончательно помогла ему выпутаться картина иностранного художника, значение которого теперь для нас непонятно, но который в свое время не только у нас, но и повсюду производил большое впечатление. В 1820 г. выставлена была в Императорском Эрмитаже «Внутренность костела», писанная Гране, и вот что писал сам Венецианов об этом, своим курьезным, старинным слогом: «Сия картина произвела сильное движение в понятии нашем о живописи. Мы в ней увидели совершенно новую часть ее, до того времени не являвшуюся. Увидели изображение предметов не подобное или точное только, а живое, не писанье с натуры, а изобразившую самую натуру. Увидели то, чем нас очаровывал в декорациях великий художник Гонзаго... «Говорили, что фокус освещения причина сего очарования... что полным светом* никак невозможно произвести сего разительного оживотворения предметов. Я решился победить невозможность: уехал в деревню и принялся работать. Для успеха в этом мне надобно было оставить все правила и манеры, двенадцатилетним копированием в Эрмитаже приобретенные. И средства Гранета открылись в самом простом виде. Дело состояло в том, чтобы ничего не изображать иначе, как только в натуре, что является, и повиноваться ей одной, без примеси манеры какого бы то ни было художника, то есть не писать картин á la Rembrandt, á la Rubens, но просто, как бы сказать á la натура». Это было неслыханным по дерзости делом: отказатьсь от «манеры» и искать, точно 50 лет спустя, т. е. почти в наше время, разрешения мучительных задач прямо, просто в природе!

Избрав такую дорогу, он вышел в отставку, купил именье «Сафонково», в Тверской губернии, удалился туда с семьей и в течение 3 лет прожил почти отшельником, добываясь разрешения намеченной задачи, не останавливаясь ни перед какими жертвами. Он решился даже выломить целую стену в гумне, для того только, чтоб иметь возможность лучше написать его внутренность и осветить (это-то больше всего его и интересовало — перещеголять Гранета) первый план, и, наконец, в 1824 г. действительно светлая и правдивая картина «Гумно» была готова и поднесена Государю.

Разумеется, во всем этом старании немало было наивности, и даже в чисто художественном отношении много никуда не годного: добиваться какого-то *trompe l'oeil* — мы теперь сказали бы: фотографичности — и мелко, и не нужно. Но, к счастью, Венецианов был в самом деле слишком настоящим художником, чтоб в себе же самом, быть может, инстинктивно, не найти противовеса нехудожественному стремлению и впасть в скуку

* Это звучит так, как будто он знал уже формулу Манэ и Золя о *plein air'e*.

и мертвечину, в которую вдалились Делаберж и позднее ученик Венецианова Зарянко.

Кое-что дурное от этого преследования иллюзии, однако, пробралось в его картины; так, — вероятно, из-за того, что он боялся на шаг отступать от природы, — он не обращался, хотя и мог, свободно и просто с рисунком, особенно человеческих фигур, но как-то пригвождал свои модели, превращал их в безжизненные манекены, с которых затем списывал с раболопным вниманием все нужное и ненужное до мельчайших деталей. Но, как ни странно сказать, несмотря на то, что фигуры занимают значительную часть во всех его картинах, несмотря на то, что часто они — или кукольны, или слащаво условны (это уже в угоду времени), общее впечатление от его произведений остается вполне жизненным, от них необычайно веет теплотой и настроением. В этом секрет его таланта, тут пробилась через последнюю кору робости (если и не перед гипсом, то перед таким же мертвецом-натурщиком) его простая и задушевная природа, умиленная при лицезрении родных мест, родной обстановки, родных типов.

Кому в целой русской живописи удалось передать такое истинно летнее настроение, как то, которое вложено в его картину «Лето» (галерея Третьякова), где за несколько угловато посаженной бабой, с чуть выправленным профилем, расстилается чисто русская, уже вовсе не выправленная природа: далекая, желтая нива, зреющая в раскаленном, насыщенном солнцем воздухе! Также удивительная вещь — парная ей «Весна», где опять-таки слегка академизмом отдает только главная фигура женщины, но где в пейзаже — задолго до Саврасова, а в сивке — задолго до П. Соколова выражена вся скромная, тихая прелесть русской весны, милой русской лошаденки. Задолго до Нестерова Венецианов повял и передал в своем пейзаже позади «Спящего мальчика» тот, полный тончайшей поэзии и какой-то приниженой прелести, художочный северный пейзажик, который так прекрасно дополняет и объясняет настроение св. Сергия Радонежского в цикле посвященных ему картин Нестерова. Его «Хозяйка сводит счеты» — не только по сюжету и по общему расположению (по сюжету и расположению она недалеко и от симпатичного, но уже больно сухого Дроллинга), но и по своей дивной живописи, по прелести отношений, по одному уже бесподобному клочку серенького, летнего дня, тускло сквозящего в окошко, — подходит, и весьма близко, к чудеснейшему из голландцев, к Питер-де-Хоогу.

Как-то раз Венецианову пришла в голову дикая мысль тягаться с академическими профессорами в изображении голого тела — и тогда, вероятно, к их великому негодованию, он создал, опережая на сей раз Курбэ, своих купальщиц, двух жирных баб, раздевшихся под деревьями. Вещь эта, бесспорно, неприятная, уже потому, что не видишь истинной, художественной причины ее создания, не видишь, чем мог Венецианов прелститься, так как единственную прелесть, которую могла представить такая сцена, — красочное отношение телес к зелени, — он как-то обошел даже, заставив, по-видимому, позировать этих женщин не на открытом воздухе, а в темной комнате и затем уже приписав

к ним пейзаж. Но по новизне и дерзости для того времени замысла эта картинка останется единственной и весьма замечательной.

Естественно, что Венецианову должны были удаваться портреты, но он их написал немного, если не считать большое количество очень внимательных его этюдов с баб и мужиков. К числу прекраснейших его произведений этого рода принадлежит его собственный портрет (Музей Александра III), написанный сочно и жирно, в приятных, густых серо-желтых и желто-черных тонах, никого из современников его не напоминающих, но имеющих что-то общее, общую даже прелесть, с вещами Вистлера первой эпохи, а также портрет, писанный им со старичка живописца Головачевского (Имп. Академия Художеств), окруженного несколько по «Грезовски» слащавыми воспитанниками. Прекрасна в красках картина «Проводы рекрута», вернее — тоже портреты молодой бабенки и солдата.

Часто произносились упреки Венецианову в приторности — и, действительно, некоторые картины его отличаются этим недостатком: он в них отдал дань своему времени, в угоду доброжелателям, указывавшим на пример английских картинок Морланда и уже славившегося тогда Вильке, но непонятно, что та именно вещь, в которой всего больше им сделано таких уступок, «Причащение умирающей», пользовалась во все времена наибольшей симпатией, даже у тех, которые с презрением, но, вероятно, не вполне разобравшись в вопросе, толковали об этой его приторности. Вещь эта фальшива не только по фигурке вполне здоровой «умирающей» и по некоторым довольно-таки «пейзанистым» типам мужиков, но более всего по слишком приятному общему тону, по какой-то вкусенькой, совершенно неподходящей пестроте и больно тщательному письму.

Впрочем, эти редкие уступки времени отнюдь не должны извинять общепринятого, полуснисходительного отношения к Венецианову, как будто из милости прозванного «отцом русского жанра». Венецианов не был только скромным начинателем, — вещи, в которых он просто и цельно выразился, рисуют его нам как первоклассного мастера и необычайного человека, которым вполне должна гордиться Россия, ничуть не меньше, чем Германия — Рунге.

Сам Венецианов сознавал свое значение, да иначе оно и не могло быть, так как без внутреннего самосознания он не решился бы «победить невозможность», тем менее принять на себя такой крест: удовлетворяться скромным положением русского Тенирса или Доу, когда таланта и сил в нем было больше, чем во всех российских Пуссэнах и Рафаэлях, вместе взятых. Это лучше всего видно из того, с каким фанатизмом, с каким апостольским рвением он поддерживал свою идею, как выбивался из сил, чтоб изменить царившее тогда академическое течение, изменить самое русло его, противопоставляя казенной школе, пользовавшейся грандиозными средствами и драгоценными правами, свою собственную, частную, учрежденную на жалкие свои средства, лишь со слабой, далеко не убежденной поддержкой со стороны членов — патриотов Общества Поощрения Художников. С неу-



А. Г. ВЕНЕЦИАНОВ. Крестьянская девушка с телянком. Конец 1820-х гг.

В. А. ТРОПИНИН. Портрет С. К.(С.?) Суханова. 1823 г.



сыпным рвением отыскивал он молодые таланты прямо из народа, преимущественно среди маляров, привлекал их к себе, любовно следил за каждым их шагом, даже давал тем, кто победнее, кров и одежду, только бы они не уходили от него.

Количество его учеников для того времени, когда художественные школы еще не загромождались барышнями-любительницами и всяким вздорным элементом, было громадно — свыше 60 человек, и большую часть из них Венецианов содержал на свои средства, а для других из кожи выбивался в хлопотах о поощрении и вспомоществовании, сам же кое-как при этом существовал частными уроками и доходом от своей деревушки. После его смерти никакого состояния не осталось, и, к стыду русского искусства, дочь его умерла несколько лет тому назад в крайней бедности, почти нищей.

От работ этих учеников не много сохранилось, но что сохранилось, то необычайно трогательно и приятно.

Достаточно взглянуть на уютную, скромненькую комнатку Тыранова (в Музее Александра III), с таким искусством написанную, в которой так мило, просто уселись приятели: один бряцает на неразлучной гитаре, другой проникновенно слушает, а в открытое окно льется летний петербургский свет и воздух; достаточно взглянуть, в том же Музее, на превосходный его собственный портрет, и увидеть рядом с двумя этими перлами те два невообразимые по своему уродству, совершенно в Брюлловском стиле, этюды, сделанные тем же Тырановым, но уже вне влияния Венецианова, в «благодатной стране искусства», чтоб сразу убедиться, какой это был приятный и хороший талант, какой славный русский художник готовился из него выйти и каким невозможным мазуном, розовым и вылощенным, он сделался, после того как изменил своему учителю и поплелся за Брюлловым. Бедный Тыранов умер сумасшедшим, помешавшись, говорят, от любви к натурщице; можно было бы это понимать символически, подразумевая под натурщицей лживую, раздетую, нарумяненную красавицу — Академию...

Михайлов, который известен как весьма плохой копиист старых мастеров и автор дрянненьких, банальных икон, был так любим Венециановым, что последний просил разрешения прибавить к фамилии Михайлова свою собственную. Можно судить о том, каким действительно хорошим учеником его он был и каким дельным художником мог бы стать, если бы не изменил ему, по одной картине «Перспектива античной галереи», вещь сухой, на первый взгляд, скучной, как казенная съемка, но сделанной с трогательным усердием и с отличным умением.

Портрет Ступина и его учеников, работы Николая Алексея Сыромянского, постороннего последователя Венецианова, почему-то хранящиеся в кладовой Академии Художеств, — вещь прямо первоклассная, не уступающая лучшим портретам самого Венецианова, и весьма вероятно, что сильны и хороши были все те бытовые сценки, которые были писаны этим же Алексеевым в 20-х и 30-х годах. Но и его захватила волна Брюлловского академизма, и он поступил в чиновники высокого искусства, принявшись писать дожинные образа никому не нужных «вак-

ханок», так что для нас этот мастер теперь представляется скорее типом ужасного Брюлловца, нежели хорошим последователем Венецианова.

Изменниками же являются и оба брата Чернецовы, особенно Григорий, автор прекрасной по своей интимной прелести, известной по литографии, картинке «Утро» (собрание приятелей в небольшой комнатке). Были ли Чернецовы учениками Венецианова, достоверно, кажется, неизвестно, но что они, в молодых годах, прямо по своему участию в изданиях Общества Поощрения Художников, в которых сотрудничал так деятельно и Венецианов, могли быть с ним в общении и находиться под его влиянием, лучше всего доказывают их первые перспективы всяких дворцовых зал и комнат, исполненные тихо и добросовестно, с любовью и большой тонкостью в рисунке и «отношениях». Впоследствии Чернецовы попали в круг влияния Максима Воробьева и принялись блуждать по всему белу свету, писать бездушные ведуты всевозможных, совсем не понятых ими, Амальфи и Босфоров. Также изменником был еще Плахов, начавший с милейших народных сценок и кончивший невозможной Дюссельдорфщиной.

Остались верными Венециановцами немногие. Самый известный среди них — Заряно, который хотя и перешел в Академию, но не подпал под ее влияние. Однако лизанные его портреты последнего периода, напоминающие, до обмана, увеличенные и раскрашенные фотографии, явно свидетельствуют (особенно при сопоставлении их рядом с его же великолепной, чисто Венециановской внутренностью Никольского собора и теми редкими портретами первого периода, которые еще писаны широкой и бодрой, в роде Тыранова, кистью) о том, что и он не устоял, одинокий, всеми оставленный, вдобавок сухой и ограниченный человек, от влияния всеобщего безвкусия. Все завещание Венецианова у него свелось к какому-то, действительно, «фотографированию» безразлично чего, без внутренней теплоты, зря, с совершенно излишними подробностями, с грубым битьем на иллюзию, на «выпираание». Каждый волосок, каждую пору, всякий оттенок в бриллиантах, как будто даже нити в кружевах, он копировал с неумолимой тщательностью, правда, точно, но нелепо, тем более что фотография принялась при нем уже это делать гораздо быстрее и с большим совершенством.

Заряно представляется типом тех искажителей, которые встречаются во всех вероучениях. Благодаря своему тупоумию такие люди удерживают лишь самое слабое, простое и доступное в словах своих наставников, с невозмутимой прямолинейностью прут по предначертанной дороге, убежденные, что продолжают живое дело своего учителя, но, в сущности, только уродуя и вконец губя его. Пользуйся он до конца советами Венецианова, быть может, он и воздержался бы от этих излишеств, а то им руководили лишь остатки воспоминаний об учителе и те варвары-заказчики, преимущественно среди именитого московского купечества, которые больше всего требовали, чтоб можно было понять из картины, как дорого платье, на них надетое, и чистой ли воды перстень на пальце.

Кроме Зарянки, очень немногие остались вполне верны своему учителю. Таковы Крендовский, Крылов, Щедровский, Зеленцов и Александр Алексеев, но об их деятельности мы имеем самые сбивчивые сведения. Картин Крылова не сохранилось, что очень странно, так как они имели некоторый успех в 20-х годах, и на то, как интересны они должны были быть, указывает уже одно дошедшее до нас описание их. Одна изображала нечто дотоле в русской живописи небывалое — зимний пейзаж в деревне, и была целиком написана с натуры, из нарочно, среди поля, выстроенного каким-то меценатом-купцом балагана, другая — портрет брата этого купца, в охотничьем костюме, с собакой. Главная картина Александра Алексеева, изображавшая с интереснейшими подробностями, и, как кажется, очень трогательно, мастерскую Венецианова, также пропала бесследно, но если она равнялась по достоинству премилой картине другого (крайне неплодовитого) Венециановца, Зеленцова, — «Мастерской Басина», то об этой потере нельзя достаточно пожалеть. От Крендовского имеется в музее Цветкова интересная вещь 1837 г. — «Сборы на охоту», где с величайшим усердием, несколько сухо и уже больно безразлично, нарисованы и выписаны люди, собаки, комната, бездна оружия, всевозможные другие детали.

От Щедровского осталось еще больше, чем от других (но зато вовсе нет сведений о нем самом): 30 рисунков тушью, в Музее Александра III, и, затем, известные, почти вполне с ними схожие литографии, изданные с текстом в 40-х годах Обществом Поощрения Художников, и в обеих этих сериях Щедровский с чрезвычайным вниманием и точностью, прямо с натуры, но без всякого личного отношения к делу, точно в камер-обскуру, срисовал нравы и типы простых классов Гоголевского времени, что сообщает этим рисункам, в историческом по крайней мере отношении, чрезвычайную драгоценность.

Как то ни странно, но самого классического из наших живописцев, графа Ф. П. Толстого, можно также считать отчасти Венециановцем; но оно и не так покажется странным, если вспомнить, что граф Толстой не был «крепостным» Академии, а был живым и горячим человеком, жизнь которого (его участие в фантасматическом и проч.) была полна самых романтических и пылких увлечений, который свободно и с глубоким, истинным пониманием увлекался тем, чем заставляли увлекаться, в закупоренной темнице, Егоровых и Шебуевых. В его медалях, разумеется, много скучного и ходульно-аллегорического, но некоторые из его восковых барельефов и вся его «Душенька» полны такой грации и ритма, так тонко задуманы, исполнены такой прекрасной античной страстности, с изредка встречающимися мотивами Лафонтеновской шаловливости, что эти произведения могут быть причислены к истинно эллинским созданиям нового времени, вроде работ Приюдона и некоторых Флаксмана. Как Приюдон не сторонился жизни — и живой, сердечный Приюдон не мог ее сторониться, — так точно живой и сердечный Толстой вполне понимал ее прелесть и любил передавать ее. Впоследствии, уже стариком, он много сделал смешного, нехорошо вникнув в чуждый ему романтизм и все же без меры увлекаясь им, но в те самые годы, когда создавалась «Душенька», исполнены им и те совсем Венециановские, по своей интимной прелесть, виды комнат его квартиры, где за столом сидят он и его домаш-

ние, где в бесконечной зале отдыхает на диване друг дома или где у скромного окошечка, вероятно, под чердаком, занимается шитьем девица.

Нельзя Венецианову ставить в упрек слабое распространение и недолговечное существование его школы и видеть причину тому в бедности содержания картин всех этих художников. Начать с того, что о бедности живописного содержания в таком прекрасном художнике, как Венецианов, не может быть и речи, так как лучшие его картины способны доставить бесконечное удовольствие для глаза; не может быть речи и о бедности содержания в таких перлах, как комната Тыранова или Алексеевский портрет Ступина; но действительно, другие в этой школе не отличались ни поэзией живописного замысла, ни особенной тонкостью, поэзией исполнения. Однако в том вина не Венецианова и не учеников его, а всего современного им общества. Лучшие силы и не шли к нему, их тянуло к успеху, их притягивали лавры, расточаемые «высоким искусством», говорить же о том, что нет никакого высокого и низкого искусства, а есть одно единое искусство и что во всяком случае не академическое и не Брюлловское искусство должно считаться высоким, — никому в то время в голову не приходило и не могло, при общем равнодушии*, прийти. Наиболее чуткие, жаждущие света души фатально уходили туда, куда их толкали решительно все и где им обещали преподавать сколько их пламенным сердцам было бы угодно самого «высокого» искусства. У Венецианова же оставались лишь скромные, забытые, вероятно, грубые существа, безобидные при ограниченности их таланта, а следовательно, никого не интересовавшие. Напрасно Венецианов возлагал надежды на талантливейших, приручал их к себе, кормил их на свои скромные средства, причислял к своему семейству. Весь последний период его жизни прошел одной сплошной драмой: любимое его дело разваливалось, уничтожалось, ненавистный враг креп, и взлелеянные им птенцы, самые лучшие, самые надежные, один за другим перелетали во вражеский стан, попадали в общую темницу, где, пребывая в постоянной галлюцинации перед ложным блеском (там выставляемым как само солнце), гибли от ледящего воздуха Брюлловского чванливого творчества, от соприкосновения с мертвечиной гипсового класса.

Не дожил Венецианов до того момента, когда снова русская живопись выглянула на свет Божий, так как он умер в 1847 г., за год до столь успешного появления первых картин Федотова.

Трудно сказать, жили ли традиции Венецианова после его смерти. Надо думать, что нет, если мы взглянем на непосредственно после него явившихся «жанристов» (Штернберг, Чернышев, Тимм, Иван Соколов и даже Сверчков, Петр Соколов, Зичи ничего общего с Венециановым не имели), и еще менее, если взглянем на тех, которые взялись за бытовую живопись впоследствии. Но среди поколений 60-х годов всего один художник, и то третьестепенный, явился как бы запоздалым и одиноким Венециановцем, скромно, просто списывавшим с природы, совсем так, как то практиковалось в школе 20-х годов, — это Морозов.

Продолжение следует.

* Громких фраз по адресу искусства, в подражание истинному энтузиазму французов и немцев к нему, было сказано немало, но как все это пусто, даже то, что говорилось величайшими нашими писателями!

июня 1866 года Джузеппе Гарибальди получил разрешение от итальянского правительства покинуть остров Катеру, чтобы оказать помощь в назревающей войне за отторжение Венеции от Австрии (как и предполагалось, война разразилась через десять дней). Гарибальдийцы уже знали эту радостную новость. Среди них был Клаудио Тосканини, тридцатитрехлетний уроженец Кортемаджоре, что в провинции Пьяченца, а ныне житель Пармы, портной по профессии, который принимал активное участие во всех военных кампаниях с 1859 года с прославленным генералом. Всего за три дня до выхода правительственного декрета в отношении Гарибальди он женился на Паоле Монтани, двадцатисемилетней миловидной девушке, но ему так и не удалось в полной мере насладиться семейным счастьем. Узнав, что Гарибальди высаживается на континент, он, позабыв о супруге, сбежал из дома и присоединился к гарибальдийцам.

В конце июня, когда итальянские войска медленно продвигались на север, эшелон, в котором ехал на войну отважный Клаудио, по счастливой случайности сделал остановку в Парме.

«Мой отец сбежал из вагона, — рассказывал впоследствии с веселой усмешкой его сын Артуро, — чтобы провести эту, может, последнюю свою ночь с моей матушкой. И вот в эту ночь я и родился. Таковы превратности судьбы...»

Действительно, девять месяцев спустя, 25 марта 1867 года, в три часа утра в семье Тосканини родился будущий всемирно известный дирижер Артуро Тосканини, родился в простом крестьянском домике, в сенях которого озабоченно кудахтали куры.

Теперь этот дом, подаренный детьми Тосканини городу Парме в 1967 году, когда в Италии торжественно отмечалось столетие со дня рождения великого маэстро, превращен в музей. В 1983 году он пострадал от землетрясения (дом-то без фундамента), но спустя четыре года был восстановлен и вновь открыл двери для посетителей.

В родной Парме

Артуро провел детство и юность в Парме, если не считать короткого отрезка времени, когда его семья искала счастья в Генуе. Здесь он получил первоначальное музыкальное образова-

АРТУРО ТО



ЛЕВ КАНЕВСКИЙ

СВАНИИ

*Годы
и вся
жизнь*

ние, здесь сложился как музыкант и композитор. Можно долго рассуждать о замечательном «эффекте Тосканини», о том, что его карьера складывалась в основном за пределами родной Пармы и Италии, но нельзя отрицать, что истоки его вдохновения, могучего таланта и непревзойденного мастерства нужно все же искать в Парме.

В 1886 году, девятнадцатилетним юношей, Артуро поступает в Пармскую консерваторию и в течение девяти лет обучается игре на виолончели в классе Л. Карени и композиции у Д. Дакки. Получив в 1895 году диплом, он через год в составе оперной труппы Клауди Росси отправляется в качестве первого виолончелиста на гастроли в далекую Бразилию. А. Тосканини был вполне доволен своим положением ведущего музыканта в оркестре, но, как это часто бывает, судьбе было угодно распорядиться иначе. После первого же неудачного представления в «Театре империале» в Рио-де-Жанейро оперы Д. Верди «Аида» местный дирижер, обвинив итальянских артистов в пристрастном к нему отношении, демонстративно подал в отставку. Тогда коллеги Артуро попросили его стать за дирижерский пульт. «Аида» вдруг преобразилась и завоевала успех у публики. Так началась его долгая дирижерская карьера, которая очень скоро переросла в настоящий миф...

Продиржировав сезон в «Театре империале», Тосканини возвратился в Геную и принялся за поиски работы в качестве виолончелиста. В глубокой старости он вспоминал о своих юных годах: «Да, я уже дирижировал во многих театрах... Но потом снова взял в руки виолончель и постарался позабыть о профессии серьезного дирижера. А что оставалось делать? Ходить и повсюду всем твердить, что я — дирижер? Но мне в ту пору было всего девятнадцать, а выглядел я еще моложе...»

Неожиданно он получил письмо из Милана от Николая Фигнера, ведущего тенора в труппе Росси. Фигнер был другом П. И. Чайковского, имел успех в Санкт-Петербурге, был женат на певице Медее Ивановне Мей, с которой участвовал в «бразильском турне».

В письме супружеская чета выразила искреннее удивление, что они до сих пор не видят Артуро за дирижерским пультом в музыкальной столице Италии — Милане. В ответ Тосканини в свое оправдание промямлил что-то несвязное. Фигнеры, смекнув, в чем дело, стали действовать решительней: послали юному дарованию денег и заплатили за номер в миланской гостинице. «Я обязан им своей карьерой», — спустя годы скажет с благодарностью великий maestro.

В Милане Фигнеры познакомили его с известной музыкальной издательницей Джованиной Луссой, которая, узнав о страсти Тосканини к музыке Вагнера, свела его с импресарио туринского оперного театра «Реджио» Кариньяни, готовившего постановку одной из его опер.

Туринский оперный театр — заметная веха в жизни Артуро Тосканини. Он становится его художественным руководителем, а 4 ноября 1896 года дебютирует в качестве дирижера на родной

итальянской земле. Именно здесь ему выпала честь дирижировать премьерой оперы Пуччини «Богема» и первым в Италии представлением оперы Вагнера «Гибель богов».

Меломаны в Италии с восхищением заговорили о виртуозности молодого дирижера, о его отточенном мастерстве, о его поразительной способности дирижировать сложнейшими сочинениями по памяти. Все захотели как можно больше узнать об этом «миланском чуде», но, увы, чарующий дирижер взял за правило никогда ничего о себе не рассказывать и не давать интервью — правило, которого он придерживался до конца жизни.

Из уст в уста в Италии передавалась невероятная история, что в театре Росси он все одиннадцать классических опер репертуара дирижировал без партитуры. И какие оперы — «Риголетто», «Трубадур» Верди, «Фаворитка» Доницетти, «Гугеноты» Мейера, «Фауст» Гуно. Память у Тосканини и впрямь была поразительной, хотя многие объясняли сей феномен близорукостью маэстро и его нежеланием носить очки...

За пультом в «Ла Скала»

В это время Арриго Бойто (1842—1918) в свои 56 лет был самой важной фигурой в итальянском музыкальном мире. Конечно, он не мог не заметить выдающегося таланта Тосканини и отдавал себе отчет в том, что Турин не столь достойное для того пристанище. Однажды Бойто пронюхал, что Джузеппе Верди со своей супругой гостят в Генуе, и потащил туда своего друга. Артуро не скрывал радости от возможности увидеть и лично познакомиться со знаменитым композитором.

Но хитроумный Бойто не преследовал цель простого светского знакомства. Дело в том, что Верди был вице-президентом административного совета «Ла Скала», и Бойто хотел представить Тосканини этому «дивному старику», заручиться его поддержкой при осуществлении своего тайного замысла — сделать Артуро музыкальным директором знаменитого оперного театра.

В 1898 году планы Бойто осуществились. Артуро Тосканини стал дирижером оркестра «Ла Скала». Он дирижировал семь сезонов из десяти, проведенных в Италии. Под его руководством состоялись итальянские премьеры вагнеровского «Зигфрида», «Евгения Онегина» Чайковского, «Саломеи» Штрауса, «Пелласа и Мелизанда» Дебюсси. Тосканини первым представил миланской публике «Тристана и Изольду» Вагнера, «Тоску» Пуччини, «Луизу» Шарпантье, сочинения Маскани, Джордано, Чилеа, Франкетти. По его инициативе в репертуаре театра осуществились «революционные преобразования», особенно в отношении опер Верди.

Его третий сезон в «Ла Скала» открывался оперой Доницетти «Любви напиток». Спектакль стал первым триумфом никому не известного тенора. После спектакля, обняв артиста, Тосканини сказал: «Боже мой, если этот тенор будет петь так и дальше, то он заставит заговорить о себе весь мир!» Им оказался Энрико Карузо.

В следующем спектакле, когда шел «Мефистофель» Бойто, вместе с Карузо пел Федор Шаляпин. Это был его дебют в «Ла Скала».

В период с 1903 по 1906 год музыкальные маршруты Тосканини пролегли от Южной Америки до Рима, из Рима в Северную Америку, Канаду и снова в Рим.

30 апреля 1906 года в «Гадзетта театрале итальано» появилась заметка, извещающая, что маэстро возвращается в «Ла Скала». Правда, дирижер поставил перед административным советом жесткие условия своего возвращения в театр: полная свобода действий в работе и при выборе репертуара, строгий запрет на «бравирование» в ходе спектакля, недопущение на сцену лиц, не занятых непосредственно в спектакле, и сооружение... ямы для оркестра.

Слава об Артуро Тосканини гремела на трех континентах. В 1905 году он в качестве второго дирижера встал за пульт нью-йоркского «Метрополитена». С присущей ему энергией Тосканини осуществил первую в Соединенных Штатах постановку оперы Мусоргского «Борис Годунов», поставил «Девушку с Запада» Пуччини, «Орфея и Эвридику» и «Армиду» Глюка, «Эврианту» Вебера. Дирижер включил в свой репертуар самых знаменитых композиторов девятнадцатого века — Доницетти, Верди, Вагнера, Массне, Масаньи, Пуччини, Хампердинка.

В то же время Тосканини дирижирует и в других театрах, в частности в Буэнос-Айресе, в знаменитом театре «Колон», где впервые представил аргентинской публике «Тристана и Изольду» Вагнера, «Восемь сцен из Фауста» Берлиоза, «Андреенну Лекувер» Чилеа, «Мадам Баттерфляй» Пуччини.

Несмотря на все созданные ему великолепные условия для работы и творчества, несмотря на широкие возможности выбора среди самых лучших музыкантов и исполнителей мира, строгий и взыскательный мастер к 1915 году начинает испытывать неудовлетворенность художественным и исполнительским уровнем «Метрополитена». Повышенные творческие запросы, а также неожиданная крупная ссора и разрыв с известной певицей Джеральдиной Фаррар, с которой, как утверждают, у Тосканини был бурный роман, привели его к окончательному решению порвать с нью-йоркским театром и возвратиться домой, в Италию. (Вскоре Джеральдина в отместку за разрыв вышла замуж за одного актера, но брак оказался неудачным. Через несколько лет, правда, ее взаимоотношения с Тосканини возобновились, но уже на иной основе. Они просто долгие годы переписывались.)

Как ни странно, скоропалительный отъезд из Нью-Йорка спас Тосканини жизнь. Решив уехать немедленно, экспансивный маэстро сдал билеты, заказанные на более поздний срок на фешенебельный трансатлантический пароход «Луизиана», для которого рейс через Атлантику оказался последним...

Итак, Тосканини покинул Америку и возвратился на родину, где на особое гостеприимство рассчитывать не приходилось. В мае 1915 года Италия почти с годовым опозданием вступила в мировую войну. Артуро Тосканини было сорок восемь лет...

Что можно сказать о политических убеждениях Тосканини — итальянца, музыканта, дирижера? Они в большей степени складывались под влиянием его отца, неистового гарибальдийца и борца за второе «возрождение» Италии.

От него же Артуро унаследовал сильную антипатию к церкви и монархии, но, как истинный итальянец, не мог избежать националистических чувств, не мог обуздать их разумом и был абсолютно уверен, что области Трентино, Альто-Адидже и Истрия (которые, несмотря на все усилия Гарибальди и короля Виктора Эммануэля II, оставались в руках австрийцев) должны по праву принадлежать Италии.

Теперь Тосканини все чаще вспоминал рассказы своего отца Клаудио, который, дерзко бросая вызов смерти, пытался в числе других заставить австрийцев убраться из Ломбардии. Он даже оставил беременную жену, чтобы с оружием в руках вырвать прекрасную провинцию Трентино из рук императора Франца-Иосифа. Но Клаудио в своей красной гарибальдийской рубашке уже давно спал в могиле, а войска Франца-Иосифа спустя пятьдесят лет все так же топтали исконные итальянские земли.

Стоит ли удивляться, что с самого начала войны Тосканини (как и многие представители итальянской интеллигенции) увидел прекрасную возможность осуществить заветную мечту своего отца и его друзей-гарибальдийцев: добиться для Италии истинного «Risorgimento» («Возрождение»).

В годы войны он отказался от всех контрактов и выступал только на благотворительных концертах, сборы с которых шли на военные нужды. Часто Тосканини выкладывал из собственного кошелька значительные суммы в пользу тех музыкантов, которые терпели лишения из-за безработицы, вызванной войной. К благотворительной деятельности ему удалось привлечь знаменитых в то время певцов — Энрико Карузо, Клаудио Муцио, Тито Шипа, Алессандро Бончи...

В 1916 году на благотворительных концертах в Риме и Турине он познакомил музыкальную общественность с современной музыкой — «Остров мертвецов» Рахманинова, «Элегическая колыбельная» Бузони и прежде всего «Петрушка» Стравинского. Он считал римское исполнение этого сочинения «краеугольным камнем» своей карьеры.

Год спустя маэстро, по настоянию генерала Антонио Каскино, организовал военный оркестр, который старательно подготовил для выступлений на фронте, подобрал и разучил с ним нужный репертуар. Мужественно дирижировал во время успешного штурма Монте Санто в конце августа, не выпускал из рук дирижерской палочки и в Сапоретто, где итальянцы понесли тяжелое поражение от австрийцев. На собственном опыте он познал все тяготы и ужасы войны и был за проявленную смелость награжден командованием. Итальянские солдаты вели себя уверенней в атаке, чувствуя за спиной поддержку военных музыкантов и их бесстрашного дирижера, имя которого знал уже каждый взрослый итальянец.

Однажды Вальтер Тосканини, сын маэстро, офицер артиллерийского полка, которому в то время исполнилось девятнадцать лет, услышал игру какого-то военного оркестра, исполнявшего марши и гимны. Ему очень понравился оркестр и музыканты. Обращаясь к другу, он в шутку заметил, что этот оркестр играет куда лучше всех прочих воинских ансамблей и что так вышкочить музыкантов мог, по его мнению, лишь его отец. Каково же было удивление юного офицера, когда генерал Каскино, пригласив Вальтера к себе на обед, представил дирижера оркестра — его родного папочку.

«Оркестр АТ» — ячейка нового «Ла Скала»

Италия вышла победительницей из первой мировой войны, правда, расплатившись за свой успех жизнями шестисот тысяч человек — это число превысило все военные потери Италии за предыдущие пятьдесят лет. Неспособность правительства умиротворить бурные послевоенные выступления народных масс убедила многих итальянцев, как и Тосканини, в необходимости проведения радикальных перемен в политической структуре страны.

В начале 1919 года в Милане Тосканини присутствовал на митинге, созванном одним бывшим журналистом-социалистом, который сформулировал на нем свою довольно привлекательную политическую программу. Его имя было Бенито Муссолини. Такое ошибочное впечатление от этого способного говоруна разделялось многими интеллектуалами, включая и друга Артуро, известного писателя, лидера итальянских футуристов Филипо Томазо Маринетти. Именно он убедил Муссолини включить знаменитого дирижера в список кандидатов на политических выборах в ноябре 1919 года: новой, фашистской партии нужны были звучные имена, чтобы заручиться поддержкой простого народа.

На следующий год Тосканини прибегнул еще к одному политическому жесту. Он создал собственный оркестр «Артуро Тосканини» (АТ) и по приглашению знаменитого итальянского поэта Габриэля Д'Аннунцио отправился на концерт в город Фиуме (Риека), город, захваченный группой итальянских добровольцев, на который претендовали как Италия, так и Югославия.

Хотя оркестр «Артуро Тосканини» первоначально и играл определенную «националистическую» роль в послевоенных событиях в стране, впоследствии он все же стал той группой музыкантов, которым предстояло выполнить одну грандиозную общенациональную задачу. Осенью к Тосканини обратились мэрсоциалист Милана Эмилио Кальдера и сенатор Луиджи Альбертини, издатель газеты «Коррьере делла сера», с предложением возродить гордость итальянской оперной музыки — миланский театр «Ла Скала», который уже был два года закрыт. Но великий маэстро колебался, уклоняясь от решительного ответа. (Стоит сказать, что на протяжении всей его жизни «Ла Скала» был для

маэстро большой, всеохватывающей любовью. Начиная с того момента, когда он впервые взмахнул там дирижерской палочкой в 1898 году, и до самой смерти в 1957-м — все шестьдесят лет музыкальной карьеры — он всегда интересовался тем, как идут дела в театре. В его театре, словно это «миланское чудо» было его личной собственностью.)

Идея создания нового театра на старой основе управления (разномастной упряжки директора и художественного руководителя, которые, в свою очередь, отчитывались перед комитетом, облеченным властью финансовыми воротилами) не могла его привлечь. Как не привлекала и система «менеджеров» с административным советом в «Метрополитен» или старая, «предпринимательская» система, действовавшая в большинстве оперных театров Италии. Если Милан, этот чудный город, который принял его, блудного сына, рассуждал маэстро, действительно хотел, чтобы он взял в свои руки бразды правления, то город должен предоставить ему всю полноту власти для проведения коренных структурных и экономических реформ. Прежде всего, по его мнению, требовалось создать великолепный оркестр, предварительно обкатать по городам Италии, свозить на стажировку в Соединенные Штаты и только потом превратить его в «становой хребет» новой «лирической труппы». И таким оркестром должен стать его оркестр «АТ», который он создал собственными руками.

После годичных переговоров в июле 1920 года Исполнительная комиссия по созданию автономных предприятий назначила Артуро Тосканини «полномочным директором» «Ла Скала». Началось славное десятилетие его театральной деятельности на первом посту итальянской музыкальной культуры.

Новый оркестр, эта будущая основа «Ла Скала», дал свой первый концерт под управлением Тосканини в Миланской консерватории 23 октября 1920 года. После пятимесячных гастролей по Италии оркестр «АТ» пароходом отправился из Неаполя в Америку, где посетил с концертами 41 город, включая Монреаль и Торонто, и завершил невиданный музыкальный марафон в апреле 1921-го. В общей сложности оркестр во время гастролей дал 133 концерта, на которых побывало 200 тысяч слушателей. После такого турне Тосканини, судя по всему, остался доволен «обкаткой» оркестра и заявил, что теперь действительно настало время для открытия нового «Ла Скала»...

...Новый «Ла Скала» открыл впервые двери перед публикой 26 декабря 1921 года, поставив новую версию «Фальстафа» с Мариа Стабиле в главной роли. Потом опера неоднократно повторялась и по праву считалась одной из художественных вершин в славной истории театра 20-х годов. За последующие семь с половиной лет под управлением Тосканини прошло более 450 спектаклей...

Его мастерство поражало всех. Канадский дирижер Артур Борски сказал о нем: «Это не просто дирижер, это дирижер всех дирижеров».

Когда Леопольду Стоковскому предложили бесплатный билет на концерт А. Тосканини, он настоял на том, чтобы с него взяли

деньги, заметив: «Каждый должен платить за то, чтобы чему-то научиться». А знаменитый скрипач Фриц Крейслер так ответил своим коллегам, утверждавшим, что Тосканини не знает, как нужно правильно играть Пятую симфонию Бетховена: «Не думаю, что Тосканини ошибается, но даже если это и так, то я предпочел бы неправильное исполнение Тосканини правильному исполнению любого другого дирижера». Пендерецкий в своих мемуарах писал: «Все уже сказано, и все сделано, но тем не менее никого нельзя сравнить с А. Тосканини, это — трансцендентный гений».

Но в театре «Ла Скала» А. Тосканини не был просто дирижером и художественным руководителем. Он всегда решал все вопросы, связанные с постановкой спектаклей, их художественным оформлением, даже разработкой всех мизансцен. Маэстро сумел привлечь в театр лучших сценографов, среди которых особенно блистал Эдоардо Маккиоро. Нужно заметить, что «Ла Скала» не занимался авангардистскими экспериментами на манер берлинского театра «Король опер», но тем не менее Тосканини пригласил швейцарского теоретика танца и сценографа Адольфо Аппио, который осуществил свою концепцию постановки оперы «Тристан и Изольда». Тосканини, несмотря на неприятие таких «вольностей» со стороны критиков и публики, все же оказывал Аппио поддержку.

Вот что говорит о работе Тосканини в «Ла Скала» Джаиананреа Гавадзени, который был тесно связан с театром в двадцатые годы, в интервью, данном в 1972 году: «Его метод работы был чем-то абсолютно новым для лирической итальянской традиции; когда он вводил что-то новое, какой-то новый подход, то, можно сказать, делал это своевольно, даже тиранически... До Тосканини, конечно, существовали хорошие спектакли, были великие дирижеры, отличные певцы, но не существовало целиком и полностью реализованного художественного метода, эстетического подхода».

«Ла Скала» был полностью реорганизован Тосканини в том, что касалось привычных репетиций, способа понимания программы, метода обучения певцов и даже, если хотите, самой публики. При Тосканини, в его эру, публику приучали не воспринимать театр как источник развлечения, а как серьезное учреждение, несущее в себе нравственную и эстетическую функцию, проникающее в жизнь общества, в громадный пласт культуры».

«Ла Скала» и политика

В самый разгар деятельности лирического театра социально-экономический хаос в стране достиг своего апогея. Муссолини с подручными сделал крутой вираж в сторону и избрал метод насилия как единственный приемлемый для завоевания власти.

Накануне марша фашистов на Рим в октябре 1922 года Тосканини доверительно признался своему другу: «Если бы мне пришлось убить человека, то им был бы, несомненно, Муссоли-

ни!» Однако, когда Муссолини стал председателем совета министров, «Ла Скала», по вполне понятным финансовым соображениям, поспешила этим воспользоваться. Как и большинство итальянцев, Тосканини занял выжидательную позицию. Спустя некоторое время после захвата власти Муссолини прибыл в Милан, выразил желание сфотографироваться на память со всей труппой знаменитого театра, и маэстро удовлетворил просьбу начинающего диктатора. Но очень скоро, во время спектакля «Фальстаф», маэстро впервые столкнулся с горячими сторонниками нового, фашистского режима. Группа молодчиков в зале громко потребовала исполнить перед началом спектакля партийный гимн «Дживинецца», но Тосканини отказался это сделать. Через несколько дней он недвусмысленно заявил, что покинет «Ла Скала», если только фашисты попытаются осуществить свою угрозу и захватят контроль над административным советом театра. Декларация Тосканини была настолько серьезной, что мэр Милана счел нужным составить об этом «инциденте» донесение непосредственно дуче. На сей раз Тосканини одержал победу в стычке с властью, но, как оказалось, ненадолго.

В июле 1924 года фашисты убили лидера социалистов Джакомо Маттеоти, который перед палатой депутатов разоблачил тоталитарные устремления Муссолини. К тому времени Тосканини начал отдавать себе отчет в том, как на самом деле складывается политическая ситуация в стране. Контакты с его другом Луиджи Альбертини, уволенным с поста издателя газеты «Корriere делла сера», другими людьми его круга окончательно убедили маэстро, что уже нельзя считать фашистов в Италии «небольшим злом». Они навлекли на страну всеобщее презрение других народов и подрывали силы молодой итальянской нации. Тогда Тосканини и принял решение об отказе от предложенного ему места сенатора.

Хорошо понимая, что такой политический вызов может существенно отразиться на положении возглавляемого им театра, он тем не менее не пошел на сделку с совестью. Открыто не воспринял «законности» маскарадного режима. Когда правительство особым декретом распорядилось выставлять в любом учреждении портреты Муссолини и короля Виктора Эммануэля III, включая все общественные места, театры и кинотеатры, Тосканини наотрез отказался это сделать. И до тех пор, пока он находился на посту директора «Ла Скала», портреты фашистских руководителей и их прихлебателей из королевской фамилии ни разу не осквернили стен музыкальной итальянской святыни. Но на этом столкновения с властью не прекратились.

21 апреля 1925 года (этот день основания Рима Муссолини превратил в общенациональный праздник — «День империи») Муссолини лично приехал в театр, чтобы присутствовать на премьере «Турандот» Пуччини, и потребовал перед началом спектакля исполнить свой партийный гимн. Но Тосканини не дрогнул и в присутствии диктатора отказался это сделать. Таким образом, исполняемая посмертно последняя опера Пуччини, умершего в 1924 году, так и не услышала звуков фашистского гимна.

Рассерженный диктатор заявил, что если администрация театра не в силах совладать с Тосканини и заставить его с уважением относиться к верховной власти, то его, Муссолини, ноги больше в «Ла Скала» не будет...

Подобные «выходки» сильные мира сего, как правило, не прощают...

Отвечая на яростные нападки в газетах, Тосканини писал, что «служил, служит и будет служить, с покорностью и смирением, с большой любовью к искусству, своей родине». Но когда маэстро писал эти строки, то не предполагал, что новая встреча с итальянским театром состоится только через... долгих шестнадцать лет.

Прощай, Италия!

Уход Артуро Тосканини из театра объяснялся не только политическими преследованиями со стороны фашистских властей. Когда угар фашизма охватил всю страну, маэстро было уже шестьдесят два года. Возраст сказывался, и он испытывал постоянную усталость от физически трудной, нервной работы в крупнейшем театре Европы. Тосканини принял решение целиком посвятить себя симфоническому репертуару, который забирал бы меньше творческой энергии. Свой выбор он остановил на Нью-Йорке. И в 1928 году возглавил Нью-Йоркский филармонический оркестр. (Административный совет предложил ему беспрецедентное в истории исполнительского искусства вознаграждение — 100 тысяч долларов «чистыми» за пятнадцать недель работы с оркестром.)

Весной 1930 года Артуро Тосканини совершил первое в своей жизни европейское турне со своим новым оркестром. Треть репертуара составляли сочинения здравствовавших тогда композиторов. Игра оркестра по-настоящему взволновала всю музыкальную общественность в Европе, особенно в Берлине, где ему восторженно аплодировали такие титаны музыкального мира, как Бруно Вальтер, Эрих Клейбер, Отто Клемперер, Фувэнглер. Они были в восторге, что непостижимый Тосканини исполнял все сочинения по памяти. Вот высказывание Клемперера: «Когда говорят, что Тосканини может дирижировать всеми сочинениями по памяти, то это еще далеко не все. Важнее обратить внимание на то, что он дирижирует всем как будто изнутри, в истинном значении этого слова. Если мы хотим различить, что в искусстве законо, а что нет, то Тосканини представляет своим искусством целиком такую законность; он — король дирижеров оркестров».

Тосканини тянуло на родину, тем более что он путешествовал по Европе неподалеку от ее границ. Власти, как ни странно, не стали чинить ему препятствий и разрешили посетить с американским оркестром четыре города — Милан, Турин, Рим и Флоренцию. Но в Турине вышел казус. На концерте должен был присутствовать наследный принц Умберто, что предполагало обязательное исполнение «Королевского марша» перед началом.

Тосканини, может, и подчинился бы установленному порядку, но ведь за «Королевским маршем» нужно было исполнить и фашистский гимн «Джiovинецца». Маэстро, как и предполагали, отказался это сделать. Назревал очередной скандал. Но чья-то изобретательная находчивость спасла ситуацию. В то время, как музыканты оркестра Тосканини спокойно сидели на сцене, положив на колени инструменты, из-за кулис бодро вышел военный оркестр и удовлетворил тщеславие сиятельной особы. Инцидент был исчерпан.

Тосканини руководил Нью-Йоркским оркестром до 1936 года, и нагрузки — четыре-пять репетиций в неделю и четыре выступления — были ему вполне по силам. Свой последний концерт он дал 29 апреля 1936 года, а через три дня уехал в Европу. Его многочисленные американские поклонники считали, что видят знаменитого дирижера в последний раз...

Байрейтский период

После того, как Тосканини покинул свой пост в «Ла Скала», особое значение для него приобрели знаменитые Байрейтские фестивали. Здесь он мог демонстрировать всему миру свое непревзойденное мастерство дирижера. На фестивалях 1930 и 1931 годов он стал первым дирижером, не немцем по национальности, которому организаторы разрешили встать за дирижерский пульт в вагнеровском музыкальном святилище.

Страстный поклонник Вагнера, дирижер впервые посетил Байрейт еще в 1899 году. Сыну композитора, Зигфриду Вагнеру, как-то удалось послушать интерпретацию «Тристана и Изольды» в исполнении оркестра под управлением А. Тосканини. С тех пор он считал итальянского дирижера одним из лучших исполнителей музыки Вагнера и все время стремился пригласить Тосканини в поместье Вагнеров в Баварию. Но лишь в 1929 году ему удалось сломить сопротивление консервативно настроенных членов семьи, для которых появление в Байрейте дирижера — не немца или австрийца — было равносильно совершенно невиданного святотатства. Получив наконец долгожданное приглашение, Тосканини приехал в Байрейт. Приступив к репетициям с местным оркестром, маэстро пришел в ужас. Привыкшие к своей непогрешимости оркестранты в открытую роптали и от души поносили этого «надутого *italiannele*», который, как всегда, дирижуя на память, не прощал им ни одной ошибки.

Под руководством Тосканини в 1930 году на фестивале были поставлены оперы «Тристан и Изольда», «Тангейзер» и «Парсифаль». Все шло хорошо. Но в это время в возрасте 61 года скончался Зигфрид, и управление всеми делами фестиваля перешло в руки его властной жены Винифред. Тосканини пришлось не по душе ее методы руководства, и он отказался приехать в Байрейт на следующий фестиваль, который должен был состояться в 1933 году. Но вскоре Винифред поняла, кого она теряет, и употребила всю свою власть и связи, чтобы вернуть маэстро. Тосканини согласился приехать на очередной фести-

валь, но... в его жизнь опять ворвалась политика.

В Германии к власти пришел Гитлер.

Тосканини вместе с другими музыкантами, работавшими в Соединенных Штатах, подписал письмо, в котором выражал свой протест германскому правительству в связи с проводимой «новой расовой политикой». В печати появилось высказывание А. Тосканини: преследование нацистами евреев-музыкантов заставляет его подумать дважды перед тем, как отправиться на традиционный фестиваль в Байреит. А здесь его с нетерпением ждали, тем более что в феврале 1933 года, в пятидесятую годовщину со дня смерти Вагнера, маэстро был провозглашен почетным гражданином города Байреит.

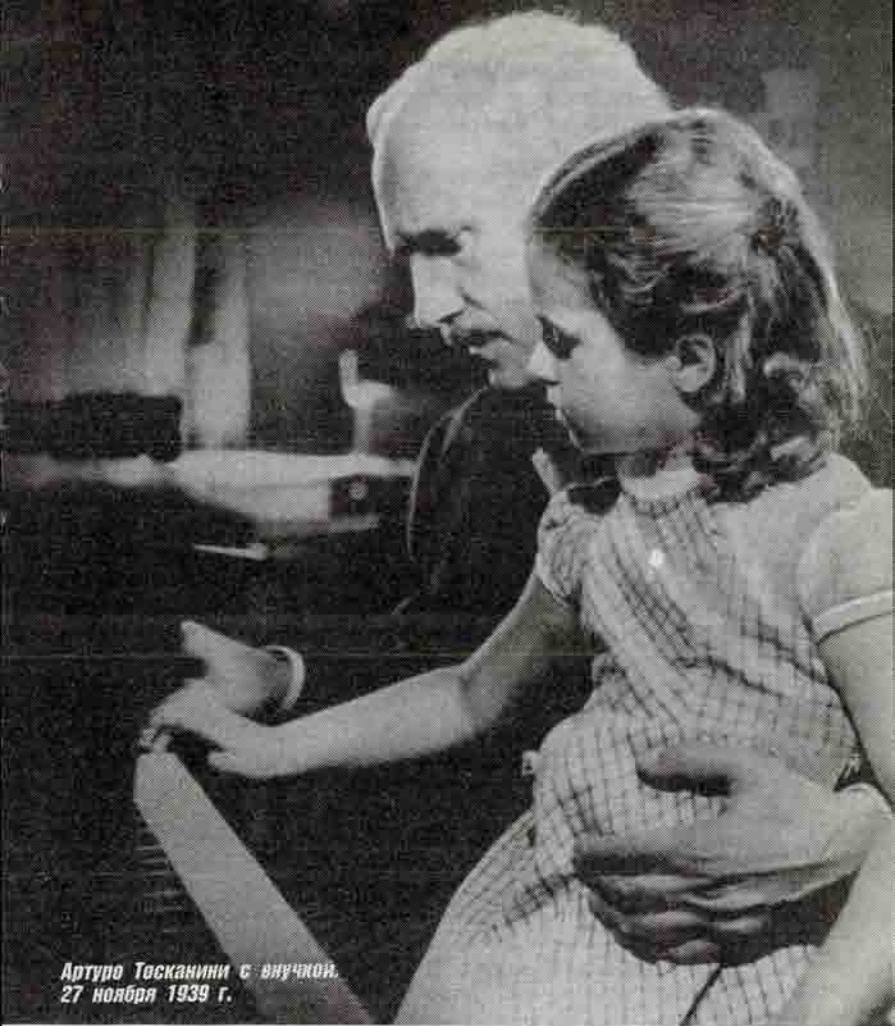
Но никакие протесты, естественно, не изменили государственной политики Германии, и Тосканини известил Винифред о своем решении больше не принимать участия в Байрейтских фестивалях, хотя такой шаг «и отзывался острейшей болью в сердце».

1 апреля 1933 года из Нью-Йорка на имя Гитлера была направлена телеграмма, в которой выражался энергичный протест против объявления в Германии бойкота евреям-музыкантам. Первую подпись поставил Артуро Тосканини.

Спустя три дня в газетах появилось распоряжение руководства Немецкого радио: «Настоящим уведомляется, что все лица, подписавшие письмо фюреру, лишаются права на музыкальную деятельность на территории рейха. Их сочинения изымаются из всех радиопрограмм, пластинки — из продажи, и их концерты никогда не будут транслироваться немецкими радиовещательными средствами».

148
Пластинки Тосканини конфисковали в первую очередь, а записи концертов и опер на Берлинском радио уничтожили. По словам дочери Вагнера, Гитлер впадал в истерику всякий раз, когда в его присутствии произносилось имя маэстро, и этот синдром активного неприятия с ним разделял его верный друг и соратник — дуче.

Муссолини вместе со своими партийными друзьями не мог простить Тосканини всемирную славу, которая позволяла маэстро сохранять независимость, свободно передвигаться по Европе и демонстрировать полное пренебрежение к фашистской диктатуре. Однажды они решили его проучить. В мае 1931 года, когда маэстро входил в здание «Театро коммунале» в Болонье, на него напала группа чернорубашечников Муссолини и нанесла ему побои за то, что и на этот раз гордый дирижер отказался перед началом концерта исполнять «Королевский марш» и «Джювинеццу». Этот инцидент, однако, вызвал скандал международного масштаба, и правительство Муссолини подверглось осуждению во всем мире за провоцирование подобных действий. Тосканини к тому же стало известно, что в сейфах политической полиции фашистов хранится более ста доносов на него лично и его близких друзей. Он понял, что больше не сможет работать на родине, по крайней мере пока там правит фашистская диктатура. Вплоть до 1938 года он проводил отпуск в Италии, но теперь такое пребывание в стране было связано с определенным риском как для него, так и для членов его семьи. Правительство не



Артуро Тосканини с внучкой.
27 ноября 1939 г.

спускало с Тосканини глаз, и тому, кто выражал по отношению к маэстро открытую симпатию, реально грозило тюремное заключение.

Некоторые правительственные документы, однако, свидетельствуют, что летом 1934 года Муссолини из-за соображений престижа предпринял попытку примириться с Тосканини. Дуче лично предложил маэстро возглавить Римский Королевский театр и взять в свои руки контроль над всеми театрами Италии. Но Тосканини с отвращением отклонил заманчивое предложение. Когда же на него оказали давление и сильные мира сего настойчиво подчеркивали, что эта идея исходит от самого Вождя, упрямый старик гордо бросил: «А мне наплевать!» За его летней виллой на одном из островков посреди озера Лаго Маджо

ре была установлена слежка. Его дом стал прибежищем для антифашистски настроенных художников, писателей, музыкантов. У него здесь подолгу жили Эрих Мария Ремарк, Рудольф Серкан и братья Буш, которые бежали из нацистской Германии.

В сентябре 1938 года Муссолини отдает приказ отобрать заграничный паспорт у Тосканини и его супруги. Министр иностранных дел Голлеацо Чиано, свояк дуче, записывает в дневнике: «Дуче очень рассержен тем, что многие итальянцы и прежде всего принцесса Пьемонтская (Мария Жозе, супруга наследного принца Умберто. — Прим. авт.) ездят в Люцерн на вагнеровские концерты А. Тосканини. Изъятие у него паспорта связано с подслушанным разговором по телефону, в котором Тосканини ругал дуче за его антисемитскую политику, назвав его «отрыжкой средневековья».

В ответ на вопросы возмущенной американской общественности, с нетерпением ожидавшей выступлений маэстро в октябре в Нью-Йорке, Муссолини сообщил, что готов вернуть чете паспорта, если только А. Тосканини лично обратится к нему с такой просьбой.

Утверждают, что А. Тосканини ответил на это привычно и односложно: «Мне наплевать!»

В западной прессе назревал крупный скандал, и Муссолини, не дождавшись проявления слабинки у старика, пошел на понятную и распорядился вернуть супругам выездные документы. В первых числах октября 1938 года они уехали из Италии...

Вояж в Палестину

За пять лет до этих событий его решение не приезжать в Байрейт, пока у власти находятся нацисты, заставило принять предложения вначале от Венского филармонического оркестра, а затем и Зальцбургского. Для Тосканини, вероятно, работа с оркестром в Зальцбурге, расположенном всего в семи километрах от немецкой границы, стала определенным методом протеста против нацистской политики. Он должен был приехать туда и в феврале 1938-го, но, узнав, что тогдашний австрийский канцлер Карл фон Шушниг смирился с ультиматумом Гитлера, направил организаторам фестиваля телеграмму, в которой с неодобанием отказался от своего участия в нем.

Не прекращая своей борьбы с нацизмом, Тосканини, по предложению известного общественного деятеля Губермана решил организовать в Палестине первоклассный симфонический оркестр, состоящий только из музыкантов-евреев, тех, кто подвергся нацистским преследованиям в Европе. Ему удалось найти для этого необходимые средства. Еще в декабре 1936 года он за собственный счет отправился в Палестину, чтобы лично дирижировать первыми концертами созданного по его инициативе Палестинского симфонического (теперь — Симфонический оркестр Израиля). Это был акт проявления его солидарности с безвинными жертвами чудовищной политической системы. Он и слышать

ничего не хотел об авторском вознаграждении или о компенсации затрат на неблизкую дорогу.

Во второй раз он отправился туда в 1938 году. Новую его антифашистскую акцию с благодарностью восприняли во всем мире, особенно в еврейских общинах, разбросанных по всем континентам.

...Тосканини также принял предложение дирижировать оркестром в тех странах, где еще не был, — в Швеции, Франции, Голландии и прежде всего в Англии, где с 1936 по 1939 год с большим успехом дал несколько концертов с симфоническим оркестром Би-би-си.

Теперь, постоянно проживая в Соединенных Штатах, он стал иммигрантом. Ему уже было семьдесят лет, а фашисты, судя по всему, еще крепко удерживали в своих руках бразды правления на его родине. Существовала вполне реальная вероятность, что ему уже никогда не удастся вновь увидеть свою прекрасную Италию...

В далекой Америке

Но и в печальный период своего политического изгнания он не прекращал музыкальной деятельности. В этом, по собственному признанию, он видел смысл своей жизни. Он стал первым и единственным дирижером симфонического оркестра крупнейшей в Америке радиовещательной корпорации — «Нэшнл бродкастинг компани» — Эн-би-си. Первый концерт оркестр под управлением Тосканини дал в помещении центра «Рокфеллер» в Нью-Йорке в рождественскую ночь 1938 года, и его сотрудничество с оркестром продолжилось до его окончательного ухода с дирижерского поста в 1954 году в возрасте восьмидесяти семи лет...

Все годы войны он прожил в Америке, в Нью-Йорке. Когда приехал сюда окончательно, то осенью 1939 года вступил в «Общество Машины», основанное группой итальянских иммигрантов социалистического толка, которые выступали за установление в Италии республики после разгрома фашизма. Ему даже предложили возглавить общество, но он отказался от такой чести, заверив соотечественников в своей полной и постоянной поддержке. Вскоре семья Тосканини переехала из отеля «Астор» в большой дом в окрестностях Нью-Йорка, в Ривердейл.

Тосканини со своими друзьями оказывал большую помощь беженцам из европейских стран, доставал для них въездные визы, находил работу, жилье в США. Когда Соединенные Штаты вступили в войну с Германией, он организовал многочисленные благотворительные концерты, сборы от которых передавались различным учреждениям Красного Креста на нужды союзников в борьбе с гитлеризмом.

19 июля 1942 года А. Тосканини дирижировал в Нью-Йорке на премьере Седьмой симфонии Д. Шостаковича. В те трудные военные годы доставить в Америку партитуру оказалось далеко не простым делом. Она была вывезена из блокадного Ленингра-

да, микрофильмирована и переправлена в Тегеран, а оттуда через Каир — в Нью-Йорк.

Вот что писал маэстро по этому поводу Леопольду Стоковскому: «Не думаешь ли ты, дорогой Стоковский, что будет интересно для любого, и для тебя в том числе, услышать, как старый дирижер, один из первых артистов, которые мужественно боролись с фашизмом, сыграет сочинение молодого русского композитора, настроенного против нацистов? У меня в жилах нет ни капли славянской крови — я простой, истинный латинянин. Тем не менее я уверен, что смогу это сделать, с любовью и очень честно...»

Но у некоторых итальянцев в это время были иные представления о чести. В связи с исполнением «Ленинградской симфонии» в газете «Мессаджеро» появилась статья, в которой знаменитого дирижера обвиняли в «очернении Италии перед ее заклятым врагом». Она была подписана неким Тито Сильва Мурзино. Как выяснилось, под этим псевдонимом укрылся родной сыночек итальянского диктатора Витторио Муссолини.

25 июня 1943 года А. Тосканини с оркестром записывал в студии программу из произведений Д. Верди. Дирижер с известной певицей Гертрудой Риблой уже покинули сцену после исполнения знаменитой арии «Pace, Pace, O Dio» (Мир, мир, О Боже) из «Силы судьбы», как вдруг в студии объявили: Муссолини свергнут. Тосканини вне себя от радости бросился бегом на сцену и там, сцепив руки и воздев их к небу в знак благодарности Богу, шептал молитвы. Все присутствовавшие, казалось, сошли с ума от радости. Они чуть не разнесли всю студию...

Тосканини еще не знал, что на стенах «Ла Скала» появились большие афиши, на которых были написаны только четыре слова: «Viva Toscanini! Toscanini Vitorm!» («Да здравствует Тосканини! Тосканини, возвращайся!»)

Но он вернулся в Италию только после окончания войны, после того, как был свергнут фашизм в Германии, а в Италии в феврале 1946 года был проведен общенациональный референдум, положивший конец фашиствующей монархии и провозгласивший республику.

...Об Артуро Тосканини написано около тридцати монографий. Сказано столько хвалебных слов, окрашенных изысканной риторикой... Не станем их копировать. Наша цель гораздо скромнее: напомнить читателям основные вехи его жизни и рассказать о том, как этому великому музыканту, отнюдь не политику, удалось пройти по долгому пути своей извилистой карьеры, ни разу не изменив своим принципам, не поступившись своими убеждениями, ни разу не заключив сделку с совестью, не запятив себя послушным конформизмом.

Освобождение и смерть

В «Ла Скала» он пришел сразу после того, как самолет его совершил посадку в Милане в апреле 1946 года. Он пришел

сюда, чтобы посмотреть, как идет восстановление здания, сильно пострадавшего из-за бомбардировок союзнической авиации в августе 1943 года. Этот высокий, немного сторбленный старик бродил по пыльным, загроможденным мусором коридорам, вероятно, вспоминая, как ровно шестьдесят лет назад его сопровождали на эту сцену чета Фигнеров для прослушивания, как впервые встал здесь за дирижерский пулт, как начал репетиции к своему первому сезону в «независимом» «Ла Скала», где он был «полномочным директором», как он давал здесь свой последний прощальный концерт с Нью-Йоркским симфоническим оркестром. Когда он спускался со сцены, кто-то из присутствующих предложил подержать его шляпу.

— Спасибо,— ответил маэстро,— но я не примадонна и даже не баритон...

Он оставался все тем же, ни от кого независимым Артуро Тосканини.

Первый послевоенный концерт под его управлением прошел в «Ла Скала» 11 мая 1946 года. В театр набилось вдвое больше народа, чем было мест. Присутствовали члены правительства и лидеры основных политических партий. Концерт, который состоял только из произведений итальянских композиторов — Россини, Верди, Бойто и Пуччини,— передавался по радио на всю страну.

Когда почти восьмидесятилетний Тосканини, как всегда, ровно в девять вошел в зал, все вскочили со своих мест и устроили ему бурную овацию. Раздавались крики: «Тосканини! Тосканини!» В глазах многих зрителей стояли слезы. Наконец-то все ужасы фашистской диктатуры, невыносимых страданий и лишений позади! Все вновь могли беззаботно внимать дивным звукам, рождаемым человеческим гением. Когда стих, растворился под сводами последний аккорд, шквал аплодисментов продолжался тридцать восемь минут. Музыканты оркестра преподнесли маэстро Тосканини золотую медаль, на которой были выбиты слова: «Маэстро Тосканини, который был всегда с нами,— от его оркестра».

Его дальнейшие концертные программы на родине включали произведения Д. Шостаковича, Д. Кабалевского и Гершвина — композитора, запрещенного в Италии во время войны...

Наконец пришло освобождение, и теперь нужно было работать, не жалея себя. И он работал. В Америке, в Европе... Но годы брали свое. Силы заметно таяли...

16 января 1957 года Тосканини не стало. До своего девяностолетия он не дожил двух месяцев и девяти дней.

КОНКУРС

ДНОГО
СТИХОТВОРЕНИЯ

ВАСИЛИЙ ОСИНЧУК
ИЛЬШАТ ГИЛЯЗЕТДИНОВ
АЛЕКСЕЙ ТИМАТКОВ
ТАТЬЯНА ЗОБНИНА

ОЛЬГА ЗИМИНА
ГЕННАДИЙ ВОСТРИКОВ
ЮРИЙ КУЧЕРОВ
АННА ШАРАЕВА



154

ВАСИЛИЙ ОСИНЧУК,

29 лет, учитель,
Горловка

ПАМЯТИ БАБУШКИ

*...Голод. Очередь за хлебом.
Снег с дождем — всю ночь подряд.
На руке замерзшей видно:
49,50...*

*...Словно ветер, жизнь промчалась —
горьких лет пронесся ряд.
Вот и пенсию приносят:
49—50...*

*...Листья падают на землю,
шепча что-то, шелестят.
Над холмом могильным номер
4950...*

ИЛЬШАТ ГИЛЯЗЕТДИНОВ,

26 лет, наладчик,
Набережные Челны

ОЧИЩЕНИЕ

*Белым снегом — да по глазам,
Белым снегом — да по лицу!*

*Белым снегом... Ну кто сказал,
Что мне белое не к лицу?*

*Белым снегом — да окна вдрызг,
Белым снегом — да сердце воп!
Видишь: тысячи ярких брызг,
Что сливаются в обихий стон!*

*Белым снегом — по совести
Черным пятнам, чтоб криком — боль!
Хватит грязь на себе нести,
Очищаюсь под дикий вой!*

*Белым снегом — как сто чертей
(Мама, милая, помоги!),
Беселятся в груди моей
Обжигающие огни!*

*Белым снегом — да по глазам,
Белым снегом — да по лицу!
Белым снегом... Ну кто сказал,
Что мне белое не к лицу?!*

АЛЕКСЕЙ ТИМАТКОВ,

23 года, студент,
Москва



*Июльская рябая тьма
Съедает улицы, дома,
Не слышно шума электричек,
Прервавших на ночь свой разбег...
Весь город залит тишиной,
И слышно лишь, как за стеной
Мычит мучительный мотивчик
Застрявший в лифте человек.*

ТАТЬЯНА ЗОБНИНА,

25 лет, корреспондент,
Жигулевск



*Дарили нам лихие паруса,
Число их розно, цвет единый — белый,
Рвались, неуправляемые, как стрелы,
В такую даль, что шурились глаза.
Но на пути вставали острова,
Суля наивным странникам богатства,
Хотя лишь изредка рождались царства,
Из рук того, кто яхту — на дрова...
И вот осталось несколько бродяг,
Им чудный порт все реже нынче снится,*

*А может, и не ведают тот знак,
Что даст конец — тревожные ресницы.
Но с берега, завистливее пса,
Цепь сытости, рванув усилием новым,
Глядит толпа: белеют паруса,
Не видя снасти, мокрые от крови.*

ОЛЬГА ЗИМИНА,

20 лет, студентка,
Пермь

==

*Ты снова смотришь изумленно.
Ты снова морщишься слегка,
Срывая с губ незамутненных
Вкус хризантем и табака.
Но в лабиринт противоречий
Ни окунуться, ни понять:
Так безмятежно любят свечи,
За что им — быстро догорать...
И будут — в зыбкости объятий
Неуловимые следы,
Как будто я ушла невятным
Прикосновением воды.
А память ловит неумело
То прядь, упавшую с плеча,
То руки, губящие тело
С небрежной легкостью луча.
Но я нужна тебе — такая,
С непостижимостью причин:
Ведь с давних пор загадка, тайна,—
Одна она влекла мужчин!
И чьи-то губы летней ночью
К твоим прильнут наверняка,
Но ощутить ты в них захочешь
Вкус хризантем... и табака.*

ГЕННАДИЙ ВОСТРИКОВ,

22 года, грузчик,
г. Железнодорожный

НЕНУЖНЫЙ МИР

*Замок пуст, и дикие звери
Гордо бродят по этажам.
Я сегодня себе не верю,
И уж вовсе не верю вам.*

*Этот мир я любил, как дети
Любят сказки, ну а теперь...
Злой паук плетет свои сети,
Буйный ветер выломал дверь.*

*Черный ворон над замком кружит.
Этот мир был построен зря.
Если он никому не нужен,
То зачем убеждать меня...*

ЮРИЙ КУЧЕРОВ,

37 лет, инженер,
Казань

ФАРИД

*Он стоит, качаясь и кренясь,
под себя поджав по-птичьей ногу.
Будто бы вокруг — такая грязь,
что ему отрезало дорогу.*

*Что ему привиделось в пути?
То ль змея, то ль провод оголенный.
Иль поклялся с места не сойти —
и стоит, заклатьем пригвожденный.*

*Его кормит с ложки по ночам
высохшая блеклая старуха.
Дрожь проходит по его плечам
от любого окрика и звука.*

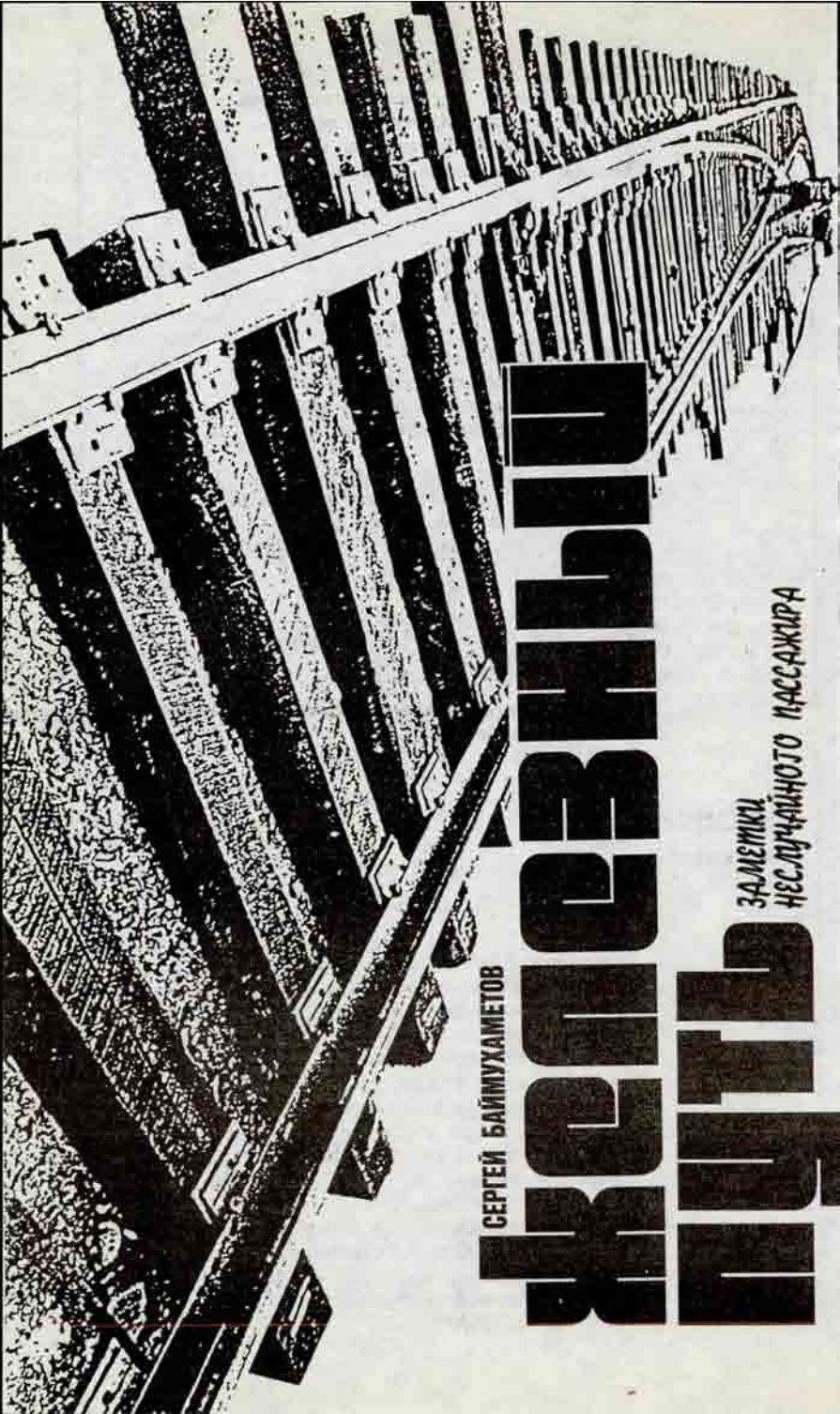
*И не ест он толком и не спит,
за окном скользят зима и лето...
День и ночь измученный Фарид
Балансирует над хрупкою планетой.*

АННА ШАРАЕВА,

17 лет, студентка,
Тверь

≡

*Возвращаясь в детство, вспомни
Замок на песке.
За ночь замок смыли волны —
Слезы на щеке,
Словно капли, что оставил
Теплый летний дождь,
Как роса, что утром ранним
Осторожно пьешь.
Возвращаясь в детство, вспомни
Миллионы звезд,
Тихий ропот океана
В полудреме грез.
Возвращаясь в детство, вспомни
Парус вдалеке
И таинственный, огромный
Мир в твоей руке.*



СЕРГЕЙ БАЙМУХАМЕТОВ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПУТЕСЛАВ ЗАМЕЧКИ НЕСЛУЧАЙНОГО ПАССАЖИРА

Три цвета России

Проехав страну от Москвы до Владивостока, могу с уверенностью сказать, что природа окрасила Россию в три цвета.

До Сибири она желтая от пушистых одуванчиков.

Где-то у Новосибирска, за Барабинском, начинаются алые жарки. Полыхают ими поля и перелески, склоны холмов и оврагов. Жарки — национальная примета и национальная гордость сибиряков. Сколько помню себя, как только соберутся где-нибудь кулики да начнут свои болота нахваливать, сибиряк тут же вскакивает с одним и тем же возгласом: «А у нас — жарки! Целые поляны! Во!» Их еще здесь, в Сибири, называют огоньками.

А Дальний Восток, Приморье — это лилии. Изысканные бледно-лиловые цветы, вольно растущие в дикой природе...

Отчаянные мужики

Володя Бойко и Сергей Сабенгуз — одесситы. Родственники, женаты на сестрах. Правда, не знают, как это называется: не то шуряки, не то свояки.

Едут во Владивосток, на траулерный флот, чтобы на полгода уйти в плавание и вернуться домой обеспеченными людьми, потому что зарплату там дают еще и в долларах.

Володя — мастер-отделочник высочайшей квалификации. Все в его руках: и малярка, и столярка, и штукатурка, и плитка... У него всегда были высокие требования к уровню жизни. С юных лет знал: если женился, завел детей — так будь добр обеспечить семью так, чтоб полная чаша. Володя два раза на несколько лет уезжал в Норильск, правда, вместе с женой и сыном. И наладили

они жизнь. Причем жизнь общей, большой семьи — с братьями, сестрами, племянниками и дядьями. Они и квартиры поменяли на один район, чтобы поближе быть. Раньше их собирала вокруг себя мама Володи, потом — теща, а сейчас роль как бы старшей перешла к его жене Гале. Володя считает это главным: чтоб все вместе...

Сергей Сабенгуз моложе Володи лет на двенадцать. И характер у него другой. Володя спокойный. Сергей резкий, шумный, порывистый. Одним словом, кипучий одессит. Сергей — дипломированный штурман, закончил Одесскую мореходку. Но работал где угодно, в последнее время — шофером. Допуска в дальнее плавание ему не дали. Просто не дали, и все. У Сергея, русского по духу и паспорту, причудливейшая, одесская родословная. Один из его дедов был по национальности греком, которого в свое время арестовали и интернировали именно за то, что грек... Вот и весь секрет недопуска. А теперь, когда кончился режим коммунистов, дорогу в дальние моря Сергею перекрыли уже «капиталисты»: за каждое плавание в Одессе — взятка; не заплатишь — не получишь документов.

Они уже и не злятся, а хохочут, называют и старые, и новые порядки одним словом — идиотизм.

— А помнишь, — говорит Володя, — как в семидесятые годы у евреев, уезжающих в Израиль, требовали характеристику с места работы?

— Ну и что? — не понимаю я.

— Да как же! — хохочет Сергей. — Это ж получается: если он хороший производственник, политически зрел и морально устойчив, тогда пусть мотает в свой Израиль. А если пьянь, рвань, бездельник, тогда не пустим, такие нам самим нужны!

Действительно...

Новые времена и украинские купоны свели на нет все старания Володи и Сергея. Все заработанное за десять лет в Норильске, за годы трудов в Одессе в один миг превратилось в пыль.

Но они не сдались. Подумали, прикинули — и пошли в рыбаки. Конечно, едут не на пустое место: там у Володи сват, его сын живет во Владивостоке. Но все равно — не каждый решится.

Все-таки они отчаянные, упорные мужики. Добытчики.

Земля

Поезд идет над красивейшей рекой Сылвой. Это уже пермская земля. Река прямо под нами, а на той стороне, на противоположном берегу, вздымаются плавные горы. Предуралье. Но между горами и рекой есть небольшое пространство, на котором раскинулись маленькие деревушки, пансионаты, дома отдыха, заводские профилактории, туристские базы. Не очень роскошные, но добротные, красивые. И все вокруг них прибрано, более или менее ухожено. И в деревушках порядок, аккуратно разбиты сады, огороды.

Однако к земле и на этом берегу, по которому идет поезд, тоже приложены руки человека. Тут ее совсем мало, почти нет. Когда железнодорожная линия отходит от берегового обрыва метров на тридцать, на сорок, между ними образуются неширокие клинья ничейной земли. Ни один из них не пустует, все возделаны, все окружены деревьями.

И тут мне в голову пришла некая провокационная мысль: а может, нам надо, чтобы земли было мало? А когда ее глазом не охватить да вся государственная, тогда мы и имеем то, что имеем...

Понимаю, что мешаю кислое

с пресным, что беда не в изобилии земли, а в том, что она государственная. Была б земля в руках людей — не лежала бы в запустении...

И все-таки не уходит, въелась в меня эта мыслишка: а может, нам надо, чтобы земли было мало?

«Санта-Барбара»

Поезд — невиданной чистоты. Кондиционеры работают, дорожки и коврики в купе пылесосятся, в титане всегда бурлит кипяток. Наша проводница Валя весь день при деле: моет, чистит, протирает. А ее напарник Саша спит. Не потому, что «эксплуатирует» Валю, а потому, что взял на себя ночные дежурства. Фамилия Вали — Хардыбакина, а Саши — Быковский. Они муж и жена. И даже из одного района Тульской области — из Белёвского. Соседи, можно сказать. Но раньше друг друга не знали, познакомились здесь, в Москве. Жизнь у них налаженная: пятнадцать дней в пути до Владивостока и обратно, пятнадцать дней дома. Вначале заезжают на станцию Узловая к Сашиным родителям, живут там два-три дня, а потом — в деревню Кализна, домой, к Валиной маме.

Да не прозвучит это в стиле стародавних сюсюканий «о людях труда», но Валя и вправду всю жизнь мечтала быть проводником. В восемь лет впервые поехала с мамой в Тулу. Это было открытие громадного мира, и больше всего в нем поразили девочку проводницы, хозяйки громадных поездов, люди, которые всю жизнь путешествуют! В пятнадцать лет она было заикнулась о курсах, но мать не отпустила. И Валя пошла в кулинарный техникум, закончила, даже сделала карьеру, работала зав. столовой

не где-нибудь, а в самой Туле. Казалось бы, чего еще надо. Однако, как только появилась возможность, Валя все бросила и помчалась в Москву... И правильно сделала: встретила здесь Сашу.

Валя и Саша хоть и не столь редкое, но исключение. В основном же в проводники идут люди не очень, скажем так, благополучные. Или одинокие женщины, или же семейные мужчины, у которых дома обстановка такая, что они рады находиться от него подальше. Потому и держатся за кочевую работу. Есть в ней свои преимущества, много свободных дней. А сложности — они, как у всех. Раньше проводников кормили за полцены в ресторане, а теперь уже нет... Хорошо хоть электроплитки поставили, можно готовить. Ну, само собой разумеется, что после каждого рейса проводники доплачивают из своего кармана по две-три тысячи рублей. Народ ведь такой: обязательно что-нибудь сломает, вывернет, украдет. А еще тревожит всех здоровье. Ведь они полжизни проводят под контактным проводом высокого напряжения. Как это скажется, никто толком не знает...

Наверно, Валя с Сашей со временем подыщут себе другую работу. Особенно если появится ребенок. Второй. А первый ребенок у них — восьмилетняя Юля. На самом деле она Вале племянница, дочь брата. Семья у брата была большая, с детьми от первого брака жены, и потому Юля с младенчества жила у бабушки. А потом брат разбился на мотоцикле, невестка вышла замуж за другого человека, родила... В общем, Юля теперь зовет Сашу и Валю папой и мамой. Но и родную мать знает — она к ним приходит.

Мы говорим с Валей о судьбах других людей, наших знако-

мых, сослуживцев. Судьбах сложных, иногда закрученных в такой сюжет, что ни в каком кино не увидишь. И смеемся: да если узнать историю жизни каждого второго нашего человека, хотя бы в этом же вагоне, то с ними никакая «Просто Мария» и никакая «Санта-Барбара» не сравнится!

Так ведь про далекое, про чужое вроде бы интересней...

Москва дорожная, железная...

Ехать по железной дороге — значит ехать по задворкам страны. А у нас и задворки везде одинаковые — что на Дальнем Востоке, что в Средней Азии. То есть что на Транссибе, то и на Турксибе.

Вдоволь насмотрелся я и долго еще буду смотреть на сырые, покосившиеся домики, поваленные заборы и плетни, вековечные лужи, поросшие камышом, на уголь и шлак вместо земли и травы, битые кирпичи, свалки железобетона с торчащими прутьями арматуры, ржавые бульдозеры и канавокопатели, пятилетку назад застывшие у вырытых ими же ям. На Урале видел надпись мелом на длинной ржавой стене железного гаража: «Маня! Уехал за керосином, буду завтра!» Видимо, свой брат, железнодорожник, на соседнюю станцию подался. И оставил записку жене, тоже железнодорожнице.

А самое главное, у людей, бредущих по своим делам, в их глазах, обращенных в окна вагонов, явственно читается что-то вроде привычной тоски и зависти, как будто те, что за вагонными стеклами, за занавесками, какие-то другие, из другой, красивой жизни, или же, наоборот, уезжают туда, где другая, красивая жизнь, где хорошо, где нас нет.

Где же нам хорошо, люди?

Скорость

Поезд — пожиратель пространства! От Перми до Тюмени он мчится всего с одной остановкой — в Свер... извините, Екатеринбург!

Пассажиры — всегда дети. Любое путешествие превращает взрослых в детей. Так и мы, три здоровых мужика, один из нас уже дед, стали определять скорость. Вначале по секундомеру и телеграфным столбам, расстояние между которыми вроде бы пятьдесят метров. Все при деле: один считает столбы, другой — секунды, а третий руководит.

Потом стали считать столбы километровые. Потом вычислять по времени и расстоянию между двумя станциями, поскольку и километраж у меня был, и расписание. И так крутили и эдак, а все получался смешной результат — 60 километров в час.

Наконец я догадался и поделил расстояние между Москвой и Владивостоком, 9334 километра, на эту скорость и получил в итоге — 152 часа. Точно! Именно столько по расписанию и идет наш поезд.

И тут мы захохотали! Это ж надо собрать вместе трех таких туповатых мужиков! Ведь если известно расстояние до Владивостока, известно время в пути, так чего проще было определить среднюю скорость, а не считать столбы! Снова поделили и получили — 60 километров в час. Значит, все верно? Мы как-то приуныли. Это что же выходит? «Двадцатый век — век скоростей!» А наш лучший, самый быстрый поезд России идет со скоростью 60 километров в час? Вот тебе и «век скоростей». А другие, не такие «скорые»? А просто пассажирские? Они, получается, вообще плетутся по тридцать-сорок километров в час.

В конце концов мы утешились

тем, что главное — не скорость, а непрерывность, постоянство движения. Философы!

Как работали наши прадеды

Когда речь идет об истории Транссиба, не стоит удивляться разночтениям. Здесь нет окончательных дат и даже устоявшихся названий нет. Так, например, разные источники по-разному определяют сам Великий путь. Одни Транссибом считают дорогу от Москвы до Владивостока (9334 км), а другие — от Челябинска до Владивостока (7000 км). Если быть исторически скрупулезным, то, наверно, более точны последние. Все-таки дорогу через Европейскую Россию Транссибом можно назвать с очень большой натяжкой.

Великий Транссибирский путь длиной 7 тысяч километров построили за восемь лет. Мы три тысячи километров БАМа вымучивали десять лет да так еще толком и не вымучили, а наши прадеды век назад при тогдашнем уровне науки и техники гигантскую действительно дорогу века возвели за восемь лет! Хотя, как я говорил вначале, есть разночтения, есть разные источники. Твердой даты окончания пути нет. Некоторые считают, что окончанием стройки надо считать 1903 год, некоторые — 1906-й, когда пустили поезд по Кругобайкальской дороге (до этого через Байкал поезда переправляли на специальных паромках). Но в любом случае это грандиозное строительство было совершенно в невиданно краткие сроки.

А вообще неудивительно ли, как в России все (все!) вдруг возникло за какие-то полвека, с 1850 по 1900-й? За каких-то пятьдесят лет крупнейшие промышленные центры европейской России связал

железный путь и завершилась сия грандиозная история созданием Великого Транссиба. А электричество, телеграф, телефон, городской транспорт?! В чем секрет? Безусловно, в мощном движении, которое называлось развитием капитализма в России. И в иностранном капитале. Да-да, в том самом. И телефон, и телеграф, и электричество, и трамвай в Москве и Петербурге возникли моментально, в течение десятилетия, исключительно при мощных вложениях европейского капитала. А создатели заводов, концернов, все эти Симменсы, Шуккеры, Гужоны, Нобели, Михельсоны — они ведь тоже не под нашими осинами выросли... И, наконец, Великий Транссиб был построен на деньги знаменитого французского займа.

Сейчас, когда вновь зашла речь об иностранных инвестициях в нашу страну, некоторые горячие головы, не обремененные чтением книг и элементарным знанием истории, кричат: никого нам не надо, мы сами с усами, не продадим Россию, вспомним, как раньше у нас все было свое и только свое! Нет, та Россия, к которой они апеллируют, создавалась-то как раз общими усилиями капиталистов всех стран Европы. И ничего в этом страшного, как выяснилось, не было. Никто Россию не «продал». Любой капитал, вложенный в Россию, тотчас же становился российским капиталом. Только и всего.

Восстание

Ночью проехали Тюмень, а ранним утром, в три часа по московскому, в шесть часов по местному времени, остановились на станции Ишим. Это маленький город в Тюменской области, на Западно-Сибирской равнине, в Ишимской степи. Плоский город на плоской

земле. Населения — тысяч семьдесят. До восемнадцатого века он назывался Коркиной слободой.

Этот неприметный и мало кому известный город был в 1921 году одним из центров самого кровавого восстания против Советской власти. Опять же — восстания неизвестного. Иногда и кое-где встречаются глухие упоминания о некоем «кулацком мятеже», и все...

А суть в том, что, поставив Центральную Россию на грань голодной смерти, большевики тотчас же обратили взоры на Западную Сибирь и Северный Казахстан: вот где можно взять хлеб и мясо. А брали его тогда просто: посылали солдат. Называлось — подразверстка. Но сибирский-то мужик — человек вольный, он еще не был замордован так, как российский. Естественно, он взялся за вилы и обрезы. Восстание вспыхнуло моментально, чуть ли не сразу во всех городах и селах. Это была крестьянская война на фронте протяженностью от Омска и аж до Челябинска. Ну, по российским масштабам это все равно, что гремела бы война на территории от Москвы до Белгорода. Неизвестная война. Тамбовский и Кронштадтский мятежи в центре, их не утаить, а тот, далекий, замолчали. Но я встречал в исторических источниках невнятные, глухие упоминания о том, что это Сибирское восстание больше всего напугало Ленина и больше всего повлияло на замену подразверстки продналогом и вообще на переход к нэпу. Здесь есть своя логика. Если Тамбов и Кронштадт большевики еще могли как-то объяснить «тлетворным воздействием» эсеров, то сибирскому-то мужику они все были до фонаря, да и поди найди еще там живого эсера. Значит, просто довели. Значит, надо менять...

В редких оставшихся свидетель-ствах, прошедших сквозь идеоло-гическую мясорубку, большевист-ские комиссары изображались го-лубями, а мужики, «кулаки» — зверьем с дрекольем. Пройдет время, вспомнят здесь свою исто-рию и начнут, как водится, уже из повстанцев делать святых с хоруг-вями, свечками и елеем на устах.

А лютовали все. Ох, как люто-вали! Например, Сибревком издал приказ, по которому жители окре-стных сел в радиусе десяти кило-метров жизнью отвечали за сох-ранность железной дороги и свя-зи. То есть какая-то банда взрыва-ла дорогу, а карающий меч власти обрушивался на... жителей ближ-них сел. У Красной Армии террор был, так сказать, организованный, там индивидуальными зверствами не занимались. А повстанцы — буйная стихия, там никто никому не был указом. И ремни из спин вырезали, и звезды, и глаза выка-льывали, и половые органы отреза-ли, и в прорубь живьем спускали, и голышом бросали замерзать в снежном поле, предварительно отрубив руки и ноги...

Какая так называемая идея мо-жет оправдать все это? Нет таких идей. И не должно быть. Ни крас-ных, ни белых, ни зеленых!

Зеркало

От начальника зависит очень многое, если не все. Я не знаю, кто начальник отделения дороги меж-ду Красноярском и Тайшетом, но станции на этом участке отличаются от всех мною виденных на долгом пути. Перроны там ровно заасфаль-тированы и чисто подметены, зда-ния оштукатурены, побелены и празднично, ярко окрашены. Па-лисадники обнесены ажурной бе-лой изгородью, за ними цветут под-стриженные яблони и вишни. На большой ли станции, на глухом ли

разъезде — стандарт один. Я видел разъезд, где два дома и один коло-дец, так там и колодец в глубине огорода огорожен узорной бетон-ной решеткой.

Другое дело, что рядом, за пер-роном станции, — покосившиеся, сгнившие заборы, какие-то халу-пы, сараи, свалки. Но тут уже кон-чатся власть и возможности на-чальника отделения дороги, и на-чинается наша родная, теперь уже как бы и бывшая, советская власть...

Пожалуй, одна из самых краси-вых и ухоженных станций на этом участке — Заозерная. Белая ажур-ная изгородь палисада, вдоль нее широкие лавки из деревянного бруса, такие, что под стать любому столичному парку, над ними, над лавками, свисают цветущие ветви яблонь.

А на одной лавке, среди чистого перрона, под сенью яблонь, ле-жит пьяный мужик. Да и не мужик вовсе, а уже дедушка. Но молодой еще, крепкий такой дедушка, бо-ровичок. Полное розовое лицо, се-дые короткие волосы. Одет чисто: глянцевые резиновые сапоги, си-ние хлопчатобумажные штаны, приличный серый пиджак. Но ле-жит он не вдоль лавки, а по пер-ек. На спине. Ноги касаются ас-фальта, а голова запрокинулась далеко на ту сторону. Конечно же, ему неудобно, плохо. Во сне он конвульсивно подергивается, го-лова чуть приподнимается и снова падает, ноги скребут асфальт. За-тем силы его иссякают, и он снова глубоко засыпает. Люди у вагон-ных окон гадают: удастся ли ему улечься вдоль и выспаться в тени яблонь. Сочувствуют: что же он поперек-то лег, вдоль-то бы как хорошо было. То есть, ни о чем другом и речи нет: ну, ладно, что пьян, ладно, что рухнул на глазах у всех и завтра девочки в школе будут говорить его внучке: а твой

дедушка вчерась на перроне валялся... — все это ладно, но коли уж так, то лег бы ты хоть вдоль лавки, а не поперек. Вдоль!

Ничего я не придумывал, ни к каким художественным образам не прибегал, я всего лишь скрупулезно описал то, что видел на маленькой станции Заозерная между Красноярском и Иркутском.

Мелло

Лето — оно ласковое, доброе. А в зиме есть что-то бесчеловечное. Вот едешь в поезде, за окнами — темень, за теменью этой — тоска российских снежных просторов. И вдруг — разъезд, полустанок, два домика, три огонька, фонарь на столбе, роняющий желтый свет на фиолетовые сугробы. И схватит вдруг сердце: люди живут! Как? Чем? Холодно в мире от простора, от безлюдья, от убогости и неустроенности жизни. Но от холода мира спасается человек только теплом другого человека. Теплом родных.

Никогда не забуду картину, промелькнувшую передо мной на разъезде Илиган, где всего-то два дома. На широкой скамье у палисадника, мирно и покойно глядя на проходящий поезд, сидела старая женщина в дождевике, наверно, бабушка. Поодаль от нее — женщина средних лет, наверно, ее дочь. Между ними уютно устроилась маленькая девочка, внучка. А к их ногам прильнула, как собачонка, маленькая пушистая палевая коза. Да, глухой разъезд, да, кругом безлюдные горы и тайга. Но им там было тепло.

Нижнеудинск — город нашей мечты!

Перед поездкой я высчитал, что Нижнеудинск стоит как раз посе-

редине пути от Москвы до Владивостока. Четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь километров! И, доехав до сего знаменательного города, сошел с поезда, остановился на сутки.

Река Уда разбивается здесь на два русла, и исторический, древний район Нижнеудинска расположен на большом, длиннющем острове, который соединен с Заречьем и современным центром четырьмя мостами. Вдали — горы, отроги Саян. Из любого дома открывается вид на реку, на маленькие живописные острова. Город аккуратный, компактный, ухоженный. На самом Острове, в Междуречье, где дома только частные, старые, каждая улица заасфальтирована, все тротуары заасфальтированы и подметены, цветы, палисаднички, покой, уют и чистота. Насмотрелся я за свою жизнь на российские города с населением в 60—70 тысяч человек. Это какое-то стихийное бедствие. Ну, понятно, потребности у городов большие, а бюджет районный. Пешком в них уже не походишь, а общественного транспорта еще нет, весной и осенью грязь по колено, летом — пыль до небес. А Нижнеудинск как будто явился из другого мира. Да, и основатели его были людьми рачительными и мастеровыми, и современные строители, и отцы города — настоящие хозяева, ничего не испортили, а только украсили и благоустроили.

Но вот что поразительно. Так случилось, что я там со многими людьми разговаривал, со встречаемыми и поперечными. Даже какие-то кружки образовывались на улицах. И нижеудинцы очень удивлялись моим восторгам. В основном же они, особенно молодые, отзывались о своем городке более чем пренебрежительно и называли его «большой деревней».

Это какая-то всеобщая российская зараза: не любить, презирать свои родные гнезда! А взоры обращать куда-то туда, где якобы «настоящая», «интересная» жизнь и прекрасные города.

Страна Тофалария

На юго-западе Иркутской области, в горах Восточного Саяна, лежит страна Тофалария. Населяет ее один из древнейших народов, история которого насчитывает тысячелетия, теряется в глуби времен. Тофаларов сейчас — около шестисот человек. По переписи 1979 года их было семьсот шестьдесят.

Малочисленный тюркоязычный народ с древнейших времен и ныне живет охотой. Издревле тофы поклонялись и ныне поклоняются лосихе. Причем беременной лосихе.

Тотем — медведь. До недавних еще времен тофаларские дети в люльках играли медвежьей лапой, которая оберегала их от злых духов. Последний тофаларский шаман умер в 1987 году.

В 1963 году учитель Алгызжерской средней школы Михаил Иванович Пугачев обнаружил в горах наскальный петроглиф с изображением лосихи. Петроглиф, который произвел сенсацию в научном мире и входит сейчас во все научные монографии по древней истории Сибири. За первым открытием последовали другие: «шаманские писаницы», наскальные рисунки у Миллионного порога на реке Уде, возраст которых — три тысячи лет.

Михаил Иванович Пугачев вырос в этой стране, среди тофаларов. Прожил с ними тридцать лет. Он один собрал уникальные материалы, собственно, создал музей

тофаларской истории и этнографии. Сейчас часть его экспозиции хранится в нижеудинском краеведческом музее, а большая часть — в двух комнатах общежития, где живет Михаил Иванович с женой и дочерью.

Судьба тофаларов — типичная судьба малочисленных древних народов, попавших в жестокий поток цивилизации. Их пытались в свое время приобщить к ней, к цивилизации, запретить охоту и сделать всех земледельцами. Но тофалары в каком-то смысле очень жесткий народ, сопротивляющийся всяким переменам. Да и власти опомнились, создали в трех тофаларских селах — Алгызжере, Нерхе и Верхней Гутаре — коопзверсовхоз. Естественно, с парткомом. Партком был, а больницы не было. Ее и сейчас нет.

Не надо скрывать, из всех зол цивилизации больше всего малочисленные народы Сибири и Севера поразила водка. И тофалары — не исключение. От полного вырождения или ассимиляции их спасают горы. Дороги нет, добираются туда вертолетами. Поговаривают, что в горной стране обнаружено золото. Если это так, если проложен туда дорогу, то древний народ исчезнет. Закроется еще одна страница истории Земли...

Пора, наверно, этот и подобные ему очаги древности выводить из-под какого-либо административного подчинения и отдавать их полностью под эгиду Академии наук. Иначе ведь будет поздно. (Справка редакции. Народности России, насчитывающие менее 2000 человек: саамы — 1900, эскимосы — 1500, удэгейцы — 1400, ительмены — 1300, кеты — 1100, орочи — 1000, ороки — менее 1000, нганасаны — 800, юкагиры — 800, алеуты — 500 человек.)

Офицеры

От Иркутска и почти до самого Владивостока моими попутчиками были два молодых человека. Как выяснилось в беседе — офицеры. Но в штатском. Ехали в один дальневосточный город в командировку. Очень приятные, спокойные, сдержанные, как и полагается офицерам. Я заметил: старший из них на всем долгом пути ни разу не выходил из купе на перрон. Младший (по возрасту) звал его прогуляться, проветриться, а тот — ни в какую. Вначале я думал: опасается за вещи, что резонно, потому что воруют в поездах нещадно. А потом стал предполагать, что они везут некую документацию и не дай Бог она пропадет...

Зовут их Андрееми. Младшему лет двадцать пять, старшему, пожалуй, тридцать. Мне они очень понравились своей обстоятельностью, серьезностью и редким сейчас, как мне кажется, чувством семьи. Как-то заговорил я с ними, что у них в Новосибирске наравне с машинами ценятся большие катера с каютами, со всем комплексом жизнеобеспечения. Новосибирцы уходят на них в низовья или в верховья Оби, проводят там отпуска с пользой для здоровья и с выгодой для семейного бюджета: ловят там и вялят рыбу, набирают и сушат грибы в несметных количествах, консервируют ягоды. В общем, промысел и отпуск одновременно.

Андреи согласились, что это так, а младший вдруг загорелся:

— Андрюх, давай и мы заведем катер, будем уходить в отпуска, отдыхать, купаться, рыбачить!

— Надо бы, — откликнулся старший. — Но только через несколько лет. Сейчас надо детей на ноги поставить, а поездки уж будут потом.

— Это точно, — согласился младший. — Сейчас не время.

Вот какие обстоятельные, серьезные, ответственные молодые люди.

На одной из станций я купил газету, где был президентский указ о том, что не надо брать в армию особо талантливых студентов из художественных, музыкальных и прочих творческих вузов. И, как водится по новой российской привычке, принялся ругать Президента: а кто, мол, будет определять талантливость, сколько драм, обид и махинаций вызовет этот указ! Пора уже вообще прекратить эту моду — брать из институтов в армию, неужели не ясно, что этим мы на корню подрубаем наше будущее!

— Это верно, — согласился Андрей-старший. — Но и без них нельзя.

— Как это так?

— Очень просто. Из институтов приходят наиболее толковые ребята, только они в состоянии освоить новые воинские специальности. А с остальными — мука, бесполезная мука. За все последние годы у меня только два солдата после десятилетки смогли работать на аппаратуре — один киргиз, а второй молдаванин. Так я их на дембель провожал, будто руки себе отрубал!

А потом Андрей-старший рассказал анекдот о том, как для армии выпустили специальный кубик Рубика в двух вариантах. Для офицеров — сплошь покрашенный зеленой краской. А для прапорщиков — тоже весь зеленый, но еще и не вращающийся, цельнолитой...

Бабушка хранит военную тайну

Валентина Сергеевна едет из Бийска, с похорон сестры. Теперь

ее с родным городом не связывает ничего, кроме памяти о жизни, памяти о родных. А ездить туда больше не к кому. В свое время ей так не хотелось уезжать из Бийска, тем более насовсем, но ничего не поделаешь: муж ее, «хозяин», «стал совсем плох», особый уход ему нужен, а она уже была не в силах. И тогда приехал зять из Хабаровска и увез их к себе.

— Вот так! — с удовлетворением говорит она. — Бывают сыновья плохие, а зятья хорошие!

И смеется, заразительно смеется. Она очень живая, подвижная, сухонькая бабушка, Валентина Сергеевна Краснослободцева.

— Зять у меня деловой! — гордится она. — А чем занимается, не скажу. У них, у деловых, это не положено. А без него, без зятя, как бы мы прожили? У меня пенсия-то — пять тысяч. А в Хабаровске столько килограмм колбасы стоит, правда, самой дорогой, для иностранцев!

— А почему пенсия такая маленькая?

— Да стажа у меня не хватает! Архивы потерялись, а свидетели, кто поразъехались, не найдешь теперь, а большинство поумирали. Теперь с концами...

— А где вы работали?

— Да везде! А больше всего — станочницей, на Бийском приборном заводе. Деталь одну точила, номер десять.

— Что за деталь?

— Это большой секрет! Когда на работу принимали, брали подпisku. Так что не могу я вам сказать!

Она снова улыбается. Старая школа. Старая закалка. Пусть прошли десятилетия, пусть и страны той нет, и война та миновала полвека тому назад, а бабушка строго хранит военную тайну. Правда, в конце концов выяснилось, что деталь та — для пушки.

Узнать бы, что это за пушка, в каком музее можно на нее посмотреть. Но она ведь и сама не знает, в глаза не видела. Детали небось делали на разных заводах, а сборку — вообще где-нибудь в других краях. Большой секрет...

Обо всем позаботилось государство: и о подписке, и о секрете, и о пушках. Только не о том, как будет жить на неполную пенсию его подданная, выжатая как лимон, всю жизнь и все силы отдавшая этому государству. Если архивы не сохранились, то государство, и только оно, в том виновато. Но ведь нет, человек должен биться головой об стену и доказывать, что он не тунеядец, что он в тридцатые, предвоенные, в военные и послевоенные годы где-то работал, а не бил баклуши, хотя и ему понятно, что в те годы простой рабочей девушке Вале Краснослободцевой спрятаться было некуда — неработающий «элемент» тогда изничтожали как классового врага.

И в конце концов, а если кто-то и не доработал положенных для стажа лет?! В первую очередь я говорю о нынешних бабушках. Разве мало того, что они вырастили детей, вырастили внуков? Это что — нуль целых нуль десятых — людей выкормить, вырастить и воспитать? Людей!

Впрочем, что я злось... Все же привычно, ясно и тоскливо, а я по-прежнему выхожу из себя при каждом таком случае. Государству всегда были нужны не люди, а та самая «деталь номер десять»... И только. Счастье, что времена изменились, что можно быть деловым, что Валентине Сергеевне попался как раз деловой зять, а то было бы в России еще двумя горемычными старостями больше: парализованный старик и его немощная жена с пенсией в пять тысяч рублей...

Убийца

Он едет в одном купе со старушкой, с Валентиной Сергеевной Краснослободцевой. Но она не знает, что ее сосед и попутчик — убийца...

Виктору — его зовут Виктором — двадцать восемь лет. Он маленького, очень маленького роста: люди, что с детства попадают в колонии, редко вырастают высокими — сказывается и скудное питание, и анаша, и вообще образ жизни. Весь покрыт самыми замысловатыми татуировками. Ну а лицо, лицо человека, по которому жизнь прокатилась всеми гусеницами всех своих танков. И тут, конечно, дело не только в бесчисленных шрамах.

— Тебе сколько лет? — спрашивает он. — Сорок три? А я выгляжу старше тебя, понял? Восемнадцать лет в зоне. Меня вот эти пацаны, — он кивает на своих дорожных дружков за дверью тамбура, — меня они батей называют, в натуре.

Виктору было десять лет, когда он убил зятя, мужа своей сестры. Недоглядел за их дочкой, своей племянницей, не то она упала и ушиблась, не то еще что. Зять его избил. Ночью маленький Витя ему, спящему, туристским топором отрубил голову.

Его сдали в спецшколу. Там он через несколько лет убил сверстника: не поделили власть над другими. И то же самое произошло в «малолетке», в колонии для малолетних преступников, куда его отправили из спецшколы после убийства. Тоже не поделил власть с тамошним «авторитетом» — убил.

Но ему было почти восемнадцать лет, и он угодил уже во взрослую колонию строгого режима под Ново-Бирюсинском. Где и отсидел полных десять лет, уже

без особых приключений. И вот сейчас едет во Владивосток к брату. Тот обещал приветить его, найти работу.

— Я все знаю! — говорит он мне. — Все читал! Когда пала древнеримская империя? Отвечаю: в 476 году новой эры! Кто был Юлий Цезарь? Кто был Александр Македонский? Кто помогал Гитлеру писать «Майн кампф»? Они не знают, — кивает он снова на дверь тамбура, — в сторону дружков. — А я знаю. Как началась сицилийская мафия? Кто был первым фаворитом Екатерины Второй? Все прочитал, было время...

Революционеры

В Забайкалье и на Дальнем Востоке очень чтят имена, память революционеров. Чуть ли не на каждой станции — бюст, бронзовая доска в честь того или иного деятеля миновавших бурных эпох.

Южная оконечность Байкала. Станция Слюдянка. Торгуют кедровыми орехами и омuleм по тысяче рублей за штуку. Мемориальная доска, на которой высечено: здесь 3 декабря 1906 года был схвачен и расстрелян Иван Васильевич Бабушкин, который вез из Читы оружие рабочим Иркутска.

Июнь в этих местах — еще не лето. От Байкала тянет холодом. Пронизывает до костей. Стоишь и думаешь: господи, какое же безумство, какая же идея, какой же фанатизм и какие жестокие ветра истории погнали сюда, на край тогдашней земли, сына вологодского крестьянина, питерского слесаря Ваню Бабушкина? Да так, что сложил он здесь буйную мастеровую головушку.

А дальше к Чите, на станции Петровский завод, названной так по старинному, с восемнадцатого века железоделательному Петровскому заводу — стела с нишами;

в нишах — бюсты декабристов, осужденных на вечную каторгу, сосланных сюда. Знакомые всем имена: братья Бестужевы, Муравьев, Лунин... И... еще одна очень известная фамилия, не то Анненков, не то Волконский, забыл... А рядом — Горбачевский, Вольф, Мозалевский. Кто они? Фердинанд Богданович Вольф — штаб-лекарь, умер в 1854 году, кажется, в Тобольске. Иван Иванович Горбачевский — подпоручик, умер в 1869 году, оставил после себя «Записки».

Александр Евтихievич Мозалевский — прапорщик, участник восстания Черниговского полка, умер в 1851 году.

Стела поставлена очень удачно, в углу перрона. На виду и в то же время не в проходном месте. Вокруг нее не толкуются очереди за пирогами, не кричат торговки. Пристанционная жизнь кипит в стороне, где продубленные ветрами и холодным солнцем женщины торгуют и пивом, и семечками, а главным образом — горячими варениками с картошкой. Именно здесь я их увидел впервые. И потом они сопровождали меня всю дорогу. На всем пути в три с половиной тысячи километров от Петровского завода до Владивостока на каждой станции торговали горячими варениками с картошкой. Какой-то фатальный продукт.

Обыденная жизнь шелестит мятыми газетами и подсолнечной шелухой на перроне Петровского завода. И со стороны, из глубины ниш, смотрят на нее неподвижными глазами братья Бестужевы, и Лунин, и Муравьев...

Байкал

Огибаем южную оконечность Байкала и несколько часов подряд идем вдоль его восточного

берега. Вернее, по его восточному берегу, по самой кромке. До воды — метров пять, иногда — десять-пятнадцать. Справа за окном — стеною горы, слева, под нами, рукой подать — озерные свинцовые воды.

Странные он чувства вызывает, Байкал. Например, никак не уменьшается в сознании, что перед тобой, в этой горной чаше, — пятая часть всех запасов пресной воды на планете.

Берега Байкала пустынные. Редко-редко увидишь костерок, людей вокруг, лодку на якоре да одинокого рыбака. И уж ни разу на всем пути не видел я, чтобы в озере купались. Нет и не бывает здесь веселых брызг, детских восторженных криков, женских визгов. В самые жаркие дни вода в Байкале прогревается до... пятнадцати градусов. А раз нельзя купаться, то нет и людей, нет тепла.

Безлюдны берега, но безлюдно и все пространство Байкала. На любой реке кипит жизнь: идут баржи, пыхтят буксиры, снуют моторные катера и лодки, проплывают теплоходы, тянутся плоты с лесом, ворочаются длинные шеи кранов. Здесь же нет ничего. Ни теплоходов, ни рыболовецких сейнеров. Пустынные воды.

Холоден, величествен и одинок Байкал.

Негостинная Россия

Взгляните на карту. Маленькая европейская часть России более или менее густо испещрена красными нитями железных дорог. А справа от Урала начинается громадный массив России азиатской. Это и есть земля неизведанная, земля недоступная, на которой поместятся несколько Европ сразу. И там нет ничего. Только по самому югу, по границе, робко тянется

тоненькая красная жилочка. Повторюсь: на территории, равной нескольким Европам, нет ни одной железнодорожной линии.

По плотности железных дорог (соотношение одного километра дороги к тысяче квадратных километров территории) бывший Советский Союз находится на двадцать втором месте «среди двадцати пяти «железнодорожных» стран. Позади нас только Австралия, Китай и Бразилия. С Китаем все ясно, Австралия — это не страна, а целый континент, а Бразилия — это амазонские джунгли.

Зато впереди — Турция, Чили, Пакистан, Индия, ЮАР, причем там плотность железных дорог превышает нашу вдвое-втрое. Что уж говорить о странах, которые называют высокоразвитыми. Например, в Германии плотность дорог выше нашей в двадцать раз!

Европа без городов

Удивительна забайкальская земля. Типичный пейзаж: между двух невысоких горных отрогов стелется узкая долина, поросшая соснами. Причем сосны стоят не сплошной стеной, а просторно, вольно, образуя царство могучих и раскидистых деревьев. И по долине этой течет красивая река, где вода вровень с берегами.

Реки извилистые, растекаются, разбиваются на два или три русла, образуют многочисленные острова, а затем вновь сходятся в единый поток. По всем признакам — ровная земля. Однако ж откуда такое бурное течение? Даже издали, с горного увала, по которому идет поезд, видно, как реки бурлят на всем течении, просто вскипают белой пеной.

И так — на всем пути от Улан-Удэ до Владивостока. Только растительность меняется: вместо сосен — маньчжурский орех, а вме-

сто гор — сопки. И редкие-редкие угрюмые с виду поселки, названия которых никому не знакомы: Зубарево, Зилово, Раздольное, Амазар, Уруша, Сквородино, Магдагачи, Ушуман, Шимановская, Серышево, Архара... Народ здесь в основном занят на обслуживании Транссиба. Расстояния огромные, населения мало, так что всем работы хватает. Ну и еще в старательских артелях, моют золото...

Городов здесь — городов в полном смысле слова как центров культуры, цивилизации — нет.

От Читы до Биробиджана — две с половиной тысячи километров! И на всем пути ни одного города! Представьте себе, что вы едете от Москвы до Омска и на вашем пути нет, нет Владимира, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Кирова, Перми, Екатеринбург, Тюмени, Кургана, Шадринска, Ростова-Ярославского, Глазова, Котельнича, Орехова-Зуева, Павловского Посада... Нет.

Или, по европейским меркам, это значит проехать от Москвы до Парижа через Белоруссию, Польшу, Чехословакию, Германию и не увидеть ни одного города! Европа без городов — вот что такое путь от Читы до Биробиджана!

Федор Сухов как выражение национального характера

Где-то за Ушуманом, на краю маленького поселочка, увидел усадьбу — и до сих пор она стоит у меня перед глазами. Дом большой — шесть (!) блестящих окон смотрят на мир только с одной стороны. Сложен из крупных бревен, выкрашенных свежей зеленой краской. Тут же — крытый двор, под железом, под ярким суриком. Ворота опять же зеленые, а железный козырек над ними

красный. Забор тоже зеленый, со светлыми ромбами. Дом стоит на взгорке, так что талые и дождевые воды стекают по склонам, а не скапливаются перед крыльцом в канавах и лужах, поросших осокой. Чуть ниже дома, не закрывая его и не затеняя, в линию вытянулись специально высаженные деревья. Между ними — зеленая трава.

Эх, остановиться бы, выпрыгнуть из поезда, узнать, что же за человек там живет? Только ведь и так ясно, что хозяин той усадьбы очень любит себя, своих детей, очень любит жизнь и любит жить так, чтобы все вокруг него было удобно, добротно, красиво. И точно так же знаю я, не выходя из поезда, что в поселочке том говорят о хозяине усадьбы как о куркуле... Зато остальные — «душа нараспашку». И заборы поваленные, и плетни сгнившие, и дворы пустынные и грязные — тоже нараспашку. И сарайчики из гнилых досок, картона и кусков старого кровельного железа, и лужи вековечные под окнами, в которых ползают тощие свиньи и дети, — это тоже нараспашку. Хорошо, что я за границей ни разу не был. Но ведь от телевизора никуда не скроешься. Увидишь иной раз какую-нибудь крошечную английскую деревеньку, вспомнишь свои — и...

О-хо-хо, почему же мы так не любим жить хорошо, так не любим и не хотим украшать место, где живем. Как будто на время здесь поселились, по случайности, в чужой развалюхе, а завтра же снимемся и переберемся... Куда? Когда-то Власий Дорошевич писал: «Что такое Россия? Собрание людей, каждый из которых недоволен тем делом, которое ему придется делать». И тем местом, где ему приходится жить, — добавил бы я. Но почему? Ответ на эти горькие вопросы у каждого свой.

Но я остановлюсь на двух, на мой взгляд, любопытных моментах.

Первый общеизвестен: семьдесят лет коммунистического эксперимента доказали, что провозглашенное «наше» не может стать «моим». А, наоборот, разрушает и последнее «мое». И я уже к своему кровному отношусь так же по-хамски, как и к «нашему».

А второй момент достаточно субъективен. Вспомним Федора Сухова, героя знаменитого фильма «Белое солнце пустыни». Смотрю я на него сейчас новыми, другими глазами и думаю: да куда же ты лезешь, Федя? Кто тебя просит? Тебя ведь жена дома ждет, любезная Катерина Матвеевна, детишки ждут, изба-то небось прохудилась, забор повалился, иди в свою деревню, займись своим хозяйством. Так ведь нет, наш Федя Сухов в каких только краях и среди каких только народов не тратит свою силушку, чем угодно занимается, но только не своим домом, не своей семьей, не своей деревней. Мне кажется, есть что-то в этом наблюдении...

Как бороться с пьянством

Владивосток не ошеломляет приезжего, подобно Москве, а ласково принимает. И тут есть масштабы, и тут есть чем поразить, хотя бы видом на залив Петра Великого, бухтой Золотой Рог и кораблями, от крейсеров до танкеров. Но все эти грандиозные картины скомпонованы удивительно аккуратно и уютно, не подавляют. Скажем, приходит поезд. С правой стороны — перрон железнодорожного вокзала. Но с левой стороны, тут же, — Морской вокзал, бухта Золотой Рог. Все рядом. И от этого почему-то становится уютно.

Как и любой приморский город, расположенный на холмах, Влади-

восток состоит из подъемов и спусков, из лестниц, являющихся совершенно самостоятельной архитектурной единицей. У этих владивостокских лестниц, помимо ступеней, пролетов, перил и балюстрад, еще есть стены. На одной из таких стен в первые же часы, проведенные на владивостокской земле, я увидел надпись метровыми оранжевыми буквами: «АБРОСЬКИН АФИРИСТ». Эх, думаю, Аброськин, Аброськин, что же у тебя и враги-то малограмотные... Потом узнал, что этот человек — один из кандидатов в мэры города. Ну, это уж совсем по-нашему — политическая борьба с оскорблениями и грамматическими ошибками!

С транспортом проблем нет. Трамваи, троллейбусы, автобусы ходят регулярно. Но днем проще на своих двоих. Трамваи ползут еле-еле, тесные улицы забиты машинами. И все — японские. Наших нет вообще. Изредка встретишь «Жигули», «Москвич» как реликтовое животное, а «Запорожец» вымер, как мамонт. Даже в раскопках не найдешь. Да, там понимаешь, что и у нас машина может быть не предметом роскоши, а предметом быта, обиходной вещью. Осознаешь это, когда видишь за рулем мальчишек и девчонок, старушек, а иногда даже гражданина совсем малопочтенного вида, чуть ли не ханыгу, ханурика и забулдыгу, а он, вишь, за рулем «хонды-сити».

...А пьяных я во Владивостоке не видел. Быть может, просто не попадались, а может, и действительно мужики там заняты делом.

*Шел в комнату —
попал в другую*

Туман. Ноги мокрые насквозь, до колен. Где-то за туманом Ти-

гровая падь и Китай в двадцати километрах, дальше — Корея. В тумане Японское море и сама Япония. А мы с Никитой Егоровым, владивостокским историком, рассуждаем о парадоксах истории, которые можно определить знаменитой грибоедовской фразой: шел в комнату — попал в другую.

Например, американцы, переживая после войны японское политическое и экономическое устройство, рассчитывали на то, что из руин самурайской империи возникнет капиталистическая страна под их патронажем, младший и послушный партнер. А возник мощнейший конкурент, который уже вытеснил Америку со многих рынков.

«Котел варится, варится! — бормочет то и дело Никита, теребя бороду. — Жутко интересно, что же в конце концов получится, что сварится в этом котле?! А ведь может возникнуть что-то совершенно неожиданное».

Знать не знает никто. Можно предполагать. И наиболее точные, на мой взгляд, проекции в будущее делает Никита. Он как-то в университете читал курс лекций об античном рынке. А что это такое? Это страны, объединенные Средиземным морем. Сходная ситуация и здесь, не случайно же американцы уже заговаривают о Тихоокеанском рынке. Вот он, общий стол и общий дом — Японское море. Сахалин, Япония, Китай, Южная Корея, Северная Корея, Приморье — тихоокеанский экономический район.

А где же Россия? Ведь замыслили мы вроде бы единый российский рынок, единое российское экономическое пространство. Но вполне может получиться, что Приморье заживет своей, тихоокеанской, японско-корейско-китайско-приморской жизнью. И все к тому идет. Пока суд да дело,

пока американцы и европейцы раздумывают, идти или не идти со своим мощным капиталом к нам, в зону рискованного предпринимательства, китайцы и японцы уже здесь. Машины все — японские, а остальной товар — китайский. Во всяком случае, из китайских рук.

Что же касается отдаления и возможного отделения Сибири и Дальнего Востока от России, то... никто не знает, чем и как обернется жизнь. Конечно, идеи сепаратизма здесь жили всегда, еще и в дореволюционные времена. Живут и сейчас.

Рядовой люд довольно равнодушен к этим проблемам, но, хотя бы из чувства местного патриотизма, склоняется к сепаратизму. Да еще, конечно, к отделению очень сильно подталкивают анархия и бардак во всех сферах московской власти.

Прибавьте к этому простую возможность съездить в Японию или Китай, купить за миллион или полтора подержанный японский автомобиль, в то время как «жигуль» перевалил уже за восемь миллионов, — вы получите более или менее точную картину настроений.

Да, сейчас Москва от Владивостока очень и очень далека. В том смысле, что она приморцам даже неинтересна. Новая, другая жизнь прокладывает свои дороги. Но опять же никто не знает, что будет за первым поворотом или за вторым. Допустим, произойдет экономическое, фактическое отделение, войдет Дальний Восток в блок стран Тихоокеанского рынка. Но ведь за Приморьем — Сибирь, Россия вплоть до Урала, которые тоже не останутся в стороне, тоже войдут в сферу интересов Тихоокеанского рынка, будут ему в чем-то выгодны. И так может получиться, что, отдалившись на какое-то время, Москва и Влади-

восток вновь сблизятся, соединятся. Но уже, конечно, на других принципах, на других основах...

Аэропорт

Вот и все. Закончено путешествие. Самолет разогревает моторы. Через восемь-девять часов буду дома, в Москве. Причем вылечу в шесть часов местного времени и прилечу тоже в шесть часов местного, но уже московского. То есть буду лететь вместе с солнцем. И вообще есть в этом какая-то нелепость: долгий путь, целая жизнь, укладывается всего-навсего в восемь часов полета, со сном и обедом...

...Что мог, я написал: кого видел, что видел, что слышал. И о мужиках, круто повернувших свою судьбу в зрелые уже года, и о проводнице Вале, доброй, работающей девушке, и о старушке, что ехала домой после похорон сестры, и о мало кому известной стране Тофаларии, и о несчастном и зловещем убийце с малых лет, и о других встреченных мною людях, местах, городах. В общем, о нашем железном пути...


Можно ли увидеть за моими героями и в них как в зеркале всю Россию? Не знаю. Если бы скрытой камерой снять весь этот путь, пейзажи, города, а главное — этих людей, записать их речь, тогда безусловно, тогда ручаюсь. Но нет таких скрытых камер. И остается только пересказ. Однако, какой бы он ни был, он сохранится.

Через годы прочитают его мои внуки и, быть может, представят себе нас сегодняшних, нашу сегодняшнюю жизнь, сегодняшнюю Россию...



МНОГОЛИКИЙ

ПЕС- КОВ



Он обожает сладкое (хотя ему нельзя), жалеет, что не родился во времена Людовика XIV каким-нибудь вельможей — ему очень нравятся пышность, яркость, роскошность той жизни: золото, бархат, парча, рюши, оборочки, подвески... Чудак! Что бы он делал при дворе Его Величества? Пародировал короля или, упаси Боже, его супругу?! Представляю его успех... Нет, узники Бастилии, конечно, такому пополнению были бы рады... Да и палачу, наверное, приятнее иметь дело с веселым человеком...

Этот романтик, тоскующий по зеркалам королевского дворца, — Александр Песков. Танцующий пародист. Точнее, артист жанра синхробрюффонады. Первый и единственный, кто на ваших глазах превращается в любую из двадцати трех звезд отечественной и зарубежной эстрады, вызывая бурный восторг и изумление зрите-

лей. Вы, конечно, хохотали над его Агузаровой, Леонтьевым, Пугачевой, Пьехой, Вайкуле, Ротару, Бабкиной, Понаровской? Поверьте, они хохотали тоже. Потому что в его «портретах» нет пошлости, вульгарности, карикатурности. Они добрые, теплые и, конечно же, очень смешные.

— Саша показывает артиста таким, каков он есть — с его недостатками и достоинствами. Он улавливает самые типичные жесты, характерную пластику. Это здорово, это не обидно. Просто такой дружеский шарж, — говорит композитор и певец Игорь Корнелюк, один из «персонажей» Пескова.

— Стать объектом музыкальной пародии Александра Пескова — большая честь, — утверждает Эдита Пьеха.

...Все началось, конечно, с шуток. В кругу друзей, на одной из вечеринок, Саша «ухохотал» компанию до коликов, изображая



Аллу Пугачеву. Отсмеявшись, один из приятелей сказал пророческие слова: «Старик! А ведь это готовый эстрадный номер!» Так родился уникальный артист, каких еще не было на нашей эстраде. Поразительно, но факт: поющих, говорящих пародистов всегда было много. Только ленивый, пожалуй, не копировал Утесова, Шульженко, Зыкину, Пьеху, Никулина, Леонова... Но изобразить звезду в пластике?! Правда, когда-то Владимир Загороднюк здорово «заводил» публику, копируя танцора из «Бони-М», да кое-что озорно показывал «Бим-Бом», но до такого — создать целое пародийное танцевальное шоу — не додумался никто.

...Песков хотел быть клоуном. И, вероятно, стал бы им, если бы не травма. Из-за нее он после окончания циркового училища попал не на арену, а в драматический театр Котласа, где играл

«нормальные», серьезные роли. Но хотелось большего. И он начал выступать еще и как конферансье. Услышав о конкурсе артистов разговорного жанра, загорелся принять в нем участие. Набрался храбрости (по его словам, он всегда был довольно робким, скромным человеком) и позвонил известному московскому педагогу и режиссеру Владимиру Точилину с просьбой помочь подготовиться к конкурсу. Тот предложил приехать на прослушивание. Вместе с другом и помощником Владимиром Петровым Саша отправился в Москву.

«А Владимир Иванович сегодня ночью умер...» — тихий голос в трубке беспощадно поставил крест на Сашины надежды... Он не стеснялся слез и плакал отчаянно и горько, как в детстве.

— Я благодарен этому человеку, хотя мы так и не познакомились, — говорит Александр. —



если бы не он, я не приехал бы тогда в Москву и неизвестно, как бы все повернулось в жизни.

А тогда... тогда они не знали, что делать. Чтобы как-то заглушить безысходность, Володя купил билеты на только что поставленных в «Сатириконе» «Служанок», а в нагрузку к дефициту получил билеты на эстрадный концерт во Дворец съездов. Второе отделение вел Борис Брунов, и Володя мягко шепнул другу: «Зайди к нему! Поговори!» Саша решил и прошел за кулисы после концерта. Рассказал свою историю. Брунов был весьма сдержан.

— А какой вы артист? — спросил он без особого интереса.

— Очень хороший! — просто душно ответил Песков.

— То, что вы наглый, — это точно, — усмехнулся Брунов и пообещал посмотреть номер Пескова при первой же возможности.

Неделю друзья спали на вокзалах, к счастью, тогда за это не нужно было платить! И вот наконец — долгожданный Театр эстрады, темная сцена, горит лишь одна дежурная лампочка. Песков ставит в маленький магнитофон кассету с записью Пугачевой, Лентьева и Гурченко, и через минуту на сцене появляются неотразимые звезды. Маститый Брунов, который, очевидно, не ожидал увидеть столь искрометный талант в неизвестном провинциальном актере, задумчиво произнес: «Пожалуй, я приглашу вас в свою новогоднюю программу...» И пригласил! Наутро после выступления в Театре эстрады Песков стал знаменитым. Его приняли и полюбили сразу — и зрители, и коллеги. «Моей заслуги в этом нет, — говорит Саша, — это жанр такой благодарный». Он прав — жанр выгрышный. Но очень коварный: один неверный шаг — и гнев по-



клонников пародируемых артистов покажется цветочками по сравнению с презрением и неприязнью самих звезд.

Он показывает только тех, кого любит. Его персонажи не застывшие раз и навсегда маски. Меняется звезда — меняется и ее «отражение» в шоу Пескова. Он постоянно дорабатывает свои номера, и в этом ему помогает зритель. Его смех — лучший режиссер для Пескова.

Ни один пародист не избежал банальных вопросов о том, как относятся к нему объекты его пародий. Поэтому, не дожидаясь их, Саша радостно принялся называть всех, с кем он дружит. И в этом перечислении не было здакой хлестаковщины, когда человека распирает от того, что он «с Пушкиным на дружеской ноге»... Был мальчишеский восторг от того, что сбылась мечта — рядом люди, которых он уважает, которыми вос-

хищается и с которыми теперь имеет возможность общаться.

Он весело хохочет, когда вспоминает, как после концерта к нему в гримерку пришла Людмила Касаткина и, расхваливая его на все лады, приговаривала: «Вы — потрясающий талант!» На что тающий от комплиментов Песков не преминул вернуть: «Ну что вы, Людмила Ивановна! Вы же меня в юности на курс к себе не взяли — за бездарность...» «Не может быть! — всплеснула руками актриса. — Как я могла?!»

А Гурченко сказала ему, кокетливо передернув плечиками: «Вы меня не так показываете! Я глубже. Нет, я не против — вы талантливый актер. Ради Бога, работайте, я не запрещаю, но вы меня не чувствуете...» «И она права! — соглашается Саша, — она потрясающая актриса, не вмещающаяся в один упрощенный образ. Но я продолжаю работу над этим но-



мером, и сейчас он другой. Думаю, если бы она увидела его сейчас, — приняла бы. Как я мечтаю, чтобы она согласилась прийти на мое шоу! И надеюсь, придет! У подъезда ее сяду, по пятам за ней ходить буду, но уговорю!»

В нем удивительно сочетается скромность и то, что Брунов называл наглостью. У него хватает наглости, чтобы не только на сцене, но и в жизни шокировать публику. Когда Александр в пробковом «колониальном» шлеме с прицепленной к нему вуалью и разудалых шортиках сходил с трапа самолета в Ялте, «самолеты переставали летать»! Но у него хватает скромности ничего не делать для собственной «раскрутки»: он не заводит «нужные» связи и не тратит миллионы, чтобы мелькать на экране, кочуя из программы в программу, не ищет выходов «на прессу», чтобы вовремя появлялись статьи и интервью, не

бегает за деловыми людьми, которые могут устроить выгодную поездку на Запад, где его искусство имело бы успех и не только у наших бывших соотечественников. Лайза Минелли, Патрисия Каас, Дайана Росс и другие мировые знаменитости в его исполнении узнаваемы везде, без переводчика.

А расстроен он тем, что его родная Коряжма почему-то до сих пор не приглашает его на гастроли. «У меня по всему бывшему Союзу аншлаги, — удивляется он. — Неужели я в родном городе никому не нужен?!»

Коряжма! Слышишь? Пригласи Пескова! Он ждет!

ЕЛЕНА ЮРЬЕВА

Фото ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА

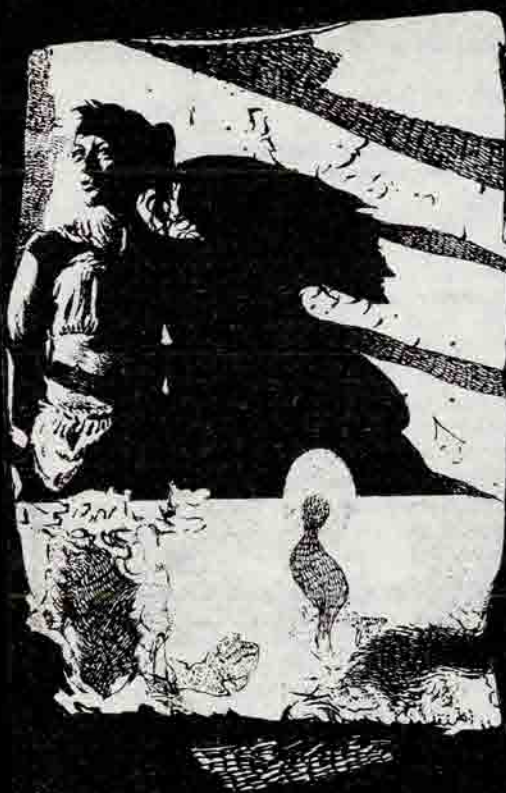


ДЖЕФФРИ КОНВИЦ

Рисунки ЛЬВА РЯБИНИНА



СТР



AW-11

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Бен! — обрадовался отец Макгвайр, увидев с балкона своего приятеля.

Бен помахал рукой и быстро взбежал вверх по лестнице.

— Надеюсь, я не отвлек вас? — спросил он.

— Ну конечно, нет, — тут же ответил Макгвайр, крепко пожимаю Бену руку. — Какая приятная неожиданность!

— Я был тут неподалеку и вот решил заглянуть.

Макгвайр расплылся в добродушной улыбке.

— Что ж, очень рад. А то я уж было подумал, что вы про меня совсем забыли. Ну, пойдете ко мне. Покажу вам свой кабинет, выпьем по стаканчику доброго вина, и вы расскажете, как поживают Фэй и малыш.

Макгвайр жестом пригласил Бена следовать за ним, и они прошли через длинный коридор к двери небольшой комнаты, заваленной рукописями, церковными книгами и всевозможными деловыми бумагами. Интерьер кабинета был весьма скромным и состоял в основном из религиозных атрибутов.

Макгвайр достал из шкафчика два стакана, стеклянный графин и, наполнив стаканы, передал один Бену. Потом предложил ему устраиваться поудобнее, а сам уселся за письменный стол.

— Как же вас занесло в наши края, Бен?

— Все из-за моей новой книги. Действие нескольких глав происходит как раз в этом районе. Ну, я и решил: для большей правдоподобности надо посетить эти улицы, чтобы не запутаться потом в названиях и не попасть впросак, когда буду описывать их. К тому же надо еще походить по переулкам и обратить внимание на архитектуру здешних построек... — Он отхлебнул вина. — О! Это просто великолепно.

Макгвайр был польщен.

— Я счастлив, что вам понравилось, Бен. Признаться, вино — одно из моих давних увлечений, причем чуть ли не самое любимое. Знаете, вы ведь пьете сейчас мускат урожая 1964 года. Не зря этот год считается одним из лучших по сбору винограда...

Бен отпил еще немного и начал смаковать ароматный напиток, наслаждаясь тонким букетом.

— Так вот где вы пишите и работаете... — произнес он, оглядывая комнату.

— Да, в основном здесь, — подтвердил Макгвайр. — Я закрываю эту дверь и отключаюсь от внешнего мира.

— Мне бы такую дисциплинированность! — позавидовал Бен.

— Это как раз несложно, — улыбнулся священник и внимательно посмотрел на своего гостя. — Ну, Бен, как поживает Фэй? Надеюсь, у вас все хорошо?

Бен немного замешкался, а потом ответил:

— В общем, да... Хотя недавно она болела. У нас в доме произошло очень неприятное происшествие... Убийство. Фэй обнаружила труп, и на нее это так сильно подействовало, что она не могла прийти в себя в течение нескольких дней.

Окончание. Начало в № 1.

Улыбка Макгвайра тут же погасла, и он взволнованно произнес:

— Какой ужас! Надеюсь, теперь с ней все в порядке?

— Напряжение, конечно, еще осталось, — ответил Бен. — И на работу пока не выходит... Но врач сказал, что на той неделе она поправится и сможет снова браться за дела.

— Бен, обязательно передайте ей мой привет и пожелания скорейшего выздоровления, — с чувством сказал Макгвайр. — А если я чем-нибудь могу помочь — ну, там, навестить ее... — вы можете полностью располагать мною.

Но Бэрдет лишь махнул рукой и придвинулся ближе к священнику.

— Она почти в полном порядке. Кроме того, у нас ведь полно соседней, которые постоянно находятся рядом с ней. Но, разумеется, вы всегда желанный гость.

Макгвайр задумчиво водил пальцами по лежащему на столе серебряному ножу для вскрытия писем, и Бен вдруг подумал, что священник становится для него каким-то чужим. Конечно, он был вежлив и гостеприимен, но впечатление отчужденности все-таки оставалось.

— Что-нибудь случилось, святой отец? — наконец не выдержал Бен.

— Что? А, нет! Почему вы решили?.. — растерялся Макгвайр.

— Не знаю... По-моему, ваши мысли сейчас не со мною.

Макгвайр кивнул.

— Я часто становлюсь таким, когда работаю. Вы уж извините меня... Расскажите лучше, как поживает ваш наследник.

— С ним, слава Богу, все в порядке. К счастью, он еще слишком мал, чтобы заметить, что происходит с его матерью.

— Да, в этом смысле ему повезло, — согласился священник.

— Ну, а как ваши дела, Джеймс?

— Неплохо, хотя работы навалом! Вы не представляете себе, сколько энергии требуется, чтобы преподавать, выполнять другие обязанности, возложенные на меня в семинарии, да еще успевать писать книгу. Я многое отдал бы сейчас, чтобы опять побыть в одиночестве и спокойно поработать, как тогда, во время кризиса.

Бен с завистью оглядел кучу бумаг на столе Макгвайра.

— И тем не менее я рассчитываю на то, что вы сумеете выкроить час-другой и отобедать с нами, как только Фэй окончательно выздоровеет, — сказал он.

— С удовольствием, Бен. Вы же знаете, как мне это будет приятно.

Затем оба мужчины надолго замолчали. Бен давно уже не вел таких пустых, бессмысленных разговоров.

— Святой отец, — наконец заговорил он после мучительной паузы. — У меня к вам дело...

Макгвайр остановил на нем внимательный взгляд.

— Понимаете, одна женщина по имени Дженнифер Лирсон находится сейчас на принудительном лечении в психиатрической клинике. И врачи безуспешно пытаются найти ключ к разгадке ее душевного срыва. А я знаю, что некий католический

священник, монсеньор Франкино, может помочь им разгадать эту тайну, так как он знал мисс Лирсон несколько лет назад. Вы что-нибудь слышали о нем?

Макгвайр в задумчивости почесал подбородок, а потом отрицательно покачал головой.

— Нет, никогда не слышал такой фамилии. Он как-то связан с Управлением нашей епархии?

— Этого я не знаю. Очевидно, он работал в Нью-Йорке, но в вашем Управлении или нет — этого я сказать не могу.

— А когда это было?

— Пятнадцать лет назад, — с грустью сообщил Бен.

— Целых пятнадцать лет? Да... Непростая задача. Ведь если он и служил тогда в нью-йоркской епархии, все могло измениться за такой большой срок. Возможно, он уже умер. Или его перевели в другое место...

— Или он до сих пор здесь, — добавил Бен. — И его как-то можно найти.

Макгвайр согласно кивнул.

— А вы можете описать мне его внешность?

— К сожалению, нет. Я не хотел бы становиться для вас обузой, Джеймс, но дело в том, что мне действительно нужна ваша помощь. Я уже звонил в Управление епархии и справлялся о нем, но мне ответили, что такого человека у них нет и, более того, никогда не было. Конечно, у них могут быть свои причины, чтобы скрывать правду. А может, данные не совсем полные... Но, с другой стороны, священнику они могли бы сказать больше, чем постороннему человеку, верно?

— Пожалуй...

— И даже если монсеньор Франкино сейчас приписан к другой епархии, все равно вам будет проще отыскать его, — продолжал Бен.

— Возможно.

Бен улыбнулся.

— Да я буду просто счастлив помочь вам! — дружелюбно ответил Макгвайр. — Я обязательно постараюсь найти его, и как только что-нибудь прояснится, сразу позвоню.

— А это не слишком вас затруднит? — забеспокоился Бен.

— Да что вы! Конечно, нет.

Бен поднялся и пожал священнику руку.

— Не знаю, как и благодарить вас.

Макгвайр встал вслед за гостем.

— Пока благодарить не за что, Бен. Может быть, мне и не удастся отыскать вашего Франкино.

— Все равно вы потратите на это время...

Они подошли к двери.

— Святой отец, я должен исповедаться перед вами, — вдруг с улыбкой заговорил Бен. — Я ведь оказался здесь совсем не случайно, а специально пришел к вам за помощью.

— Я знаю, — спокойно ответил священник.

— Как? — изумился Бен.

— Из вас плохой лжец, сын мой.

И они дружно рассмеялись.

— Я позвоню вам, как только узнаю что-нибудь,— еще раз пообещал Макгвайр.

Бен повернулся и зашагал по длинному коридору. Но возле самой лестницы остановился, услышав, как Макгвайр окликнул его.

— Бен... Я вот что хотел спросить... То самое распятие — помните? — оно все еще у вас?

— Да, у меня. В письменном столе.

Священник кивнул.

— Ну, хорошо. Скоро встретимся. До свидания.

Бен помахал ему рукой и заторопился к выходу.

Отец Макгвайр позвонил в тот же вечер в половине девятого.

— Бен! — без предисловий начал он. — Я, кажется, нашел священника, которого вы искали.

Бен чуть не выронил трубку.

— Он действительно служит в нашей епархии, только его не было в списках,— пояснил Макгвайр.

— А чем он занимается?

— Вот этого я не знаю. Я пытался выяснить все подробнее, но больше мне ничего узнать не удалось.

— А можно с ним встретиться? — с надеждой в голосе спросил Бен.

— Да. Я уже договорился о встрече. Он предложил пообедать с ним завтра в клубе «Корнель». Я сказал, что позвоню вам, и если вы согласитесь, то больше беспокоить его не стану.

— Конечно-конечно! — затараторил Бен. — Меня это вполне устраивает.

— Ровно в двенадцать.

— Я буду там точно в полдень. А что он сказал, когда вы назвали ему имя Дженнифер Лирсон? — поинтересовался Бен.

— Вот в этом-то вся загвоздка... — смутился священник.

— Какая еще загвоздка?

— Он совершенно уверен, что никогда не слышал такого имени. Тогда я напомнил ему, что он мог слышать его пятнадцать лет назад, а ведь это большой срок, и память, может быть, просто подводит его... Он вроде бы начал колебаться, но все равно так толком ничего не вспомнил. И должен предупредить вас, Бен, что он настроен по этому поводу весьма скептически.

— Ну, с этим-то я разберусь,— заверил Бэрдет. — В конце концов Франкино — не так уж часто встречающаяся фамилия.

— Хорошо. Надеюсь, я помог вам?

— Огромное вам спасибо, святой отец!

Бен вернулся в гостиную и, плюхнувшись в кресло, включил телевизор. В это время из спальни вышла Фэй.

— Послушай, Бен, нам надо серьезно поговорить.

— Хорошо,— ответил он и поудобней устроился в кресле.

Фэй села рядом на пол.

— Видишь ли... С тех пор как я нашла этот труп в подвале,

мы с тобой, по сути дела, еще и не разговаривали. Ну, сначала я была не в состоянии из-за того дурацкого шока, а потом ты все время был занят, причем я не знаю, чем именно... Но факт остается фактом — мы совсем перестали общаться. Ты постоянно куда-то ходишь... У меня даже начинает складываться впечатление, что мы больше не муж и жена.

— Прости, дорогая. Я действительно совсем закопался в делах...

— Да, денечки выдались что надо! — пробормотала Фэй, чуть не плача. — И почему все это свалилось именно на нас?.. Ведь было так хорошо!.. А теперь...

— Все уже кончилось, — твердо произнес Бен. — И я не хочу снова перемалывать это. Да и тебе пора уж отвлечься. Ты ведь ничего плохого не сделала, зачем же так переживать? Ну, нашла труп. И что с того?.. Теперь ты снова в полном порядке. И можешь уже вернуться к работе... Так почему бы нам опять не начать улыбаться? Хватит горя и слез. Ведь всего несколько дней назад, когда к нам приходили соседи, ты была такой счастливой и радостной!.. Ну, что опять не так, дорогая?

— Не знаю... Может быть, я слишком много думала обо всем этом, — предположила Фэй. — А что, если нам вообще переехать на другую квартиру?

— А зачем? — спросил Бен.

— Ну, не знаю. Чтобы побыстрее забыть об этом месте. Избавиться от всяческих воспоминаний.

— Перестань, Фэй. Это со временем и так пройдет само по себе.

Но Фэй внезапно задрожала всем телом.

— Бен, послушай! Я не хочу больше жить с этой монахиней. Я не выдержу этого. Стоит мне только подумать, что она здесь, рядом, как сразу же дурно делается. Я просто сойду с ума!

— Но, Фэй, когда мы переехали сюда, она уже жила в этом доме... Почему же только теперь она стала раздражать тебя, да еще так, что тебе захотелось даже поменять квартиру?

— Не знаю... Мне теперь все здесь кажется странным. Как ты объяснишь, например, что недавно сорвалась строительная люлька? И к тому же Макс Вудбридж выяснил, что никто никаких ночных работ в доме не заказывал. Что они тут делали и почему она у них сорвалась?

— Фэй, ради всего святого, откуда же мне знать?

— А тебе известно, что окно в комнате монахини уже несколько дней открыто?

— Ты, наверно, разыгрываешь меня? — смутился Бен. — «Неужели мы так и не закрыли его?» — с ужасом подумал он.

— Все нет. Пойди посмотри сам с улицы. И увидишь, что я права.

— Ну, ладно. Допустим, оно открыто. И что из этого?

— А личность убийцы еще так и не установлена... Возможно, он до сих пор рыщет где-то поблизости. И неизвестно, куда пропал Лу Петросевич. Ну, и еще много тому подобного...

— И что ты от меня хочешь? — напрямик спросил Бен, в упор уставившись в глаза Фэй.

— Ничего. Просто я хочу, чтобы ты понял, каково мне сейчас и что творится у меня в душе.

— Ну, хорошо. Это я могу понять. И обещаю тебе всерьез подумать о переезде. Договорились?

Она кивнула.

— Теперь все?

— Нет, — как-то глухо произнесла Фэй.

— Ну, что еще, милая? — уже смягчившись, спросил Бен.

— В последнее время ты тоже стал вести себя очень странно, Бен. И мне надо знать, отчего это происходит.

Бен напрягся, стараясь не выдать своего волнения.

— Я не совсем понимаю тебя, — медленно проговорил он.

— Поясню. Я прекрасно знаю, что моя болезнь сильно расстроила тебя, и поэтому ты не мог работать над рукописью. Это ясно. Но все равно ты должен был оставаться рядом со мной. Разве нет? Или ты настолько погрузился в свои дела, что перестал даже замечать, что большей частью тебя вообще не бывает дома?.. В ту самую ночь, когда оборвалась люлька, я проснулась, хотя потом я сказала тебе, что крепко спала и ничего не слышала. Мне просто не хотелось тогда расстраивать тебя. Так вот, когда я проснулась от этого шума, тебя дома не оказалось. А ведь это была глухая ночь! А потом мне позвонили из аэропорта, чтобы проверить номер твоей кредитной карточки. Оказывается, в четверг ты зачем-то летал в Сиракузы, а мне сказал, что пойдешь в библиотеку собирать материал для книги... Ты прекрасно знаешь, что я полностью доверяю тебе, никогда не задаю лишних вопросов и не занимаюсь никакой глупой слежкой. Ты свободен и волен приходить и уходить, когда тебе заблагорассудится. Но все же войди в мое положение... Как бы ты поступил на моем месте? — возмущалась Фэй.

— Да, наверное, я бы здорово расстроился, — согласился Бен.

— Так что ты можешь сказать теперь в свое оправдание?

— В ту ночь, когда упала люлька, я выходил погулять. Мне не спалось, и я решил подышать свежим воздухом.

Фэй не шелохнулась.

— А зачем тебе понадобилось летать в Сиракузы?

— У меня там было важное дело. Мне позвонили из газеты и попросили вылететь туда, чтобы взять интервью у нескольких человек, а заодно отвезти в их местную газету материал для какой-то статьи. Если не веришь, я могу дать тебе телефон этой газеты, и ты сама поговоришь с редактором. Тебе скажут то же самое. Давай побыстрее кончать этот разговор. А если ты всерьез задумала менять квартиру, то лучше обсудим это с утра. А еще лучше, если ты сама на свежую голову обдумаешь свои планы и решишь, действительно ли для тебя так важно переехать отсюда. Если да, то будем вместе мозговать, что делать дальше. Начнем искать варианты... Ну, по рукам, дорогая?

— Д-да, наверное... Я согласна.

— Вот видишь, какой шум ты подняла из-за пустяков! — сказал Бен, укоризненно покачав головой.

— По-видимому, ты прав, — как-то не очень уверенно произнесла Фэй.

— Но теперь все забыто? — спросил Бен. — Как договорились?

Она засмеялась, кивнула и поднялась на ноги.

— Включить тебе телевизор?

— Нет, Фэй. Я хочу, чтобы ты легла сейчас рядом со мной и полностью расслабилась. Больше мне ничего не надо. Ну, пошли спать?

Она подошла к нему и, обняв, начала нежно гладить по спине.

— Я люблю тебя, — прошептала Фэй.

— Я тоже, — отозвался Бен. — И ты не должна в этом сомневаться, обещаю!

— Обещаю, — тихо произнесла она.

Бен закрыл глаза и почувствовал, как его тело сливается с телом жены. Ему сразу стало легко и спокойно. В самом деле, ведь они не занимались любовью с того самого дня, как вернулись домой из круиза. Он очень хотел ее, и приятная истома начала охватывать его тело. Уже несколько дней в такие минуты ему казалось, что трагедия, частью которой они стали, была всего лишь ночным кошмаром или выдумкой, пустой и глупой фантазией... правда, это длилось недолго, и каждый раз тревожные мысли возвращали его к событиям прошедших дней, а в голове снова начинали звучать пророческие слова Томаса Гатца, перед глазами мелькали лица Дженнифер Лирсон, инспектора Бурштейна, Энни Томпсон и ее отца, потом появился труп в компакторе и чудился неведомый монсеньор Франкино, наводя на тягостные раздумья о невысказанной цепи роковых случайностей, нелепостей и совпадений последних дней. И в самом деле, вокруг Бена творилось много необъяснимого. Например, появление таинственного распятия на двери каюты, обрыв канатов на люлке, внезапная смерть Гатца и, конечно же, реакция Энни на фото старой монахини. Будто неумолимый злой рок преследовал Бена, словно сама судьба навечно заклеила его и не выпускала из своих безжалостных цепких лап. Кончатся ли когда-нибудь эта вереница несчастий? И если да, то как именно?

Теперь единственным человеком, который мог пролить свет на все это, оставался монсеньор Франкино. Разумеется, при условии, что это именно тот Франкино, который сыграл свою роль в роковых событиях пятнадцатилетней давности. Завтрашняя встреча значила для Бена очень многое.

Он посмотрел в темноте на Фэй и хотел сказать ей что-нибудь ласковое, но не мог найти нужных слов. Он лишь крепче сжал ее в своих объятиях и поцеловал в щеку, стараясь расковать напряженный мозг и отвлечься от грустных мыслей.

Итак, Франкино...

Завтра все выяснится...

— Что ж, рассказ ваш довольно увлекательный, мистер Бэрдет, — вежливо улыбнулся монсеньор Франкино, ковыряя вилкой фруктовый салат. — В самом деле, все это весьма занятно.

Бен улыбнулся и положил руки на стол.

Зал ресторана был до отказа забит посетителями — в основном деловыми людьми в строгих костюмах. Рассеянный мягкий свет

и приглушенные голоса за столиками действовали успокаивающе. Бен и священник сидели здесь уже более получаса.

— Но, видите ли, даже если забыть на минуту, что вся ваша история — неусветная чушь и глупость, — продолжал священник, — я все равно совсем не тот Франкино, который вам нужен. Очевидно, в этом деле был замешан другой человек с такой же фамилией, если, конечно, предположить, что все, о чем вы тут наговорили, вообще имело место в действительности.

— Понятно, — усмехнулся Бен, проглотив кусочек заливной осетрины.

— Позвольте задать вам один вопрос, — вежливо проговорил священник. — Предположим, что такой заговор, как вы это называете, действительно существовал, и я даже имел к нему какое-то отношение. Почему вам понадобилось встречаться со мной?

— А как еще можно распутать это дело? — удивился Бен.

Франкино задумался и кивнул, нанизывая на вилку маринированный шампиньон.

— Видите ли, мистер Бэрдет, накануне нашей встречи я специально проверил в Управлении каталог личных дел на всех сотрудников нашей епархии и выяснил, что под началом нью-йоркского архиепископа в разное время работали несколько человек с точно такой же фамилией.

— И все они были монсеньорами? — съязвил Бен.

— Нет, конечно. — Франкино терпеливо улыбнулся.

— Скажите, а вы находились в Нью-Йорке в то время, о котором я вам сейчас рассказывал? — поинтересовался Бэрдет.

— Я уже сказал, кажется, что не имею никакого отношения к вашему заговору.

— Я это понял, и все же...

— Ну, хорошо, мистер Бэрдет, — сдался Франкино. — Если вам от этого станет легче, я отвечу: нет, в то время я находился в Риме. Если более точно, в Ватикане. Устраивает?

Бен не спеша поднял бокал с вином и сделал несколько маленьких глотков.

— Видите ли, монсеньор, мы с вами беседуем почти час. Вы слушали меня, а потом я внимательно выслушал вас. Так вот, как вы считаете, у меня могут еще оставаться сомнения в вашей искренности или я уже должен поверить вам во всем до конца?.. Дело в том, что я вам почему-то не верю. К сожалению.

— Вы что же, подозреваете меня во лжи? — Франкино удивленно вскинул брови.

— Скажем чуточку по-другому. Просто я вам не верю. И хотя вы упорно продолжаете называть рассказ Гатца пустой фантазией, вы должны понять, что мне лично пришлось увидеть и узнать довольно многое, чтобы сомневаться в его словах. И, конечно, живая монахиня у нас тоже имеется. Надеюсь, этого вы не станете отрицать?

— Да, я знаю о ней. Очень больная и несчастная женщина. А вы какой-то черствый и бессердечный человек, мистер Бэрдет, — укоризненно заметил Франкино. — Я, если хотите знать, выяснил все о ее прошлом. Сейчас сестру Терезу содержит Управление нашей епархии. Большую часть своей жизни она

проработала в Бронксе, в бесплатной приходской школе для бедных. Помимо этого, ей приходилось ухаживать за безнадежно больными в больнице святого Винсента. А в возрасте пятидесяти шести лет у нее самой начался рассеянный склероз, и с тех пор она находится на полном содержании церкви и под ее опекой.

Бен заговорил более жестко:

— А почему же вы согласились на эту встречу, если считаете себя непричастным к тому, о чем я только что рассказал? Почему сразу не сказали отцу Макгвайру, что вы здесь ни при чем и не сможете поведать мне ничего интересного? Тут что-то не так...

Священник пожал плечами.

— Отец Макгвайр попросил меня встретиться с вами, вот я и пришел.

— Да бросьте, это все неправда! Как он мог настаивать, когда ему-то я как раз ничего и не объяснил. Неужели он начал выкручивать вам руки? Нет, монсеньор, вы знали, куда идете и зачем. Вам необходимо было выяснить, что мне известно и до какой степени я сумел распутать ваш заговор.

— Не хочу показаться вам слишком резким, — перебил его Франкино, сверкая глазами от негодования, — но мне кажется, что вы слишком мнительный человек с неумной фантазией, и сейчас либо ведете какую-то неведомую мне грязную игру, либо нуждаетесь в помощи хорошего психиатра.

— Неужели? — прищурился Бен.

Франкино поправил одежду, натянув рукава рясы по самые ладони.

— Я, знаете ли, не привык, чтобы меня обвиняли в смертных грехах. И в последний раз заявляю, что никого не убивал, ни от кого не скрываюсь и тем более не участвую ни в каких тайственных заговорах против «несчастных мирских», как вы изволили выразиться.

— Да ни в чем я вас не обвиняю! — нервно усмехнулся Бэрдет.

— Но вы именно это имели в виду.

— Да поймите же вы: на карту поставлена жизнь моей жены. И не исключено, что моя собственная — тоже. Если бы вы захотели помочь мне и честно все рассказали, у меня не осталось бы никаких сомнений на ваш счет. Но так как вы упорствуете и не желаете говорить откровенно, значит, я прав! И вы, конечно, должны чувствовать, будто вас подозревают и обвиняют. Вполне логично!..

Подошел официант и убрал тарелки из-под закусок. Некоторое время Бен и Франкино молча сидели за опустевшим столом и медленно потягивали сухое вино. Вскоре подали горячие блюда. Первым заговорил Бен:

— Скажите, а вам не приходилось раньше встречаться с отцом Макгвайром?

— Нет.

— Это прекрасный человек! Очень добрый и большого ума. Церковь может по праву гордиться им.

— Не сомневаюсь.

— Мы провели с ним две недели на теплоходе во время круиза, — продолжал рассказывать Бен. — И представляете, в самую последнюю ночь перед прибытием в Нью-Йорк в мою каюту кто-то пытался проникнуть. Правда, я вовремя проснулся и помешал этому таинственному незваному гостю, но он все же оставил о себе память — повесил на дверь каюты распятие.

— Ну, мне кажется, за вас серьезно взялась Священная Инквизиция! — рассмеялся Франкино. — Вам нужно срочно обратиться в полицию. Или нанять частного сыщика.

— Простите за грубость, монсеньор... Я не привык говорить таким языком со священниками... Но мне кажется, что все, вами сказанное, — самое настоящее дерьмо! — Произнося это, Бен продолжал вежливо улыбаться и старался, чтобы его не слышали за соседними столиками. — Гатц ясно дал понять, что Майкл Фармер имел беседу с Франкино, а потом передал ее содержание Дженнифер Лирсон.

— Ну, это мы уже, кажется, обсудили, — напомнил священник.

— Не до конца. Фармер подробно рассказал, как выглядел этот самый Франкино. К тому же и Гатц, и мисс Лирсон описывали его одинаково. У того Франкино были сильные, мускулистые руки. Но особенно Фармеру запомнились густые колечки седых волос на тыльной стороне кистей. — Бен схватил священника за руку, но тот и не пытался отдернуть ее. — Вот в точности, как у вас, монсеньор.

На лице священника мелькнуло такое откровенное ожесточение, что Бен даже вздрогнул, не ожидая от представителя духовенства столь бурной реакции.

— Это вы встречались с Фармером пятнадцать лет назад! — продолжал он. — И вы хранили папки с записями о всех часовых. Вы же имели дело и с Элисон Паркер, которую превратили потом в монахиню. И вы тот самый человек, который преследует теперь мою жену!

Франкино вскочил со стула и грозно уставился на Бена.

— Всего хорошего, мистер Бэрдет, — сквозь зубы процедил он, швырнув салфетку на стол. — За обед я заплатил заранее. Так что можете не волноваться и заканчивать без меня. Желаю вам и вашей супруге всяческих благ. И надеюсь, что мы с вами больше не встретимся.

Бен не успел даже ответить ему — Франкино пулей вылетел из ресторана. Подождав немного, Бен тоже поднялся, подошел к окну и увидел, как священник садится в такси.

Он улыбнулся. Теперь сомнений не оставалось. Это и есть тот самый Франкино.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Монсеньор Франкино выбрался на крышу дома номер 80 по 89-й улице, соседствующего со стройплощадкой собора святого Симона. Накрапывал дождь. Он вынул бинокль и навел его на квартиру сестры Терезы. Окно оказалось открытым, но сейчас не

это волновало священника. Бирок уже успел доложить ему о происшествии со строительной люлькой, а потом отправился вслед за Беном в Сиракузы и там выкрал у него снимки монахини, причем последнюю фотографию он выхватил уже из руки умирающей девушки. Кроме того, накануне Бирок похитил негативы из фотолаборатории «Техниколор». Джо всегда был полезным и исполнительным помощником.

Франкино направил бинокль на глаза сестры Терезы, и перед ним со всей отчетливостью предстало страшное настоящее — сестра Тереза, Бен и Фэй Бэрдеты, дождь, холод и первые признаки начинающейся стенокардии. И именно сегодня он осознал, что Чейзен приготовился вновь напомнить о своем присутствии.

— Фэй! — позвал Бен, пытаясь разглядеть жену в темноте спальни.

Вокруг стояла полная тишина.

— Фэй! — еще раз крикнул он, подумав, что она, очевидно, пошла на кухню. — «Сколько же сейчас времени? Три часа ночи. Боже мой!..»

Мальш повернулся во сне и заплакал, но очень быстро опять утих.

Бен зажег ночник и выпрыгнул из постели. Голова раскальвалась. Проклятые мысли по-прежнему не давали покоя. Снова и снова он рассуждал про себя о недавней встрече в ресторане с Франкино.

— Фэй? — уже менее уверенно позвал он, заходя в гостиную. Никого. Кухня тоже оказалась пустой. Как и ванная.

Бен прислушивался к шуму дождя за окном. Неужели она пошла гулять в такую погоду? Невероятно.

Он поспешно оделся и вышел из квартиры. Дождавшись лифта, спустился на первый этаж.

Ночной вахтер спал на диванчике в дальнем конце холла. У ног его стоял зонтик, с которого стекала вода.

Бен осторожно коснулся его плеча, потом встряхнул посильнее.

— Что такое? — вздрогнув, спросил вахтер и рывком сел на диванчике.

— Скажите, вы не видели мою жену? — начал Бен.

Мужчина спросонок никак не мог сориентироваться.

— Я, наверное, задремал... — извиняющимся голосом пробормотал он. — Вы кого ищете, мистер Бэрдет?

— Свою жену! — нетерпеливо повторил Бен.

— Нет. Что-то не помню, чтобы она тут проходила. Правда, я, кажется, немного вздремнул...

Бен лихорадочно соображал, куда теперь направляться. Неужели она действительно разгуливает по улицам? В такую-то погоду... Нет, это просто сумасшествие. Но тогда где же ее искать?..

— Если увидите ее, сразу звоните мне, хорошо? — велел он привратнику.

— Ну, конечно! — с готовностью отозвался тот, вскочил с ди-

вана и, запахнув пальто, начал прохаживаться по холлу, пытаюсь разогнать сон.— Я лучше постою у подъезда,— наконец сказал он и, прихватив зонтик, зашагал к выходу.

Бен подошел к лифту и, зайдя в кабину, задумался, стоит ли ему возвращаться домой ни с чем. Глядя на кнопки с номерами этажей, Бен чуть не вскрикнул. Подвал! Как он мог забыть про подвал? Конечно, только туда ее могло так неожиданно потянуть. Она наверняка там, внизу!

Бен дрожащей рукой нажал кнопку подвала, и лифт медленно пополз вниз. На этот раз ему показалось, что он едет слишком уж долго, секунды растягивались до бесконечности, и почему-то делалось жутко и хотелось поскорее выбраться из этой тесной кабинки.

Вот и подвал. Двери лифта раздвинулись, и Бен шагнул в темный коридор. Может быть, стоит покричать и позвать ее? Хотя нет, лучше, пожалуй, не шуметь.

Свернув за угол, Бен сразу почувствовал, что по пятам за ним кто-то идет, но явно не Фэй.

Он сделал еще несколько осторожных шагов. Сомнений не оставалось — тут определенно кто-то есть. И этот таинственный незнакомец старается, чтобы его не было слышно. Бен ясно различал за спиной постороннее дыхание, которое этот «кто-то» тщетно пытался сдерживать.

Коридор заплесал перед глазами. Но вот и маленькая комнатка с компактором. То самое злосчастное место, где все и произошло... Кровь. Труп. Смерть...

— Фэй,— негромко позвал Бен, решив, что если она находится в этой комнате, то обязательно должна услышать его.

Ответа не последовало, зато усилилось ощущение, что он здесь не один. Прижавшись к стене, Бен медленно двинулся вперед и, затаив дыхание, заглянул в злополучную комнату.

Красная лампочка над прессом для мусора исправно горела. И под ней неподвижно стояла Фэй, словно замороженная крохотным огоньком. Она будто окаменела и не отвечала ему.

— Фэй!

Бен смело шагнул вперед и схватил супругу за плечи, сразу почувствовав, как напряжено ее тело. Очевидно, она была в трансе. Он попробовал увести ее, но ноги Фэй были будто скованы судорогой, и Бен понял, что ее придется тащить на себе до самой квартиры.

Он ухватил Фэй за талию и, уже приготовившись к нелегкому пути, внезапно остановился: из коридора послышались странные звуки — какой-то приглушенный шелест, словно кто-то шаркал ногами по бетонному полу.

— Фэй,— еще тише проговорил Бен.— Ты меня слышишь?

И в этот момент из коридора раздался злобный смех.

— Эй, кто-нибудь есть здесь? — громко выкрикнул Бен.

Тишина.

Он осторожно высунул голову в коридор и хотел уже снова крикнуть, как вдруг ощутил резкую боль. Кто-то с силой ударил его по голове. Он тут же закрыл лицо руками и почувствовал на

пальцах кровь. Последовал еще один удар. Кто-то бил его кулаками.

И вот уже трое мужчин окружили Бена, присевшего от боли на корточки, и начали наносить ему новые удары по голове. Но теперь уже не руками, а коваными ботинками. Сквозь заливавшую глаза кровь Бен смутно видел лица нападавших. Они оказались темнокожими юнцами, не старше двадцати лет. У одного в руке блеснул нож. А у самого высокого он успел заметить на лбу широкий шрам.

Бен инстинктивно сжался в углу грязной каморки, но тут к нему подскочил парень с ножом и резанул по запястью. Остальные, расхохотавшись, принялись с двойным усердием избивать его. Потом оттащили к компактору.

— Ну что, испугался, паскуда? — спросил обладатель ножа.

«Господи... Неужели никто их не остановит?!» — в отчаянии думал Бен.

— Испугался, я спрашиваю?!

— Эй, ребята, вы только гляньте на эту сучку! — вдруг радостно выкрикнул другой. — Вот так добыча!

— Не трогайте ее! — закричал Бен.

— Заткнись, ублодок!

Бен заметил, как один из парней занес ногу, и тут же острая боль разлилась по всему его телу. Он согнулся и застонал.

Самый высокий подбежал к Фэй, разорвал блузку и укусил за грудь. Другой прокричал что-то по-испански.

Бен увидел, как парень полоснул Фэй ножом по груди и из раны хлынула кровь. Он хотел закричать, но лишь беспомощно раскрывал рот, задыхаясь от нестерпимой боли.

Тем временем бандиты повалили Фэй на пол и стали нещадно избивать ногами. Она пришла в себя и, увидев Бена, скорчившегося в углу у компактора, стала отчаянно звать его на помощь. Через несколько минут Фэй забили до такого состояния, что она опять отключилась и уже не реагировала ни на какие действия.

Бен бросился защищать жену, но его тут же схватили за горло и с размаху ударили головой о стену. Потом насильники поволокли Фэй на свет, к компактору.

— Пожалуйста, оставьте меня! — пронзительно завизжала она. — Мне больно!

— Заткнись, сука! — огрызнулся высокий парень с ножом. — Не то сейчас туго тебе придется.

— Нет! — выкрикнул Бен, перекатился на живот и пополз на помощь жене, скользя в шлейфе собственной крови. Наконец он добрался до одного из бандитов и, схватив его за ногу, угрожающе процедил:

— Я всех вас прикончу!

Но тут же увидел огромный черный каблук, стремительно несущийся прямо на него, а потом, ощутив резкую боль в голове, потерял сознание.

Стирая с лица капли дождя и пота, монсеньор Франкино со всех ног бросился к дому, пробежал под окном сестры Терезы

и влетел в темный холл, оставляя на полу цепочку грязных мокрых следов.

Очутившись в подвале, он без колебаний направился к комнате для прессовки мусора: если что-то произошло, то непременно здесь, в этом же самом месте.

Священник чувствовал, что ему недаром пришлось столько времени провести под дождем на крыше. Хотя сейчас было важно совсем не это.

Вот и последний поворот коридора. Комната перед ним, но вокруг все тихо. Что же на этот раз натворил Чейзен? И с какой целью?

Мысленно Франкино не переставал молиться, прося у Господа сил и мужества.

Вдруг ему показалось, что в подвале сделалось нестерпимо жарко. Стало трудно дышать. Или, может быть, это страх уже сжимает горло своей безжалостной черной лапой?..

Приближаясь к двери злополучной комнаты, священник крепко сжал на груди распятие и рванул дверь на себя.

Бен Бэрдет сидел у стены с лицом, похожим на кровавую маску. На коленях он держал голову жены. Фэй лежала на спине, невидящими глазами уставившись в потолок, и еле дышала.

Бен заметил Франкино и теперь молча разглядывал его.

Священник подошел к ним и встал на колени, тоже не говоря ни слова.

Бен облизал разбитые губы и посильнее прижал к себе истерзанную жену. Она болезненно застонала.

— А-а, монсеньор? — чуть слышно пробормотал Бен. — Мистер Франкино!

Внизу, под окнами квартиры Бэрдетов, послышались первые звуки пробуждающейся жизни. Фэй лежала в постели и беспокойно ворочалась во сне. Ее голову покрывала плотная марлевая повязка. Бен и монсеньор Франкино, оба вконец обессиленные, сидели в гостиной за столом и пили кофе из больших фаянсовых чашек. Последние полчаса Бен не отходил от Фэй ни на секунду, но теперь, когда она наконец заснула, ему вспомнились все обиды.

— Ну что ж, монсеньор, — начал Бен. — Видимо, пришло время поговорить начистоту и выяснить, где кроется правда.

Франкино виновато опустил глаза и отхлебнул большой глоток кофе.

— Игры кончились. И никаких спектаклей больше не будет.

— Так что вы делали ночью в подвале? — в упор спросил Бен.

— Я пришел туда за вами, — ответил Франкино, тяжело вздохнув. Он постоянно потел, и капли пота заполняли мелкие оспины и морщины на его лице.

— А как вы догадались, что мы именно там? — недоверчиво прищурился Бен.

— Просто я знал это, и все.

— Но откуда?

— Какая разница, мистер Бэрдет? — слегка поморщился священник. — Я знал, что вы там и что с вами должно случиться что-то плохое.

— Тогда почему же вы не остановили их раньше? — с негодованием спросил Бен.

— Я не мог.

Бен нервно дернулся и пролил немного кофе на скатерть.

— Что значит «не мог»? — возмутился он.

— У меня нет такой силы.

— Послушайте, монсеньор! — начал всерьез раздражаться Бен. — Ваши загадки мне еще в ресторане надоели. И сейчас я не в настроении решать ребусы. Но вы посмотрите, что получается: трое молокососов затащили нас к мусорному прессу и прилично избили. А через пять минут после того, как они скрылись, вдруг являетесь вы — эдакий друг и спаситель. И потом еще заявляете, что знали о грозящей нам опасности, но были не в силах ее предотвратить. Если бы это случилось с кем-то другим, я бы, возможно, посмеялся сейчас вместе с вами. Но дело в том, что именно мне совсем не до смеха.

Франкино придвинулся ближе к Бену.

— Сестра Тереза, которая живет по соседству с вами, когда-то на самом деле была Элисон Паркер, — сказал он, глядя Бену прямо в глаза. — А теперь она является Стражем, то есть все, о чем успел рассказать вам инспектор Гатц, целиком соответствует истине. И цитата из книги, которую приводил вам Гатц, тоже исполнена глубокого смысла. Вы правильно поняли роль и назначение Стража. Конечно, многое вам еще неизвестно, но и того, что вы уже знаете, вполне достаточно.

Наконец-то Бен услышал долгожданную правду!

— А почему именно сейчас вы решили все мне рассказать?

— Потому что мне нужна ваша помощь, — последовал лаконичный ответ.

— Какая? — напрягся Бэрдет.

— Сейчас объясню...

— А отец Макгвайр случайно не замешан как-нибудь в этом деле?

Франкино замолчал на секунду, а потом произнес:

— Нет. Я раньше даже не видел его, пока он мне сам не позвонил.

— Понимаю, — отозвался Бен и, в свою очередь, отер пот со лба. — Итак, сестра Тереза сидит у своего окна и ждет появления Сатаны. А что, если Сатане вздумается появиться не здесь, а где-нибудь в Эфиопии или каком-то другом Богом забытом месте?

— Это не имеет никакого значения, — впервые за все время улыбнулся священник. — Хотя Часовой находится здесь, в Нью-Йорке, сфера его власти и деятельности — весь мир. Место — понятие физическое, доступное человеческому восприятию. Но сестра Тереза может в любое время быть где угодно. Она ангел Божий на Земле... Впрочем, и ее физическое тело не обязательно должно находиться здесь — за последние несколько столетий место неоднократно менялось. Но это, как я сказал, никакой роли не играет, а зависит в основном от того, где удобней расположить

Часового с точки зрения безопасности его физического тела. Отец Галлиран, например, занимал квартиру в небольшом особняке, стоявшем когда-то на месте вашего дома. А сестра Тереза живет теперь рядом с вами... Что касается ее преемницы сестры Томазины, или, если угодно, Фэй Бэрдет, то она скорее всего будет находиться здесь же или где-то поблизости.

— Итак, вы решили, что Фэй... станет следующей стражницей? — холодея, проговорил Бен.

— Да.

— И вы думаете, я буду спокойно сидеть и смотреть, как вы воплощаете свой изуверский план в жизнь? — уже еле сдерживаясь, продолжал он.

Священник с виноватой улыбкой развел руками.

— У вас нет выбора, сын мой. Такова воля Господа. И не надо смотреть на это как на жестокость судьбы. Страж благословен. Ему протягивает руку прощения сам Господь Бог! Ибо, когда Сатана совратил человека и тот был изгнан из Рая, Бог, разгневанный таким предательством, решил, что отныне его небесные ангелы перестанут оберегать мир от вторжения Сатаны, а каждый раз эту нелегкую службу будет нести один из избранных им людей. Но охранять всех остальных он будет не просто так, а чтобы заслужить прощение за совершенный ранее смертный грех — попытку самоубийства. Вы, конечно, понимаете, что далеко не каждому из пытавшихся покончить с собой выпадает при жизни такой редкостный шанс. Так что быть избранным Богом — великое счастье!

— Вот это счастье, чтоб я сдох! — взорвался Бен. — Да вы же сами и отнимете у нее жизнь! Она сморщится, как чернослив, потом ослепнет, оглохнет, онемеет... И вдобавок ее разобьет паралич. И вы еще уверяете меня, что все это великое счастье?!

— Послушайте, сын мой, — терпеливо объяснял священник. — Вы рассуждаете о мире лишь с примитивной точки зрения плотского человеческого тела. Но красота с годами уходит, люди старятся и умирают. Плоть превращается в прах. Она, в сущности, является бесполезной материей. Только душа несет в себе суть жизни, искру Божию. И за душу надо бороться. А душа Фэй сейчас в опасности, ведь она совершила смертный грех, пытаясь убить себя. И этот грех надо искупить, иначе душа ее навсегда попадет в ад. У Фэй есть сейчас такая возможность, поскольку именно она избрана для того, чтобы уберечь этот мир от пришествия Сатаны. И если она выполнит свой долг, на нее снизойдут милость и благодать Божия, а душа ее будет вечно пребывать в Царствии Его... На вашем месте я бы просто молился, чтобы все прошло благополучно и она сменила сестру Терезу на этом божественном посту.

— А с какой стати я должен молиться, — с усмешкой заговорил Бен, — если Бог и так все давно уже решил без меня?

— Потому что ему противостоит сила, которая обладает почти такой же властью, — сила Сатаны. И если кандидат в Часовые согрешит еще раз — наложит на себя руки и смены не произойдет, цепь будет разорвана, и никто больше не защитит человечество от Лукавого. Он ворвется в наш мир и установит здесь свой

порядок. Естественно, Сатана будет всячески искушать вашу жену, чтобы не дать ей занять этот пост. Он постарается, чтобы она еще раз совершила попытку убить себя, прежде чем произойдет ее перевоплощение в Часового. Но мы не можем допустить этого, иначе человечество будет обречено. Все, что угодно, только не это!

— И как же вы собираетесь предотвратить дьявольские козни? — скептически скривился Бен.

— Я пока что и сам не знаю, — вздохнул Франкино. — Но перво-наперво надо определить, где находится дьявол.

— Так пускай вам подскажет ваш Часовой!

— К сожалению, это невозможно. Ведь силы Сатаны неизмеримы, он может принимать любой вид и находиться в любом месте. Его очень трудно обнаружить, но именно это мы обязаны сделать. Потому что бороться с ним возможно только тогда, когда знаешь, где он находится. А Часовой лишь чувствует присутствие Сатаны. По всем признакам дьявол сейчас находится в этом здании. Но он весьма искусно замаскировался и ждет своего часа. Вполне возможно, что он принял облик того несчастного, чей труп нашла в компакторе ваша жена. Я почти уверен, что он специально уничтожил тело, а сам теперь выдает себя за убитого. Да... Он где-то рядом. Я чувствую это. Мне ведь приходилось уже однажды с ним сталкиваться. И сейчас я ощущаю вокруг вибрации, от которых меня, признаться, бросает в дрожь.

— Неужели, монсеньор, вы боитесь его? — удивился Бен. — Вы же под покровительством Церкви, Бога и всех святых... — Он мрачно усмехнулся.

— Мы все должны бояться его! — с тревогой в голосе предупредил священник. — Это очень коварный и безжалостный враг. Вы что же, так ничего и не поняли из того, что я рассказал?

Бен согласно кивнул, давая понять, что и он уже успел почувствовать злобное присутствие нечистого где-то рядом. Страх постепенно овладевал им.

— А какова ваша роль во всем этом мероприятии? — поинтересовался он.

— Я простой слуга Господа. И приехал сюда, чтобы защитить в последние дни сестру Терезу и проследить за тем, чтобы ваша жена вовремя заняла место Стража. — Затем он протянул руку к окну. — Но сестра Томазина уже не сравнится с другими Часовыми, бывшими тут раньше. Мы специально воздвигаем здесь этот собор, который станет для нее настоящим щитом и одновременно памятником мученичеству. Он укрепит, защитит и умножит ее силы. Очень скоро вы увидите, как вознесется вверх гордый шпиль храма — благословенного здания, с высоты взирающего на город. Произойдет смена Стража, и Фэй будет ждать бессмертие!

— А если ваш план провалится?

— Да поможет нам Господь... — смиренно ответил священник.

— Значит, вы хотите, чтобы я вам помог? — еще раз уточнил

Бен.

— Да, — кивнул монсеньор.

— Но как? Если и вы, и ваша монахиня, и все прочие священники тут бессильны, как же сумею я?

— Уверяю вас, это вполне в ваших силах. Надо лишь слушаться меня и выполнять то, о чем я попрошу. А потом...

Бен яростно стукнул кулаком по столу и наклонился к самому лицу священника.

— Да вы не соображаете, что говорите! Вы же предлагаете помочь уничтожить мою собственную жену!

— Мистер Бэрдет, не забывайте! — предостерег Франкино.

Но Бен уже схватил его за воротник и вытащил из-за стола, хотя священник не пытался сопротивляться или вырваться из его рук.

— Так вы хотите, чтобы я сам уничтожил ее?! Негодяй! — кричал он.

Франкино медленно выпрямился и отвел в сторону руки Бена.

— Я попросил бы вас быть немного сдержаннее, мистер Бэрдет. Ваш темперамент не поможет ни вам, ни мне. Не хотелось бы слишком обнадеживать вас, но должен сказать, что у Церкви есть и альтернатива в смысле физического состояния Стража...

— Что вы имеете в виду? — нахмурился Бен.

— Более подробно я не имею права рассказывать. Однако есть способ изменить судьбу вашей жены таким образом, что это будет не во вред ни ей, ни другому смертному. Но это можно сделать только с вашей помощью, хотя и очень сложно...

— Вы же наперед знаете, что я согласен на все, — вздохнул Бен.

— Не сомневаюсь.

— Правда, при условии, что я вам доверил.

— Мистер Бэрдет, если после всего, что вы сами видели и лично пережили, у вас остаются еще какие-то сомнения относительно роли Стража и грозящей всему миру опасности, то вы, извините, просто чокнутый. Или непреходимый болван.

Бен лишь молча кивнул в ответ.

Франкино подошел к окну.

— Я буду давать вам указания... Для начала вы должны организовать мне встречу со всеми жильцами этого этажа.

— А почему именно этого? — удивился Бен.

— Да потому что Сатана находится здесь! — с отчаянием воскликнул священник.

— Ну, хорошо... Только, прежде чем вы уйдете, мне все же хотелось бы узнать, что на самом деле произошло в подвале?

— Вас и вашу жену избили.

— Это понятно. Но кто? Трое случайных подростков с улицы? Франкино подошел к двери, остановился и резко повернулся к Бену.

— Нет. Никаких подростков в подвале не было. И вообще, кроме вас и Фэй, в подвал никто не заходил. Это был хорошо разыгранный спектакль. Автор сценария, режиссер и исполнитель — Чарльз Чейзен, то есть сам Сатана.

С этими словами священник открыл дверь и хотел уже шагнуть в коридор. Но в последний момент его лицо приняло озабоченный вид, и он добавил:

— Правда, я не знаю, зачем ему это понадобилось.

Бен опустил на стул и обхватил голову руками. Так он просидел несколько минут, а потом не выдержал и заплакал.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— А я так уже волновался! — объявил Джон Сорренсон, жуя очищенную морковь. — Это ведь совсем непохоже на вас с Беном — вдруг закрыться в квартире и оборвать связь со всем миром, да еще на целых десять дней!

— Нам просто хотелось побыть немного вдвоем, — улыбнулась Фэй, не выдавая их секрета. Бен предупредил ее, что о происшедшем в подвале не должен знать никто, равно как и об истинной причине десятидневного затворничества. — Мы так долго не оставались наедине.

— Да, но запереться от друзей? Избегать нас, прятаться. Даже не предупредить в конце концов, — продолжал журить их старик.

— Джон, ну как вы не можете понять... — вздохнула Фэй.

— К счастью, Бирок успел предупредить меня, что разговаривал с вами и вы оба в полном порядке. Я слегка успокоился, а то пришлось бы вызывать полицию, — сказал Сорренсон и улыбнулся.

— Джон, я всегда знала, что вы о нас беспокоитесь и что на вас можно положиться в трудную минуту. — Фэй улыбнулась ему в ответ.

На вечеринку, устроенную Бэрдетами, собирались все новые гости. Макс Вудбридж, увидев Фэй, тут же сделал ей комплимент, оценив ослепительную улыбку и здоровый цвет лица.

Бен сидел в другом конце комнаты и наблюдал за гостями. Наконец подтянулись и опоздавшие. Теперь, кроме Лу Петросевича и сестры Терезы, в квартире собрались все обитатели десятого этажа. Включая, по словам Франкино, и самого Чарльза Чейзена. Вот только где он среди этих милых и симпатичных людей?..

— Я только что говорил с вашим приятелем, — сообщил Дженкинс, подходя к хозяину квартиры. — И должен сказать, что он весьма интересный человек. Почему вы раньше не приглашали его в нашу компанию?

— Я приглашал, — вздохнул Бен, оторвавшись от своих мрачных мыслей. — Но только он вечно занят... Хотя на этот раз мне, кажется, повезло.

— Неужели у него совсем не бывает свободного времени? — удивился Дженкинс.

— Он профессор, преподает историю религии в Нью-Йоркском университете, — ответил Бен. — И лишь когда я рассказал ему о нашей знаменитой монахине, он нашел наконец время посетить меня.

— И что он думает по этому поводу?

— Он считает, что это просто очень несчастная женщина.

— А с точки зрения религии она не заинтересовала его?

— Хотите верьте, хотите нет, Ральф, но я слово в слово повторил вам его ответ.

Бен взглянул на своего гостя: монсеньор Франкино, удобно расположившись на широком диване. Сейчас на нем была мирская одежда.

— Знаете что, Бен... — продолжал Дженкинс. — Может быть, он не слишком разбирается в монахинях, но это не беда. Главное, он оказался великолепным знатоком антиквариата! Любый человек, свободно владеющий столькими языками и часто посещающий Европу, не может остаться равнодушным к предметам быта и особенно мебели.

— А мне казалось, что Билл знает только английский и итальянский, — «удивился» Бэрдет.

— Ну что вы, Бен! Он прекрасно говорит по-немецки, по-испански, по-французски, неплохо знает русский и польский.

— Да, это впечатляет, — признался Бен, заметив, что Франкино поднялся со своего места и теперь направляется к ним. Он постоянно был начеку и старался не пропустить ни одного движения, ни единого слова кого-либо из гостей. И это было вполне объяснимо. Ведь таинственный противник хорошо знал и видел его, а Франкино еще не сумел определить, кто из присутствующих Чарльз Чейзен.

— Бен, — с непринужденной улыбкой обратился Франкино к хозяйну. — Вы не представляете, как мне у вас нравится!

— А я очень рад, что вы выкроили наконец время и пришли.

— И жена у вас просто замечательная, — продолжал монсеньор. — Настоящая хозяйка!

— Спасибо, — вежливо ответил Бен, оглянувшись на Фэй. — Кстати, а я и не знал, что вы у нас полиглот, Билл.

— Ну, некоторые языки я знаю весьма поверхностно, — смутился Франкино.

— Да вы просто скромничаете! — не отступал Дженкинс.

— Нет уж, скромность мне не грозит. Я ведь жуткий эгоист! — Он посмотрел на часы. — Знаете, Бен, мне уже пора... Надо еще поработать, а времени, как всегда, в обрез.

— Вот уж никогда не подумал бы, что у преподавателей бывают проблемы со свободным временем! — заметил Дженкинс, поправляя лацкан идеально сшитого пиджака.

— А над чем вы сейчас работаете? — поинтересовался Бен. Этот вопрос был заготовлен заранее по сценарию Франкино.

К ним присоединился Дэн Батиль, желавший услышать что-нибудь интересное.

— Я исследую неканонические религиозные обряды и местные поверья в славянских государствах эпохи Возрождения.

— Это связано с православием? — спросил Батиль.

— Отчасти, да. Но меня интересуют и другие влияния на религию этих стран.

— Какие же?

— Например, на территории нынешней Болгарии было несколько провинций, где жили члены одной секты, обряды которой напоминают смесь православного богослужения и черной магии. Они верили в неиссякаемую силу креста, раз в году собирались все вместе, чтобы выявить приверженцев Сатаны и наказать их.

— Каким же образом им это удавалось? — раздался вдруг голос Сорренсона. Никто и не заметил, как он подошел сзади.

— Они считали, что сатаниста можно определить при помощи креста, выплавленного из особой белой руды, добываемой на востоке Болгарии. Такой крест оставлял якобы ожог на теле дьяволопоклонника, да и на самом дьяволе. Так вот, они проводили весьма сложные и запутанные ритуалы, а потом заклеивших приговаривали к смерти.

— И что же, крест действительно кого-нибудь обжигал? — не поверил Сорренсон.

— Ну, теперь трудно сказать. Хотя есть точные данные о том, что после подобных ритуалов многих сжигали на кострах.

— Скажите, а такие кресты еще существуют? — поинтересовался Бен, хотя ответ ему был известен. Еще утром Франкино осмотрел привезенное из круиза распятие и подтвердил, что это именно такой крест.

— Да, несколько настоящих крестов сохранилось. Среди сотен подделок я сумел опознать целых три. И все они находятся в частных коллекциях в Бухаресте.

— И вы утверждаете, — не унимался Батилль, — что одно лишь прикосновение таким крестом может вызвать ожог на теле?

— Да, но только если дотронуться крестом до сатаниста во время особого ритуала.

— Какой вздор! — фыркнул Сорренсон.

И пока он пытался выяснить у Франкино, откуда взялось такое поверье, Бен подошел к письменному столу и извлек из ящика свое распятие.

— Скажите, а такой крест не подойдет? — спросил он, подходя к гостям.

— Я думала, ты его давно уже выкинул, — недовольно произнесла Фэй, подойдя к мужчинам.

Бен оглянулся, виновато пожал плечами и передал распятие монсьёру.

Франкино неторопливо осмотрел крест и с сожалением произнес:

— Нет. Конечно, нет. Настоящие кресты для таких ритуалов — большая редкость, и они представляют собой огромную ценность.

— Вы знаете, как проводится этот ритуал? — спросил Бен.

— Да, — невозмутимо ответил Франкино. — А что?

— Так давайте попробуем!

Но Сорренсон тут же замахал на него руками.

— Бен, перестань! У нас нормальная вечеринка, а не спиритический сеанс.

— Да бросьте вы, Джон! Это же интересно. — Он посмотрел на Фэй. — Если, конечно, ты не против, дорогая.

Фэй ничего не ответила.

К Бэрдету подошел Макс Вудбридж и тоже заметил:

— В самом деле, Бен, по-моему, сейчас не время заниматься такими вещами.

Но Бен, не обращая внимания на его слова, уже вышел на

середину комнаты и громко объявил, что сейчас его приятель мистер Франкино будет демонстрировать интересный священный ритуал.

— Может, действительно не надо? — попробовал отступить Франкино.

В комнате все притихли.

— Ну, прошу вас! — настаивал Бен.

Франкино пожал плечами и попросил гостей встать в круг, потом провел на полу черту мелом, разделив круг на две части, сам встал посередине и велел выключить свет. После этого он начал бормотать что-то по-латыни. Это длилось несколько минут, а затем голос его стал громче.

Было слышно, как вокруг тяжело дышат гости, замершие в напряженном ожидании. Вудбриджи стояли вместе, а Бен и Фэй оказались друг против друга. Две секретарши и Баттль — напротив Сорренсона и Дженкинса.

Наконец Франкино поднял над головой распятие и, начав быстрее произносить заклинания, шагнул вперед.

Вдруг он издал страшный вопль, который сразу же оборвался, звоном повиснув в тишине комнаты.

Бен бросился включать свет.

Священник упал на колени и, задыхаясь, схватился за сердце.

— Что случилось? — крикнул из угла Бен.

Смущенные гости не знали, что делать, и переминались с ноги на ногу, не решаясь покинуть свои места.

Франкино указал рукой на черную спортивную сумку, которую оставил возле стола. Макс Вудбридж подбежал к ней и расстегнул «молнию». Внутри он сразу нашел пузырек с таблетками и передал его Бену.

— Это? — спросил Бен.

Франкино кивнул и тут же повалился на правый бок, корчась от боли.

Грейс Вудбридж бросилась в кухню за водой.

Франкино затрясся, лицо его побледнело и начало отекать, приобретая синюшный оттенок.

Бен подскочил к священнику и сунул ему в рот таблетку, а потом поднес стакан и с грехом пополам напоил беднягу, при этом расплескав ему воду на грудь.

— Откройте окно! — крикнул Бен. — Здесь душно!

Секретарши тут же кинулись открывать окна во всех комнатах.

Постепенно Франкино стал приходить в себя. Он поднялся на колени, и, хотя все еще держался за сердце, Бен видел, что боль понемногу стихает и ему теперь значительно легче.

— Ну как, все в порядке? — участливо спросила Грейс Вудбридж.

Франкино с трудом встал на ноги и через силу улыбнулся.

— Да... Проклятая грудная жаба! Мучает меня уже столько лет... Но это проходит. Стоит принять таблетку нитроглицерина — и сразу же отпускает.

— Может, вам лучше прилечь? — предложил Бен, подходя к священнику.

Но Франкино лишь отмахнулся.

— Ничего серьезного. Давайте продолжим,— предложил он.

— Мистер Франкино,— обратилась к нему Грейс Вудбридж,— по-моему, вам следует отдохнуть. Такое напряжение...

— Все уже прошло. Становитесь на свои места.

Сорренсон и Батилья дружно заявили, что уйдут, если все это будет продолжаться. Но Бен резко запротестовал:

— Я никого отсюда не выпущу.

— Бен, ты что, спятил? — изумился Сорренсон.

— Нет,— спокойно ответил Бен.— Просто я хочу, чтобы ритуал был доведен до конца.

— Ну ладно, давайте,— сдался старик.

Бен проследил, чтобы все встали в круг, и снова потушил свет. Франкино сразу же поднял распятие и шагнул вперед. И тут Бен почувствовал: было такое ощущение, словно по коже его кто-то водил куском льда.

Наконец Франкино перестал читать заклинания и замолчал.

«Интересно, кто-нибудь еще чувствует этот странный холод?» — думал Бен.

Между тем ощущения усиливались, и Бен начал дрожать. Священник почему-то молчал, хотя, судя по всему, должен был и дальше читать молитвы.

— Я начинаю замерзать,— тихо произнесла одна из секретарш.

И вдруг послышался странный звук. Франкино вновь закричал, и кто-то сразу же включил свет.

Священник лежал в углу комнаты возле перевернутого кресла и отбивался от невидимых рук, которые, судя по его движениям, сжимали его горло, пытаясь задушить. Над правым глазом у него был порез, из которого текла кровь, а лицо покраснело от удушья.

Бен в ужасе бросился ему на помощь.

— Что это?! — крикнул он.

Изо рта священника показалась пена, глаза закатились. Бен растегнул ему ворот рубашки и поднял с пола распятие.

Гости не шевелились.

— Надо вызвать врача,— решительно сказал Дженкинс.

— Нет! — сердито выкрикнул Бен.— Никаких врачей!

Фэй заплакала и упала на колени.

Неожиданно Франкино перестал извиваться и медленно поднялся с пола.

— Что это было? — спросил его Бен, приходя немного в себя.

— Чейзен не дает мне закончить ритуал,— тихо ответил тот.

— Какой еще Чейзен? — удивился Сорренсон. Священник произнес это имя довольно громко, и все гости его услышали.

— Чейзен? Сам не знаю,— произнес Франкино и с недоумением оглядел окружающих.

Все тело священника покрывал липкий пот. Он лежал на полу лицом вниз, прижав руки к груди с такой силой, словно хотел достать пальцами до самого сердца. Глаза Франкино были закрыты, и он ощущал сейчас только страшное напряжение артерий — приближающийся новый приступ стенокардии.

Франкино медленно открыл глаза и посмотрел вверх. За окном было по-прежнему темно, краем глаза он видел контуры одежды сестры Терезы, а кислородный запах от ее тела распространялся по всей комнате.

Боль не давала ему пошевелиться.

Он мог бы предвидеть, что Чейзен не даст ему завершить ритуал. По крайней мере теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что Чейзен находится здесь, в этом доме, и именно на этом этаже!

Его мысли вернулись в прошлое. Поплыли яркие воспоминания: ужас, боль и лицо Элисон Паркер в ту ночь, когда произошло ее перевоплощение в Стража. А было это целых пятнадцать лет назад...

Образы мелькали перед глазами.

Майкл Фармер, узнавший правду о Часовых... Он выкрал папки из Управления епархии и поклялся изменить судьбу Элисон.

Фармер приехал к особняку около полуночи. Наблюдая за ним из своего укрытия в доме, Франкино страшно перепугался, когда тот обнаружил надпись над воротами Ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Потом было напряженное томительное ожидание. Отец Галлиран спустился вниз, на первый этаж, желая предупредить Майкла, что смертный бессилен что-либо изменить. Но Фармер не понял этого и пошел за Галлираном в его квартиру, рассчитывая выведать у старика всю правду. Однако, ничего не добившись, он схватил священника за горло и, повалив, сильно ударил его головой об пол. Тут уже надо было срочно остановить непредвиденное вмешательство Майкла Фармера. Франкино вышел из своего укрытия с бронзовым подсвечником в руке и бил им Фармера по голове до тех пор, пока тот не затих окончательно.

Пытаясь выкинуть из головы эту сцену, Франкино подполз ближе к стулу сестры Терезы. Теперь он видел ее лицо, освещенное бледным месяцем. Внезапно ему почудилось, что веки монахини шевельнулись. Но нет, невозможно. Это были совсем не те глаза перепуганной девушки, которая пятнадцать лет назад в трансе вошла в особняк, надеясь отыскать своего Майкла. Она, конечно, не знала, что уже повинуется высшим силам, находящимся далеко за пределами ее человеческого понимания, и эти силы повелевают ей прибыть сюда для великого перевоплощения.

И снова Франкино спрятался в тени дома, наблюдая, как она ищет своего приятеля, а находит лишь кровавый след на полу и одну из его запонок. Элисон, испугавшись, заперлась в своей комнате. Вскоре она услышала рядом чьи-то шаги и спряталась в шкафу. И хотя сам Франкино был в это время в квартире священника, он прекрасно знал, что происходит в комнате Элисон. Призрак Фармера предстал перед ней, поскольку он присоединился к легионам Сатаны, так как душа его была обречена на вечные адские муки за убийство первой жены. И теперь Фармер стал инструментом в руках дьявола, с помощью которого тот надеялся еще раз толкнуть Элисон на самоубийство. Но

когда девушка увидела, что Майкл мертв и все же разговаривает с ней, она в ужасе бросилась вниз по лестнице, где ее уже поджидал Чарльз Чейзен, который тоже стал уговаривать ее перерезать себе вены. Но Элисон кинулась назад к себе. Тогда ее окружили бесчисленные слуги Чейзена, включая ее мнимых соседей, Майкла Фармера и ее собственного отца. Все они также принялись убеждать Элисон покончить с собой. Повсюду появлялись страшные фигуры солдат легиона дьявола. Пытаясь скрыться, она забежала в первую попавшуюся пустую квартиру, но они тут же вошли следом за ней. Они умоляли Элисон присоединиться к ним, встать в их ряды, предать своего Бога. И в этот момент Франкино привел отца Галлирана в холл. Армия потерянных душ окружила их, угрожая и мешая идти. Бесформенные твари сотнями кидались на священника и тут же растворялись, а их место занимали новые. Среди адского гула и вихря призраков они искали преемницу Галлирана — Элисон Паркер. Избранницу Божию. Нового Стража.

Время, казалось, остановилось. Но все-таки они нашли ее в пустой холодной квартире, окруженную многочисленными рабами дьявола — визжащими, скулящими и умоляющими побыстрее занять место среди них. Элисон лежала на полу. Она дрожала и уже теряла остатки сил. Франкино помнил тот ужас, который охватил слуг Нечистого, когда он передал крест из рук священника в руки Элисон Паркер. Правда, кроме этого ощущения, он мало что помнил. Остальное смешалось в каком-то диком водовороте. Еще он, помнится, поцеловал перстень на руке отца Галлирана, произнес над его безжизненным телом прощальную молитву, а потом стал молиться о том, чтобы Господь простил и его собственную грешную душу, после чего схватил за руку сестру Терезу, бывшую Элисон Паркер, и вывел ее из дома.

Так все и было, и так закончилось. И так все опять начинается сначала.

— Господи, помоги мне! — закричал он и схватился за ножку стула, на котором сидела сестра Тереза. — Дай мне силы! Молю Тебя лишь об этом! Дай мне силы!

Франкино опустил голову, чувствуя, как по лицу его струится пот, свернулся на холодном полу калачиком и стал ждать, когда взойдет солнце и обогреет его.

В начале одиннадцатого утра монсеньор вошел в свой кабинет в Управлении нью-йоркской епархии. От усталости он едва мог идти. На верхней губе запеклась кровь, черты лица заострились, резко обозначив скулы. Отец Макгвайр уже ждал его в кабинете.

— С вами все в порядке? — спросил он.

— Да, — еле слышно ответил Франкино.

— Чейзен был там, в комнате?

— Да.

— И не дал вам довести до конца ритуал?

— Совершенно верно.

Макгвайр присел на стул напротив хозяина кабинета.

— Бирок закончил свою работу, — сообщил он и передал Франкино папку с бумагами.

Монсеньор тут же открыл ее и просмотрел документы.

— Он сделал все, что мог,— продолжал Макгвайр.— Тут данные на Батилля, Дженкинса, Сорренсона, Макса Вудбриджа и Лу Петросевича. Все сходится с нашей информацией, за исключением Дженкинса. По нему не удалось проверить ни одного факта. Так что Дженкинс — настоящая загадка для нас. Не исключено, что он и есть Сатана.

Макгвайр замолчал в ожидании ответа.

Франкино продолжал молча листать обстоятельные отчеты Бирока.

Наконец он оторвался от бумаг и поднял глаза.

— Пусть Бирок еще раз проверит Дженкинса. И еще необходимо достать копии документов о рождении Джозефа Бэрдета.

— Их ребенка?

Франкино кивнул.

— А зачем? — удивился священник. — Чейзен ведь не может быть младенцем. Да и тело, найденное в компакторе, принадлежало взрослому мужчине... И потом, как он может влиять на Часового, все время находясь в детской кроватке?

— Делайте, что я говорю! — сердито проворчал монсеньор. — Я хочу, чтобы ребенка тоже проверили, и все документы о его рождении были у меня. Причем сделать это надо немедленно. Вам понятно?

Макгвайр молча кивнул, потрясенный вспышкой гнева Франкино и таким странным решением насчет маленького Джои.

— Мне надо разгадать, зачем Чейзену понадобился тот спектакль в подвале, с избиением, — объяснил монсеньор. — Это тоже сейчас очень важно. Потому что именно этот случай может каким-то образом вывести нас на личность Чейзена.

С этими словами Франкино снова углубился в бумаги, собранные исполнителем Бироком.

Макгвайр подождал еще немного и, убедившись, что разговор закончен, вышел из комнаты.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Дневной смог начал рассеиваться с заходом раннего весеннего солнца. Была половина восьмого вечера. Но улицы никак еще не могли избавиться от бесконечного потока машин. Прошло уже три дня с тех пор, как монсеньор Франкино так неудачно пытался провести старинный обряд на квартире Бэрдетов. За это время случились не очень значительные события: Фэй вернулась на работу, в доме постепенно начали забывать о том неслыханном происшествии, и жизнь понемногу вошла в прежнее русло. Никаких новых указаний от Франкино не поступало.

— Хорошо, что мы решили прогуляться пешком, — сказала Фэй, взяв мужа под руку.

Бен улыбнулся и поцеловал ее.

— Какой чудный вечер! — улыбнулась Фэй, закинув голову и рассматривая верхушки деревьев.

Они гуляли по Центральному парку уже второй час.

— Я ничего не слышу, — признался Бен, сжимая ладонь жены и оглядываясь вокруг. Темные заросли старого парка волновались на ветру, и длинные тени на траве стали похожи на скрещенные рапиры.

— Но я точно слышала шаги! — настаивала Фэй. — Я слышу их уже минут пять. А когда мы останавливаемся, они тут же стихают.

— По-моему, у тебя просто разыгралось воображение, — постарался успокоить ее Бен, но сам тут же засомневался в своем предположении.

— Бен, мне страшно. Давай скорее выбираться отсюда.

— Хорошо, тогда пошли быстрее. Эта тропинка выведет нас на улицу.

Они двинулись вперед, но на этот раз и Бен услышал шаги за спиной. Он резко обернулся, а Фэй зажала руками рот, чтобы не завизжать от страха.

Опять тишина. Но стоило им сделать шаг — звуки возобновились.

Тогда Бен сошел с тропинки и решил проверить кусты, но Фэй сразу же закричала:

— Бен! Не бросай меня одну!

Он тут же вернулся, сообразив, что искать кого-то в кустах в такой темноте и опасно, и просто глупо.

— Бежим, — тихо сказал он и подтолкнул Фэй по направлению к выходу.

Она рванулась вперед, но тут же снова застыла на месте. Футах в шестидесяти от тропинки стоял какой-то мужчина и держал в руке длинный темный предмет. А сзади слышались приближающиеся шаги.

Бен заметался.

— Бен! — умоляюще зашептала Фэй, задыхаясь от ужаса.

Тогда он шагнул вперед к темному силуэту и близоруко прищурился. Может быть, сейчас самое время позвать на помощь?..

Человек размахивал правой рукой, хотя тело его оставалось неподвижным. А шаги теперь сделались совсем тихими — тот, кто преследовал их, очевидно, ступал по траве, прячась где-то в кустах. Их окружали!.. Но кто же стоит впереди?.. Связан ли он с невидимым преследователем? И зачем ему вообще понадобилось приходить ночью в парк? Неужели он забыл об опасностях, которые могут подстергать здесь в такое время?

— Давай сюда! — прошептал Бен жене, и они свернули с тропинки. В полной темноте Фэй оступилась, упала и разбила коленку. Но Бен тут же поднял ее, и они снова начали продираться через колючки и шипы сорняков.

— Теперь сюда!

Шаги стали громче. Но Бэрдеты уже выбрались к свету. Поток машин с зажженными фарами, уличные фонари и освещенные окна зданий прибавили им сил. Выбежав на улицу, Фэй впервые обратила внимание на боль в колене и кровь, стекающую по ноге.

Она в изнеможении опустила на ближайшую скамейку и вытянула больную ногу. Бен рванул назад, к тому месту, где они впервые увидели преградившего им путь незнакомца, только

теперь он бежал с другой стороны ограды парка, по улице. Мужчина по-прежнему стоял в тени под деревьями и размахивал чем-то. Бен, энергично жестикулируя, выскочил наперерез первой же патрульной полицейской машине. Она затормозила, и оттуда вышли двое высоких темнокожих полицейских. Бен сбивчиво рассказал им о том, что случилось с ним и женой в парке. Один из патрульных вынул мощный фонарь и направил луч света на то, что Бардеты приняли в темноте за человека. Это был испорченный парковый фонарь. Какой-то шутник накиннул на него старое пальто и привязал к правому рукаву палку. Полицейские дружно рассмеялись. Бен, запинаясь, поблагодарил их, вернулся к скамейке, где сидела Фэй, и рассказал ей о случившемся. Все еще дрожа, она обняла его и буквально повисла на шее.

— Представляешь, какие мы с тобой трусишки! — улыбнулся Бен.

Но она с сомнением покачала головой.

«А как же шаги сзади? — пронеслось в голове Бена. — Ведь их-то слышали мы оба! Кто-то шел за нами, тут не может быть никаких сомнений».

Он сделал несколько шагов назад в парк по заросшей узкой тропинке, прислушался и, сжав кулаки, нырнул в темноту. Но, не найдя никого под деревьями, Бен понял, что их преследователь успел сбежать.

С бешено колотящимся сердцем он вернулся к Фэй и помог ей подняться на ноги. Вдруг впереди мелькнула фигура человека, неизвестно откуда выскочившего на тротуар и пытающегося остановить такси. Хотя была ночь и расстояние до такси не позволяло Бену разглядеть все как следует, он ни секунды не сомневался, что перед ним сейчас никто иной, как отец Макгвайр.

Но он ничего не сказал Фэй. Они подождали, пока сменятся огни светофора, и зашагали к 89-й улице. Бен тщетно пытался понять, зачем священнику понадобилось следить за ними. Мозг его лихорадочно перебаривал варианты возможного развития событий. Бен лишь удивлялся, как он только не додумался до этого раньше! Ведь понятно же, что отец Макгвайр тоже участвует в заговоре...

Джо Бирок открыл им входную дверь.

— Миссис Бардет, что стряслось? — взволнованно спросил он, увидев, что Фэй прихрамывает.

— Все в порядке, Джо, — поспешил успокоить его Бен. — Она, правда, порядком устала. И еще, Джо, у вас не найдется стакана воды?

— Ну, разумеется! Сейчас. Подождите секундочку...

Бирок бросился в свою каморку и в ту же минуту вернулся оттуда с пластиковым стаканчиком, полным воды.

Бен взял у него воду, положил сумочку Фэй на банкетку в холле и, приставив стаканчик к ее губам, стал уговаривать сделать хотя бы несколько глотков.

— Мы гуляли по парку, — объяснил он Бироку. — И как только меня угораздило идти туда в такую темень?

Бирок понимающе кивнул.

— Меня туда и не заманишь после семи,— сказал он.— Там ведь одни хулиганы бродят, не говоря уж о том, что самому можно запросто свернуть себе шею.

— Вы совершенно правы,— подхватил Бен.— К тому же мы услышали там какие-то шаги за спиной, и Фэй перепугалась, а потом у нее закружилась голова...

— Ну, хватит делать из мухи слона,— остановила она поток красноречия мужа.— А то Джо всерьез начнет волноваться. Все уже прошло.

— Ну что вы, миссис Бэрдет! Я и так всегда волнуюсь за вас. Если вам что-нибудь понадобится, я первый приду к вам на помощь,— отозвался привратник.

Фэй улыбнулась. Бен дружелюбно похлопал Джо по плечу. Тот заспешил вперед и нажал кнопку вызова лифта.

Бен помог Фэй войти в кабину, а Бирок направился на свой пост к входным дверям.

— Нажмите, пожалуйста, десятый,— попросил Бен мужчину, стоявшего у панели управления.

Мужчина всем телом подался вперед и нажал кнопку «10». Двери закрылись, и лифт начал подниматься. Бен заботливо поддерживал жену, а сам внимательно разглядывал попутчика.

И вдруг какое-то неведомое чувство подсказало Бену, что тут не все ладно.

Казалось, мужчина смотрит куда-то сквозь него. Он был высокого роста, худощавый, с темно-кариыми, как у гипнотизера, глазами, тонкими чертами лица и смуглой кожей. На незнакомце была яркая спортивная куртка и белая рубашка, на рукавах которой блестели золотые запонки с выгравированными на них буквами «М. С. Ф.». Верхняя пуговица рубашки оказалась расстегнутой, и на воротничке виднелось темное пятно.

— Добрый вечер,— поздоровался Бен.

Мужчина кивнул и молча уставился на него.

— Что-нибудь случилось? — прошептала Фэй, чувствуя, как напряглось тело мужа.

— Не знаю,— тоже шепотом ответил он, понимая, что приключение в парке делает его слишком уж подозрительным.

Лифт продолжал ехать вверх, слегка вибрируя и покачиваясь.

— Вы забыли нажать свой этаж,— напомнил Бен незнакомцу.

Мужчина глянул на пульт. Горела только одна кнопка — десятого этажа. Он улыбнулся и прикрыл глаза.

Бен с тревогой взглянул на Фэй и понял, что она тоже забеспокоилась, не понимая, что тут все-таки происходит.

— А к кому вы едете на десятый этаж? — как можно мягче спросил Бен.

Мужчина посмотрел на него, прокашлялся, улыбнулся, обнажив безукоризненные белые зубы, и снова ничего не сказал.

Лифт затормозил и остановился. Бен и Фэй вышли в холл. Незнакомец тоже вышел из лифта, но не пошел по коридору, а остановился, наблюдая за ними.

— Может, вам нужна наша помощь? — поинтересовалась Фэй.

Мужчина отрицательно покачал головой.

Фэй схватила мужа за руку, и он почувствовал, что она сильно дрожит.

Мужчина медленно двинулся к ним, но потом остановился, потому что как раз в этот момент на этаж поднялся служебный лифт. Из него вышел Бирок и подал Бену сумочку Фэй, которую они случайно забыли внизу, пока Фэй пила воду.

Мужчина быстро прошел мимо Бирока, миновал квартиру сестры Терезы, вынул из кармана ключи и скрылся в квартире Джона Сорренсона.

— Кто это? — обратилась Фэй к Бироку.

— Не знаю, — пожал тот плечами. — Наверное, приятель мистера Сорренсона.

— А вы видели, как он входил в дом? — взволнованно спросил Бен.

— Нет... Но, возможно, он пришел уже давно, когда была еще не моя смена. А на каком этаже он вошел в лифт?

Фэй и Бен растерянно переглянулись.

— Как это на каком? — удивилась Фэй. — Он ведь был уже в лифте, когда мы с Беном зашли в кабину.

— Да ну! — изумился Бирок. Он подошел к двери Сорренсона и позвонил. Дав десять длинных звонков, подождал, а потом обернулся.

— Там никого нет, — сообщил он Бэрдетам.

— Но это невозможно! — Бен подбежал к двери и громко постучал по ней костяшками пальцев. — Достаньте запасной ключ! Надо немедленно открыть дверь!

— Мистер Бэрдет... — замаялся Бирок. — Я не имею права это делать. Только в экстренных случаях...

— Черт побери, — поддержала мужа Фэй. — Сейчас как раз и есть такой случай! Может быть, с Сорренсоном что-то случилось!

Но Бирок отрицательно покачал головой.

— Ничего подобного. Мистер Сорренсон ушел минут за пять до вашего появления. Он уехал на своей машине, и я уверен, что с тех пор он больше не возвращался.

— Вы уверены? — переспросил Бен.

— Ну, конечно! — Бирок энергично кивнул в подтверждение своих слов.

В отчаянии Бен забарабанил по двери кулаком. Удары гулким эхом разносились по коридору. Дверь задрожала, но никакого ответа изнутри по-прежнему не было.

— Придется подождать, пока вернется хозяин, — с сожалением констатировал Бирок. — И все же, если вы услышите какой-нибудь подозрительный шум или снова увидите этого человека, пожалуйста, сразу же позвоните мне на вахту. Хорошо?

Бен молча направился к своей двери. Фэй обняла его и прижалась к мужу всем телом. Бирок уехал вниз на служебном лифте.

Около трех часов ночи Бен проснулся и, поворочавшись в постели, понял, что теперь ему уже вряд ли удастся снова быстро заснуть. Он встал и подошел к окну, не в силах выкинуть из

головой того странного незнакомца в лифте. Затем начал восстанавливать в памяти облик мужчины. Высокий, смуглый, темно-волосый. Ярко-голубая спортивная куртка, белая рубашка.

Бен схватил со стола коробку с сигарами, вынул одну, откусил кончик, но прикуривать не стал, а лишь зажал в зубах хрустящий ароматный цилиндр, поглядывая на спящих сына и Фэй. Мысли его носились бешеным вихрем, но каждый раз заходили в тупик.

Наконец он вспомнил, и тут же будто удар молнии обжег его мозг.

Как же он мог забыть эти запонки! Круглые, золотые запонки с инициалами «М. С. Ф.» — Майкл Спенсер Фармер!

— Я же сказал вам, чтобы вы не смели приходить сюда и вообще разыскивать меня! — рявкнул Франкино, закрывая за Бенем массивную дверь своего кабинета.

Бен сдержался и огляделся по сторонам.

Светлый просторный кабинет был обставлен дорогой итальянской мебелью, над дверью висело резное деревянное распятие.

— Что вам угодно? — холодно спросил священник.

— Мне надо сказать вам буквально несколько слов.

Франкино уселся в кресло и сурово уставился на незваного посетителя.

— В этом деле замешан и отец Макгвайр, верно? — без оковичностей начал Бен.

Франкино, продолжая сверлить его взглядом, коротко ответил:

— Да.

— Вчера он преследовал меня и Фэй в парке. Зачем?

— По моему приказу: он должен был защищать вас от Чейзена.

— А почему же вы мне об этом не сказали? — удивился Бен и безвольно опустился в кресло возле стола.

— Вы закончили? — сурово спросил священник.

— Нет. Вчера вечером в доме нас продолжали преследовать. Но на этот раз уже не Макгвайр...

— А кто?

— Мужчина с золотыми запонками, на которых выгравированы буквы «М. С. Ф.».

Франкино оставался совершенно спокойным. Он лишь кивнул и слегка улыбнулся.

— Это не мужчина, мистер Бэрдет. Это его призрак! Душа одного из слуг Сатаны.

— И что она там делала, эта душа?

— Я не знаю.

— Послушайте, монсеньор...

— Вы сюда никогда больше не придете! — оборвал Бена священник. Лицо его побагровело, и он наконец дал волю своим чувствам. — Вы больше не посмеете меня искать. Оставайтесь в своей квартире и живите себе спокойно, как я и приказывал, не то будет хуже!

Бен уставился на разбушевавшегося церковника выпученными от изумления глазами.

— Я не потерплю, чтобы вы вмешивались! — орал священник. — Еще не пора! Сегодня будет самая ответственная ночь, мистер Бэрдет. А все ваши мелочные, пустяковые жалобы только отнимают у меня время! И чтобы больше я ничего подобного от вас не слышал!

Высказавшись, Франкино быстрым шагом подошел к Бену, ухватил его под мышки и поволок к двери.

— Мне удалось установить личность Чейзена! — продолжал он. — И сегодня мне надо сделать первый решительный шаг! А вы тут лезете со своей ерундой!

— И кто же он? — попробовал вставить слово Бен.

— Убирайтесь! — рявкнул Франкино и распахнул дверь.

Бен не мог даже пошевелиться, ошарашенно глядя на каменное лицо священника.

— Вон отсюда! — взревел тот и, приставив ладони к пояснице Бена, вытолкал его в коридор, захлопнул дверь и повернул ручку замка.

— Эй, привет! — закричал Сорренсон, высунувшись из двери своей квартиры со смычком в руке.

Бен только что поднялся на лифте вместе с Дэниэлом Батиллем. Но неожиданный исход встречи с монсьеюром Франкино настолько подействовал на него, что он почти перестал воспринимать окружающий мир и находился сейчас в прострации, потрясенный немислимим поведением священника.

— В чем дело? — холодно спросил он.

— Какое дело? — растерялся Сорренсон. — Никакого дела. То есть ничего плохого не случилось, — тут же поправился он. — А разве Фэй тебе ничего не сказала?

— Меня не было дома, — пояснил Бен. — А что она должна была мне рассказать?

— Лу Петросевич отыскался!

— Да что вы! — обрадовался Батилль, вцепившись пальцами в свои книги по законодательству. — И где же его откопали?

— Я только что с ним разговаривал. Играл на виолончели — и вдруг телефонный звонок. Он, оказывается, понятия не имел о том, что у нас тут происходит. А вчера он позвонил своей секретарше, чтобы извиниться за столь внезапное исчезновение, и она сообщила, что его разыскивает полиция... И более того, что он подозревается либо в убийстве, либо в том, что стал жертвой убийцы. Представляете?

— Ничего себе выбор! — заметил Батилль, перекатывая во рту леденец.

— И где же он пропадал? — поинтересовался Бен.

— Ну-у... — засмутился старик. — Я ведь всегда говорил, что Петросевича подведет его страсть к слабому полу. В общем, в день своего исчезновения он встречался с одной клиенткой, которой оказалась, как мне передали, весьма приятная... можно сказать, просто очаровательная юная особа. Ну, и Петросевич, конечно, не смог упустить такого шанса и поехал вместе с ней в горы.

— И даже не сообщил своей секретарше? — удивился Бен.

— Представляете — ни словечка! А ты будто и не рад, Бен?
— Я-то? Да нет, признаться, радоваться тут особенно нечему. Хорошо, конечно, что с Петросевичем ничего не случилось. Так когда, вы говорите, он приезжает?

— Обещал через пару дней.

Батилья извинился и направился в свою квартиру, а Сорренсон подошел к Бену и тихо заговорил:

— Между прочим, мне Бирок все рассказал.

— И вы знаете, кто этот незнакомец? — невольно похолодев, спросил Бен.

Сорренсон отрицательно покачал головой.

— Я ничего не могу понять, — признался он. — Я тщательно проверил все комнаты. Все лежит на местах. Только на виолончели одна струна была порвана, но она скорее всего лопнула сама по себе. Это случается... А так все в полном порядке. Так что полицию вызывать вроде бы незачем. — Он в задумчивости почесал подбородок. — А ты, Бен, что думаешь?

— Сам не пойму, — ответил тот и сунул ключ в замочную скважину. — Наверное, лучше всего побыстрее забыть об этом. — Он повернул ключ. — Да... Если вам еще раз позвонит Петросевич, передайте ему мой привет и скажите, что я очень рад был узнать, что с ним все в порядке.

— Конечно, Бен. Обязательно передам.

— Ну, еще увидимся, — улыбнулся Бэрдет.

— Бен... — вдруг взволнованно произнес старик и, подойдя к соседу поближе, с беспокойством спросил: — Ты себя действительно хорошо чувствуешь?

— Да, а что? — невозмутимо ответил Бен и закрыл за собой дверь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Джо Бирок открыл глаза и поднялся.

Кто-то тихо постучал в дверь.

Он быстро вышел из маленькой дворницкой, щелкнул выключателем и, шаркая ногами, заспешил по тускло освещенному коридору мимо котельной, прачечной и компактора, чтобы открыть черный ход в дальнем конце подвала.

Перед ним стояли монсеньор Франкино и отец Макгвайр. Они молча шагнули внутрь, и Бирок увидел у каждого в руке по Библии.

Он поклонился священникам, поцеловал перстень на руке Франкино, а потом провел их к служебному лифту.

— На девятый этаж, — коротко приказал монсеньор.

Бирок повернулся к пульта и послушно нажал кнопку девятого этажа. Кабина медленно поползла вверх. Священники раскрыли книги и стали молиться. Бирок прислушивался к ним, но глаза его были прикованы к двери лифта.

Наконец кабина дернулась и остановилась. Священники вышли в коридор.

— Молитесь за нас, сын мой, — произнес Франкино.

— Конечно, монсеньор, — с благоговением ответил Бирок.

Он нажал кнопку, и двери лифта закрылись.

Макгвайр вынул из кармана часы, взглянул на них и произнес:

— Три тридцать.

Франкино первым шагнул к запасному выходу. Макгвайр послушно следовал за ним. Их мерные шаги гулко отдавались в пустом коридоре.

Священники поднялись по лестнице на десятый этаж и остановились у двери, ведущей в коридор с квартирами.

Франкино прочитал последнюю молитву, а потом решительно взялся за ручку двери.

— Да поможет нам Господь Бог! — выдохнул он.

Но Макгвайр тут же перехватил его руку.

— А все-таки, кто Чарльз Чейзен? — с тревогой в голосе спросил он.

Но Франкино лишь покачал головой, и Макгвайр увидел, как дрожат у него руки и губы. Он попробовал стряхнуть с себя наползающий страх.

— Вы обязаны сказать! Мне необходимо это знать. Я ведь сейчас встречу с ним!

— Скоро вы сами все узнаете, — заявил Франкино и медленно повернул ручку. Макгвайр вытер пот с ладоней. Кровь отхлынула от его лица, придав ему мертвенно-бледный оттенок.

Дверь распахнулась, и Франкино шагнул вперед.

— Святой отец! — тут же шепотом позвал он и жестом пригласил Макгвайра следовать за ним в коридор.

Немного поколебавшись, Макгвайр тоже сделал пару шагов и остановился возле Франкино.

Дверь за ними со скрипом закрылась.

Они стояли в восточной части дома, и все квартиры находились слева от них. Вдали виднелось окно, выходящее на западную сторону, а за ним — темное ночное небо. Холл был абсолютно пуст, если не считать ковра на полу и урны для мусора возле лифта. Одна из лампочек под потолком перегорела, но остальные ярко освещали блестящие свежевыкрашенные стены холла.

— Чейзен здесь, — заявил Франкино и, зорко всматриваясь в пустой коридор, перекрестился. Макгвайр последовал его примеру.

Франкино вышел на середину холла и, продолжая ощущать присутствие зла, медленно двинулся вперед к квартирам.

— Монсеньор! — вдруг вскрикнул Макгвайр, почувствовав на лице резкий порыв холодного ветра. — Я что-то чувствую!

Франкино тоже остановился.

Опять налетел неведомый вихрь. Он прошелся вдоль всего коридора со стороны окна. Но ведь окно при этом было закрыто!..

Макгвайр упал на колени.

И снова ветер. На этот раз он настиг их со спины, словно просочившись сквозь стену. Франкино пошатнулся и лишь чудом устоял на ногах. Макгвайр нагнулся вперед и уперся ладонями в ковер. Его Библия упала на пол.

— Это Чейзен! — сообщил Франкино зловещим шепотом.

А ветер уже свирепствовал совсем рядом, угрожающе завывал,

словно предупреждал о грядущем несчастье. И вот он настиг их. Весь холл наполнили пыльные смерчи и тучи мелкого мусора, попавшие в воздушную круговерть. Адский грохот и свист урагана были невыносимы для человеческого слуха.

Франкино прижался к двери пожарного выхода. От самого лба до подбородка по щеке его пролегла глубокая рана. Столбы пыли скрывали все вокруг, и уже невозможно было понять, где находится пол, а где потолок. Ветер безжалостно хлестал священников, швыряя им в лицо горсти содранной штукатурки и мелкого мусора.

Франкино ничего уже не видел перед собой — по лицу его струилась кровь, заливая глаза.

— Надо уходить отсюда! — выкрикнул он. — Мы не сможем...

И вновь его швырнуло к стене.

— Что делать мне? — заорал в ответ Макгвайр, пытаясь криком заглушить грохот бури.

Франкино жестом указал на дверь лестницы. Макгвайр схватил его и потащил к этой двери. Их тела то и дело ударялись о стены, лица побавровели, а на коже начали выступать волдыри от нестерпимо горячего, сухого ветра.

«Неужели никто не слышит, что здесь творится? — с ужасом думал священник. — Неужели никто не проснется?!»

Наконец они добрались до двери и попробовали открыть ее. Но ручка не поддавалась, словно кто-то намертво приморозил ее.

— Скорее к лифту! — прокричал Макгвайр. — Я не выдержу! — Щеки его начали раздуваться от ветра.

С трудом они добрались до лифта и вползли в кабину. Двери закрылись, и наступила непривычная тишина. Какое-то время они молча лежали на полу, постепенно приходя в себя. Франкино прижимал к раненой щеке носовой платок. Наконец Макгвайр поднялся на ноги и дрожащими пальцами нажал кнопку первого этажа.

Но лифт не тронулся с места.

Он снова надавил кнопку, теперь уже более решительно.

И вновь никакого результата.

— Он не дает нам уйти! — холодея от ужаса, воскликнул священник.

Франкино с тревогой огляделся по сторонам.

— Что-то здесь слишком тихо, — наконец сказал он, приготовившись к самому худшему. — И мне это не нравится.

Макгвайр вздрогнул. Он вдруг почувствовал какие-то странные вибрации, которые заметил вскоре и Франкино. Кабина лифта начала раскачиваться, ударяясь о стены шахты.

Раздался звон бьющегося стекла — лопнула лампочка под потолком, и священники погрузились в полную темноту.

А секунду спустя оглушительно затрещало дерево, и, прикоснувшись к стене, Макгвайр понял, что доски, из которых был сделан лифт, начинают расходиться.

— Стены рушатся! — закричал он.

Франкино стал судорожно нажимать все кнопки подряд.

— Надо выбираться отсюда! — перекрывал адский треск его отчаянный голос.

Пол под ними трещал, стены разламывались, а трос, на котором висела кабина, мог оборваться в любой момент. Франкино не переставал нажимать кнопки, а Макгвайр тем временем сунул пальцы в щель между дверьми и попытался открыть их вручную.

Но вот одна из досок с пола выстрелила вверх и, встав вертикально, пронзила ногу Франкино, глубоко войдя в мышцы бедра. Макгвайр оттащил монсеньора в сторону, а сам всем телом стал напирать на дверь, надеясь сломать ее и выбраться из кабины.

Неожиданно створки двери открылись сами. Макгвайр кубарем выкатился в коридор, а потом вытащил Франкино. Кабина по-прежнему продолжала раскачиваться и через несколько секунд с оглушительным лязгом рухнула вниз, превратившись в груды щепок и искореженного металла на дне глубокой бетонной шахты.

Ветер мгновенно стих. В коридоре наступила мертвая тишина. Франкино встал, но ноги едва держали его.

— Я презираю тебя! — вдруг пронзительно закричал монсеньор. — Теперь я знаю, кто ты, Чарльз Чейзен! Я не боюсь тебя! И тут невиданной силы порыв ветра подхватил Франкино и перенес по воздуху к самой дальней стене. Ураган возвращался.

Франкино попытался открыть дверь на лестницу, но его залитые кровью руки лишь беспомощно скользили по бронзовой ручке. Новый заряд бури обрушился на священников, и Франкино ухватился за стеклянный короб пожарного крана, чтобы устоять на ногах. Стекло не выдержало и треснуло. Пожарный шланг вывалился наружу. Монсеньор начал в отчаянии колотить кулаками по закрытой двери. Подбежал Макгвайр и, упав на колени, присоединился к нему, для поддержки опираясь о стену. Неожиданно шланг взлетел в воздух и, обвившись вокруг шеи Франкино, начал душить его. На лбу и щеках монсеньора вздулись багровые вены. Он заскрежетал зубами и хотел что-то крикнуть, но уже не мог и лишь хватался руками за шланг, пытаясь освободиться. Но тот все сильнее сжимался на его шее. На губах монсеньора показалась кровь.

Макгвайр тоже ухватился за шланг, пытаясь оторвать его от шеи Франкино. А ураган уже свирепствовал по всему этажу. В воздух взвивались куски линолеума и бетона, стены дрожали. Тело Макгвайра обдавало немислимым жаром, заставляя его издавать страшные вопли. Наконец шланг ослаб, и Франкино вырвало.

Лампочки под потолком стали взрываться одна за другой, а ковер в нескольких местах загорелся.

— Я презираю тебя, Чейзен! — закричал Франкино, как только Макгвайру удалось снять с его шеи проклятый шланг.

И тут у Франкино вспыхнули рукава, а у Макгвайра начали тлеть ботинки и брюки. Священники стали кататься по полу, стараясь сбить пламя. Макгвайру это удалось достаточно быстро, а вот на Франкино огонь разгорался все сильнее, окутывая его тело сплошным горящим покрывалом. Он высоко поднял обе

руки, готовый принять мученическую смерть в борьбе с силами Сатаны.

— Чейзен! — нечеловеческим голосом закричал Франкино.

Ветер взывал ему в ответ с новой силой.

— Чейзен!!

И тут плотный туман за спиной монсеньора начал собираться в огромный зловещий гриб.

— Чей-зен!!! — продолжал кричать он.

Вдруг гриб взорвался и, подхватив Франкино, точно пушинку, понес его. Раздался звон бьющегося стекла — западное окно разлетелось вдребезги, и тело монсеньора было выброшено в пустоту ночного неба.

Почти теряя сознание и ничего не видя перед собой, Макгвайр пополз к окну. С трудом приподнявшись, он выглянул наружу и увидел внизу беспомощно распростертое тело Франкино.

Сержант Уосо встал на колени перед трупом Франкино, не обращая внимания на холодные лужицы, собравшиеся на асфальте после дождя.

— Следы насилия есть? — спросил он у эксперта, работающего рядом.

Но тот лишь покачал головой.

— Нет. Ни одного. Я вообще сомневаюсь, что это убийство, хотя, конечно, лучше подождать результатов вскрытия.

— А что же, несчастный случай?

Эксперт задумчиво посмотрел на окно десятого этажа и пожал плечами. Было уже шесть утра, и первые лучи солнца начали подсвечивать хмурое небо.

— Может быть, самоубийство? — без особой уверенности предположил он.

Уосо нахмурился.

— Нет, это невозможно — тело принадлежит священнику.

Он легкой походкой устремился к подъезду, поднялся по ступенькам и закинул голову, внимательно разглядывая разбитое окно в коридоре десятого этажа.

«Да, этот несчастный пролетел футов восемьдесят, не меньше. Неудивительно, что он сломал себе шею. Но неужели это и в самом деле несчастный случай?.. Маловероятно!»

Озабоченно покачав головой, детектив вошел в дом.

— Вы узнаете этого человека? — спросил сержант, передавая по кругу только что отснятую фотографию трупа Франкино.

Присутствующие в комнате закивали. Часы на камине пробили девять.

Джон Сорренсон поднялся с кресла и прокашлялся. Так как полиция собрала всех жильцов этажа именно у него на квартире, было вполне логично, чтобы он высказался первым.

— Его фамилия Франкино, — начал он, мельком взглянув на Бена. — Он был приятелем мистера Бэрдета. И два дня назад приходил к нему на вечеринку, где мы с ним и познакомились.

Уосо перевел взгляд на Бена, который, испуганно сжавшись, приотлился на диване и одной рукой обнимал растерянную Фэй.

Она ничего не понимала. Полусонная, с растрепанными волосами, Фэй держала на руках спящего малыша.

— Все в-верно...— запинаясь, проговорил Бен.— Он был моим другом.

— Что ж, очень хорошо, мистер Бэрдет. Может быть, вы объясните полиции, зачем монсьёру Франкино понадобилось расхаживать среди ночи по коридорам вашего дома?

Когда из уст полицейского прозвучало слово «монсьёр», все удивленно посмотрели на Бена. Но он сделал вид, что не заметил этого.

— Я не могу сказать вам, что он здесь делал,— ответил Бен детективу.

Уосо нервно зашагал взад-вперед по красно-коричневому персидскому ковру.

— Поня-ятно,— протянул он.— Тогда, мистер Бэрдет, поведайте нам хотя бы то, что вам доподлинно известно.

— Да я, собственно, мало что знаю...— попытался выйти из положения Бен.— Мы ведь познакомились с ним еще в колледже, в Чикагском университете... Я заканчивал курс, а он преподавал историю. Мы подружились. Но потом потеряли друг друга и практически не виделись все эти годы. Ну, может быть, пару раз, не больше.

— Простите, сержант,— вмешался в разговор Дэниэл Батилья.— Если я не ошибаюсь, вы сказали, что Франкино был священником?

— Именно так.

Все опять удивленно переглянулись.

— А разве вы не знали об этом? — На этот раз изумился уже сам Уосо.

— Нет,— искренне признался Макс Вудбридж.

— Но вы-то должны были об этом знать, мистер Бэрдет,— обратился детектив к Бену.

Тот мельком взглянул на Дженкинса, который в задумчивости стоял у окна, облаченный в темно-вишневый шелковый халат.

— Д-да,— неуверенно кивнул Бен.— Я знал, что он священник, однако...

— Однако нам не сказали! — возмущился Дженкинс.

— Да я как-то забыл...— «Боже мой, что же теперь будет?» — с отчаянием думал Бен.— Ведь теперь, кроме отца Макгвайра, не осталось в живых ни одного знакомого мне человека, связанного с этим чертовым заговором!»

— Ясно...— прервал его размышления Уосо.— А скажите, может быть, Франкино просто попросил вас не рассказывать соседям, что он священник?

— Да,— ухватился Бен за спасительную ниточку, чтобы не показаться подозрительным своим друзьям.

— А зачем ему это было нужно? — удивился Уосо.

— Он мне не объяснил,— с сожалением вздохнул Бен.

— Да, мистер Бэрдет... Мне кажется, вы вообще ничего не знаете или уже успели забыть. Что с вами происходит?

Бен пожал плечами и забрал у жены ребенка. Фэй встала,

немного прошлась по комнате, потирая глаза, а потом снова уселась на диван.

— А как он попал к вам на вечеринку? — последовал очередной вопрос полицейского.

— Он позвонил мне на днях и сказал, что находится сейчас в городе. Я предложил встретиться и объяснил, что мы с женой как раз устраиваем небольшую вечеринку. Он обещал прийти. Ну, и пришел.

— Так он, значит, сказал, что находится в городе? — переспросил Уосо.

— Да.

— Странно... Ведь он жил здесь все время!

— Я не знал этого, — заупрямился Бен.

— И вы, — обратился Уосо к присутствующим, — видели этого человека на вечере у Бэрдетов?

Все одновременно кивнули — Батилья, обе секретарши, Вудбриджи, Дженкинс и, конечно, Джон Сорренсон.

— А из его слов можно было бы сделать вывод, что он склонен к самоубийству? Может, он производил какие-то странные действия?..

Наступила неловкая пауза.

— По-моему, я задал вопрос и требую на него ответа! — резко произнес полицейский.

Вперед выступил Дженкинс. Он вынул из кармана платок, которым время от времени вытирал лицо, откашлялся и заговорил:

— Насколько я заметил, мистер Франкино... вернее, монсеньор Франкино был очень неуравновешенным человеком и, вероятно, серьезно больным...

Уосо сел на ручку дивана и удивленно уставился на Дженкинса.

— Почему вы так решили?

Дженкинс рассказал обо всем, что случилось в тот вечер. Он описал и таинственный ритуал, и приступ священника, и то, как монсеньор накинулся на него и порвал пиджак, и многое другое. Уосо внимательно слушал Дженкинса, ни разу не перебив и не скрывая своего растущего интереса. А когда тот закончил, полицейский попросил специалиста по антиквариату сделать вывод относительно столь странного поведения монсеньора — что оно могло означать?

— Ну... — многозначительно начал Дженкинс, потом помолчал немного, как бы обдумывая свой ответ, и наконец заговорил: — Похоже на то, что он страдал либо эпилепсией, либо у него был самый настоящий психоз на религиозной почве. Если же нужно мое личное мнение, то, с вашего позволения, сержант... Основываясь на том, что я имел возможность наблюдать в квартире Бэрдетов, я имею все основания полагать, что этот человек, безусловно, был способен совершить самоубийство, как сознательно, так и нечаянно, во время очередного приступа.

Уосо подсел к Бену.

— Ну, а что вы могли бы добавить, мистер Бэрдет? — не скрывая своего подозрения, осведомился он. — Сначала мы нахо-

дим труп в компакторе. Вернее, его находит ваша жена, и у нее наступает шок. Делом занимается инспектор Бурштейн, которому не дает покоя старая, слепая и парализованная монахиня, живущая по соседству с вами. Он просит меня посмотреть старые дела об убийствах, совершенных пятнадцать лет назад в особняке, стоявшем тогда на месте вашего дома. Но папки именно с этими делами оказываются кем-то похищенными из архива. Тогда Бурштейн выходит на Гатца, а Гатц встречается именно с вами и приглашает вас к себе домой. Вы идете туда и неожиданно находите его труп. Снова убийство. Вы, разумеется, пытаетесь связаться с Бурштейном, но как раз в этот момент выясняется, что он погиб при пожаре. Вдруг откуда ни возьмись выплывает этот самый священник по фамилии Франкино. Сначала у него случается припадок во время религиозного ритуала в вашей квартире, а потом он решает выкинуться из окна именно вашего этажа, причем буквально через день после вечеринки. Занятно?

— Да, — не смущаясь, ответил Бен. — Такой рассказ в пору нести в детективный журнал.

Уосо ехидно прищурился.

— Зачем же обязательно в журнал? Можно и в уголовное дело по факту многочисленных убийств, которое потом будет представлено Большому Жюри¹.

Все замерли на местах. В течение нескольких минут никто не мог выговорить ни слова.

Уосо поднялся и не спеша направился к выходу.

— Я хочу, чтобы над моими словами задумался не только мистер Бэрлет, но и все остальные, кто здесь находится. Хотя, конечно, в первую очередь это касается именно мистера Бэрлета.

Он надел шляпу и исчез за дверью.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Он лежал на старой продавленной кровати, покрытой ватным матрасом. Справа от себя он заметил тумбочку с отломанной дверцей, а над ней — большое пыльное зеркало. В дальнем углу стоял стул, на котором вперемешку были свалены платья, бюстгальтеры и постельное белье не первой свежести. Над головой горела тусклая лампочка без абажура. На оконном стекле раскинулась паутина трещин.

Он облизнул пересохшие губы и попытался определить, где находится. Кое-что начало всплывать в памяти: жгучий ветер, пыльная буря в холле десятого этажа, Франкино, выпавший из окна. Боль. И полная темнота... Как же он попал в эту странную комнату? И кто ее хозяин?

Макгвайр попытался приподняться на локтях. В комнате пахло дешевыми терпкими духами, от которых его сразу же затош-

¹ Большое Жюри — состав присяжных числом более 12 человек, решающий вопрос о предании кого-либо суду по обвинению в тяжких уголовных преступлениях. (Прим. перев.)

нило. Он послунывил пальцы и стер песчинки из уголков глаз.

— Эй, там, не вздумай вставать с кровати! — раздался за стеной хриплый женский голос.

— Где я? — чуть слышно спросил священник.

— Ты? В комнате. Причем на кровати.

Макгвайр откинул залатанное одеяло и увидел, что все его тело покрыто синяками и ссадинами.

— Можно мне поговорить с вами? — неуверенно спросил он.

— Конечно. Я хоть и черномазая, но с белыми потрепаться не брезгую. Только потерпи чуток, святой отец. Сейчас дочиху твою ясу и приготовлю чайку, а потом мы с тобой вдвоём наболтаемся.

Макгвайр снова откинулся на подушки.

Через несколько секунд в комнату вошла миловидная негр-тянка лет тридцати в белом халате. В руках она держала его одежду и поднос, на котором оказалась вазочка с печеньем и чашка чая.

— Да-а... Ну и видок у тебя, святой отец! Я тут попробовала отскрести твою ясу... Это было ох как непросто! Даже представить себе не могу, в какую ты влип историю. Нет уж, лучше даже не представлять!

— А что же я делаю здесь, дитя мое?

Женщина добродушно рассмеялась.

— Дитя? Ну ты даешь! Я уж и позабыла, когда была дитем, если вообще была когда-нибудь. Верить?

— Так меня сюда принесли? — продолжал допытываться Макгвайр.

— Черта с два! Впрочем, не обращай внимания на мой язык, ладно? Я, конечно, попробую при тебе не выражаться, но знаешь... как говорится, горбатого могила исправит.

Макгвайр немного успокоился. С этой женщиной он почему-то чувствовал себя в безопасности. Несмотря на то, что она была чересчур развязна, вульгарно покрашена и по всему ее лицу шел безобразный шрам от подбородка до самого виска, все равно что-то в ее поведении заставляло его чувствовать себя уверенней.

— Даже не знаю, как тебе и ответить, чтоб не обидеть... — начала она, ставя перед ним поднос и вешая одежду на дужку кровати. — Короче, ты приполз сюда сам. Возвращаюсь я домой после тяжких трудов и нахожу тебя на пороге своей хибары. Ты совсем вырубился и валялся перед дверью на коврике. Правда, я не знаю, как ты сумел доползти сюда, но это, в общем, не моего ума дело. Ну, и как же я могла бросить тебя в таком состоянии? Я, конечно, тут же позвонила Хосе — это самый клевый сутенер во всем Манхэттене. Он мигом примчался, и мы вдвоем перетащили твою священную задницу со всем остальным в эту комнату и закинули на кровать. — Женщина замолчала, достала из кармана халата дорогую зажигалку и сигарету, прикурила и, глубоко затянувшись, выпустила голубоватый дым. — А знаешь, святой отец, ведь до тебя у меня еще ни одного священника в доме не было... Да и вообще я их уже давненько вблизи не видела. Врубаетесь?

— Конечно! — Макгвайр поудобнее устроился на подушках. — Но Господь Бог всегда рядом с тобою, дитя мое. А где находится твоя квартира?

— Что? Ах, это... Перекресток Второй авеню и 121-й улицы. Короче, в испанском Гарлеме.

Священник чуть не поперхнулся и рывком сел на кровати.

— Эй, поосторожней, святой отец! И прежде чем ты засыпешь меня своими вопросами, я представлюсь. Зовут меня Флоренс. И еще, хотя тебе это, наверное, не совсем интересно — я проститутка, между прочим, самая шикарная в этом районе. Можешь спросить у любого сутенера, если не веришь. Тебе каждый скажет, какие штучки умеет выделывать старушка Флоренс! Но я, конечно, не жду, что ты на меня позаришься...

— Который час? — поинтересовался Макгвайр.

— Десять утра. А теперь тебе надо подкрепиться хотя бы чаем. Сразу в себя придется. А если тебя раздражает дым, так я могу потушить эту отраву...

— Нет-нет, мне совсем не мешает, — поспешил уверить ее Макгвайр. — Если сейчас только десять, значит, я проспал всего чуть-чуть.

— Да ты, видать, совсем спятил, — рассмеялась Флоренс. — Десять-то десять, да только не того утра, о котором ты думаешь. Ты был в отключке двое суток.

— Два дня?! — изумился Макгвайр.

— Ты что, оглох, что ли? Кстати, эти денечки были для меня не самыми счастливыми в жизни... Жаль, что ты сам не слышал своего бреда и бесконечных стонов.

Священник вздрогнул и крепко схватил негритянку за руку.

— Что я говорил? — взволнованно спросил он.

— Да чушь всякую. Я толком ничего не разобрала... Ругался на чем свет стоит, все время вспоминал дьявола и еще каких-то ребят — Франкино и Чейзена. И без конца одно и то же: мол, черт среди нас гуляет — в чем я, правда, полностью с тобой согласна, — и что он то и дело убивает людей... Ну, на это тоже трудно возразить. Но ты почему-то был уверен, что следующей жертвой он выбрал именно тебя. А этого мне совсем не хотелось бы. Во-первых, потому, что мужик ты, я вижу, неплохой, а потом, если бы он явился сюда за тобой, то и я могла бы на беду оказаться где-нибудь рядом... Конечно, рано или поздно мне придется с ним познакомиться, но все-таки хотелось бы отложить эту встречу на более поздний срок.

— А я уверен, что Господь ниспошлет тебе свое прощение, — возразил Макгвайр.

— При условии, что я расскаюсь? — улыбнулась Флоренс.

— Да, дитя мое.

— Звучит, конечно, заманчиво... Да только некогда мне раскаиваться.

— Дитя мое, тебе придется помочь мне выбраться отсюда — я должен срочно ехать на работу.

— А по-моему, тебе надо бы еще денек отдохнуть, чтобы как следует набраться сил, — возразила Флоренс.

— Нет, я должен спешить, — настаивал священник.

— Я, конечно, помогу... — усмехнулась она. — Только мне кажется, твои церковные друзья малость прибалдеют, когда увидят, кто поддерживает их коллегу.

— Знаешь что, Флоренс... Я думаю, многим из них не помешало бы иметь такое доброе сердце, как у тебя. Ты сама добродетель.

— Что?! Я и добродетель? Святой отец, да нас даже рядом ставить неприлично! Если я расскажу про это подружкам, меня просто на смех поднимут!

— Ну, тогда помоги мне хотя бы одеться и вызови, пожалуйста, такси.

Флоренс согласно кивнула.

Макгвайр осторожно дотронулся до ее руки.

— Когда все это кончится, я обязательно помолюсь за тебя, — пообещал он.

— Помолитесь? Это, конечно, хорошо... Только я что-то не знаю ни одной молитвы, которая помогала бы зарабатывать деньги и не протянуть ноги с голоду.

— Наверное, ты права, — согласился священник и сунул руку в карман. Отыскав бумажку в двадцать долларов, он согнул ее пополам и вложил в ладонь негритянки.

Не говоря ни слова, она кивнула в ответ.

Машина остановилась перед воротами семинарии. Макгвайр вышел из автомобиля и не спеша поднялся на третий этаж, где находились жилые помещения преподавателей.

Он медленно брел по длинному бесцветному коридору третьего этажа. Его келья находилась в самом конце, как раз напротив запасного выхода. Открыв дверь своей комнаты, Макгвайр застыл на пороге: его уже ждали. Двое сидели на кровати, один — за столом. Никого из них он раньше не видел.

— Отец Макгвайр? — осведомился отец Теппер, поднимаясь из-за стола.

— Да, — только и смог вымолвить ошарашенный священник.

— Да упокойся в мире монсеньор Франкино, — послышались тихие слова.

Макгвайр молча кивнул в ответ.

Отец Теппер шагнул вперед. Это был высокий худощавый мужчина лет сорока, с черными волосами и бледным вытянутым лицом.

— Нас просили отвезти вас на место, — произнес он.

Макгвайр с тревогой прикоснулся к двоим, устроившихся на кровати.

— А куда? — спросил он, чувствуя нарастающее беспокойство. Теппер молча подошел к двери и распахнул ее.

— О чем, собственно, идет речь? — еще раз взволнованно спросил Макгвайр.

— Простите, но мы не имеем права говорить об этом, — пояснил он.

Макгвайр еще раз окинул взглядом троих незнакомцев и послушно вышел в пустой коридор.

У подъезда их ждал лимузин. Когда все расселись, машина

двинулась по Восточному шоссе, дальше — на Бруклинский мост, потом начала петлять по переулкам, пока не остановилась перед старинной готической церковью.

Отец Теппер открыл дверь церкви, и все по очереди зашли внутрь, по винтовой лестнице спустились в подвал и остановились перед огромной дубовой дверью. Теппер открыл ее и жестом пригласил остальных зайти. Они вошли в небольшой зал, в котором Макгвайр насчитал десять рядов скамеек. В дальнем конце этого помещения находилась еще одна дверь. Два огромных напольных подсвечника освещали мрачное подземелье. В первом ряду на скамье сидел человек, в котором Макгвайр узнал Бирока.

Теппер открыл вторую дверь и слегка подтолкнул Макгвайра в маленькую подземную часовню. Два других священника остались снаружи.

Часовня оказалась совершенно пустой. Стены ее были сложены из грубых бетонных плит. Внутри Макгвайр увидел одинокого монаха, но лица его разглядеть не смог — оно было надежно скрыто широким, надвинутым на лоб капюшоном. На стене висело распятие, а на алтаре стоял гроб. Подойдя ближе, Макгвайр чуть не задохнулся от неожиданности: в гробу лежало тело Франкино, а чуть ниже — на невысоком амвоне — две книги, одна из которых была открыта.

Монах в капюшоне подвел Макгвайра к книгам и, прошептав ему на ухо несколько слов, отошел в темный угол.

Получив указания от таинственного монаха, Макгвайр начал читать первую книгу. Губы его тряслись, он то и дело поглядывал на мертвое тело монсеньора Франкино.

— Да поможет тебе Господь, сын мой, — произнес монах, — ибо испытания твои еще только начинаются...

Макгвайр перекрестился. После этого отец Теппер и его таинственный спутник медленно вышли из часовни и плотно закрыли за собой дверь.

Макгвайр невольно вздрогнул, услышав, как захлопнулась и тяжелая дубовая дверь первого зала. Он остался совершенно один с мертвым телом монсеньора Франкино, чтобы предстать перед новыми неведомыми испытаниями, и призвал милосердного Господа защитить и поддержать его в этот трудный час.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Около полудня, погуляв в парке с ребенком, Бен вернулся домой, усадил малыша в манеж и решил взяться наконец за работу. Он поудобней устроился в кресле и стал обдумывать начало следующей главы, а потом уверенно сел за машинку и принялся как сумасшедший стучать по клавишам. Так он проработал довольно долго, переполняемый то отчаянием, то раздражением и беспредельной злобой. Вскоре глава была закончена. Он вынул из машинки последнюю страницу, перечитал все заново и, не долго думая, швырнул напечатанное в корзину для мусора. А потом повалился на диван и обхватил голову руками, чувствуя свою полную беспомощность. Что теперь — снова пойти

гулять? Или опять засесть за проклятую машинку? Или лежать вот так и думать до изнеможения о страшных событиях последних дней и туманных перспективах ближайшего будущего?..

Наконец он решил. Взяв ребенка на руки, Бен открыл дверь и вышел с ним в коридор. Он совсем забыл! Ведь всего пару часов назад Дженкинс приглашал его зайти полюбоваться каким-то антиквариатом. И этот безобидный визит сейчас мог бы отвлечь от неприятных мыслей.

Позвонив в дверь Ральфа, он сразу же услышал шаги, и через несколько секунд ручка замка повернулась.

— А, это вы, Бен! — обрадовался Дженкинс, отступая назад.

Бен натянуто улыбнулся.

— Я вспомнил про приглашение и решил зайти полюбоваться вашими сокровищами, — объяснил он.

— Что ж, прекрасно. Я ждал вас. Уверен, что вам еще не приходилось видеть таких роскошных вещей, — торжественно произнес Дженкинс и лбвко провел гостя мимо всевозможных тумбочек, кресел и прочих атрибутов древности к двум накрытым тканью предметам. Откинув первое покрывало, он показал кровать, предназначенную для самой королевы Луизы. — А вот это — декоративный шкафчик, — не умолкал Дженкинс, снимая второе покрывало. — Его сделали, по нашим предположениям, в 1835 году. Видите, как много гравировки по меди! А шпон выполнен из древесины молодого клена. Но шкафчик только с виду напоминает пустую тумбочку — внутри полно разных ящичков! — С этими словами он выдвинул пару ящичков, демонстрируя их Бену. — Такие шкафчики делались по индивидуальным заказам крупными мастерами, и каждый считался в своем роде шедевром. Причем мебельщики работали над такими заказами в одиночку — сами и резали по дереву, и выполняли гравировку на металле... А здесь, как вы видите, требуется искусство настоящего художника. Великолепно, не правда ли?

— Действительно, красивые вещи, — как-то равнодушно произнес Бен, чувствуя, что не испытывает никакой страсти к этой старинной мебели, хотя он нисколько не сомневался, что все собранное Дженкинсом не подделка и должно стоить кучу денег.

Ральф рассмеялся, прощая Бену его невежество, и, промокнув губы платком, поставил чашку с кофе на резной столик.

— Но, Бен, я все равно рад, что вы пришли. Ведь мы должны поговорить и кое о чем другом... У меня есть один приятель, который служит в полиции. И как раз на днях он дежурил вместе с судебно-медицинским экспертом. Сегодня утром я ему позвонил, потому что он обещал передать мне, что скажет судмедэксперт по поводу смерти монсеньора Франкино. Так вот, эксперт теперь, видимо, ничего уже не сможет сказать, поскольку тело похищено!

— Что?! — вскрикнул Бен и резко наклонился к Дженкинсу, чуть не выронив при этом ребенка.

— В морг проникли неизвестные и похитили труп Франкино. Можете себе такое представить?

Разумеется, после всего пережитого, Бен мог представить себе и не такое, однако вслух он произнес:



— Даже поверить трудно! — В основном это было сказано, чтобы поддержать начатый Дженкинсом разговор.

— А как вы думаете, кому и для чего могло понадобиться это тело? — не отставал Ральф.

Бен только пожал плечами.

— Понятия не имею.

— А я имею, — неожиданно заявил Дженкинс.

— Имеете? — Бен не верил собственным ушам.

Дженкинс не торопясь поднял свою чашку и отхлебнул глоток горячего кофе.

— Конечно, Бен... Только давайте сперва серьезно поговорим о добре и зле. — Он пристально посмотрел на гостя, а затем продолжил: — Вы, наверное, уже знаете, что это здание как раз и есть поле битвы между двумя противостоящими силами. Добра и Зла. Господа Бога и Сатаны.

Бен вскочил с дивана, и на лице его отразился неподдельный ужас. Он попытался улыбнуться, но лишь растерянно посмотрел на Дженкинса и крепче сжал мальчика в руках.

— Я вас не совсем понимаю, — выдавил он.

— Да все вы прекрасно поняли! Вы не хуже моего знаете, что Страж, назначенный по заповеди Господа, находится именно здесь. Разве это новость для вас, а? Ну, признавайтесь, Бенджамин Бэрдет! Инспектор Гатц проделал большую работу... Равно как и монсеньор Франкино. Так что вы прекрасно осведомлены, я несколько не сомневаюсь.

— А откуда все это известно вам? — начал паниковать Бен. Дженкинс разразился хохотом.

— Чего вы так боитесь, Бен? Хотя понять можно... Но после того, как мы обстоятельно поговорим, в вас не останется ни капли страха.

Бен ринулся к двери, чувствуя, как бешено колотится его сердце.

— Оставьте меня в покое! — выкрикнул он.

— Не могу! — ответил хозяин.

Бен схватился за дверную ручку и дернул ее на себя, но дверь не открывалась.

Он дернул еще раз, одной рукой удерживая на груди ребенка, но все напрасно. Видимо, Дженкинс успел незаметно запереть замок.

Тогда Бен оглянулся, чтобы посмотреть на выражение лица Дженкинса, но того и след простыл. В комнате было пусто.

— Господи! — закричал Бен в отчаянии и прикрыл ребенка руками, будто хотел защитить его от невидимого зла, витавшего в этой квартире.

Он заходил по комнате, дико озираясь вокруг. Что же теперь делать?.. Потом, подбежав к одной из стен, изо всех сил ударил по ней ногой. Если Вудбриджи дома, они непременно должны услышать этот удар и прийти на помощь. Но тут он с ужасом вспомнил, что как раз сегодня Вудбриджи на целый день уехали в гости. В другие стены стучать было бессмысленно, поскольку все они выходили на улицу. Тогда он без колебаний сорвал покрывало с королевской кровати, положил ребенка на соседний

диванчик и, подкатив кровать ближе к двери, ударил ею по прочному дереву, надеясь или расшатать дверь, или выбить ее с помощью необычного тарана. Кровать с грохотом врезалась в дубовую створку, однако дверь даже не дрогнула.

И тут он услышал приближающиеся шаги.

— Дженкинс! — закричал Бен, снова хватая ребенка и пряча его в объятиях. — Что вам от меня нужно?

В дверях спальни неожиданно появился Дженкинс.

Бен смотрел на него и не узнавал. Что за одеяние появилось на Ральфе? И в кого он превратился? Это невероятно!..

Дженкинс указал на диван и спокойно предложил:

— Садитесь сюда, Бен.

Тот послушно опустился на указанное место, не сводя глаз с хозяина квартиры и по-прежнему крепко сжимая в руках малыша.

— Молитесь, Бен Бэрдет! Молитесь своему Всемогущему Господу Богу, — произнес Ральф Дженкинс.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Оставшись в гробовой тишине часовни, отец Макгвайр провел пальцами по старинным буквам, выдавленным на кожаном переплете, а потом раскрыл книгу. Шрифт оказался крупным, а текст был написан по-латыни. Прочитав эту рукопись, он узнает обо всем, что не успел сделать монсеньор Франкино и что переключивалось теперь на его собственные плечи. Священник вытер капли пота, выступившие на лбу, и еще раз взглянул на мертвое лицо своего предшественника, затем дрожащими пальцами открыл первую страницу и начал медленно читать старинную рукопись, с каждым словом осозная, что речь в ней идет об истории самого зла, о том, как началась борьба между Господом Богом и падшим ангелом.

В книге говорилось, как Господь призвал своих ангелов, и они слетелись со всего Рая, чтобы услышать, как Создатель возвестит о существовании своего Сына, которому он дарует власть.

Потом речь пошла о Сатане — бывшем первом архангеле, чья зависть и ревность толкнули его на бунт против Бога, и он, почтя себя обиженным и ущемленным, решил сместить Всевышнего с его трона.

Всевышний послал на битву с дьяволом архангелов Михаила и Гавриила, чтобы поверженный Сатана и все его легионы были навечно помещены в место изгнания и наказания, то есть в Ад.

Макгвайр прервал чтение и с тревогой прислушался, но вокруг стояла все та же полная тишина. Стараясь не смотреть на Франкино, он попытался отделаться от чувства нарастающей паники. Уже несколько часов подряд он был как бы слит воедино с этой книгой, становясь в душе свидетелем и участником описанных в ней давних событий. Различные образы по непонятным каналам проникали к нему прямо в мозг и представляли почти живыми перед его мысленным взором. Но впереди было еще самое важное — оставались непрочитанными сотни страниц, которые ему предстояло преодолеть. Наконец он приступил

к описанию финала чудовищного боя. Сын Господа сделал так, как повелел Отец, и изгнал Сатану с небес в преисподнюю.

Макгвайр прочитал, как Сын с триумфом вернулся на небеса. А после этого, несмотря на страшную усталость, развязал бечевку, которая скрепляла вместе последние сто страниц книги. Из них он узнал о том, как низвергнутый Сатана стал искушать человека и привел его к грехопадению, после чего разгневанный Господь Бог поручил самому человеку впредь охранять себя, поставив Стража вместо архангела Гавриила...

Макгвайр изо всех сил старался не заснуть и не упасть в обморок от изнеможения. Страниц оставалось еще много — далее следовали подробные инструкции и описания ритуалов, объяснялись природа и смысл превращения человека в Стража. Наконец Макгвайр узнал все то, что знал его предшественник монсеньор Франкино... Все знания были открыты ему.

С трудом борясь с сильным головокружением, он закрыл толстый том и, тяжело ступая, двинулся к выходу. Добредя до двери, священник постучался и принялся ждать. Но тишину не нарушал ни один звук, и дверь по-прежнему оставалась закрытой. Он снова постучал и, не дождавшись ответа, решил вернуться на прежнее место, поняв, что испытания на этом, видимо, еще не закончились.

И вдруг странная волна подступающего ужаса окутала его сознание. Священник подошел к книгам, опустил на них голову и закрыл глаза. Он так устал, что был не в силах ни о чем думать.

В комнате произошло какое-то движение, послышался легкий шорох. Макгвайр посмотрел на дверь, потом наверх, пытаясь определить, откуда идут эти необычные звуки. Шум резко усилился и обрушился на него настоящим эмоциональным взрывом, охватившим сразу все его чувства. Он сжал голову руками, заткнул уши и отступил назад, не в силах бороться с этим дьявольским наваждением. Неожиданно тело Франкино стало медленно подниматься из гроба. Макгвайр в ужасе упал на колени и закрыл глаза, чтобы страшное видение поскорее исчезло. Но он тщетно пытался прогнать его. Эти звуки и образы проникали ему прямо в душу, обжигая ее, как огнем. Время вдруг остановилось, и он снова очутился в гуще событий, происходивших в прошлом. Он услышал свист оружия и шелест поступи давно ушедших душ, увидел тела, облаченные в латы, и их вождя, Чарльза Чейзена, который призывал свои войска на решительный штурм цитадели Отца Небесного. Они неумолимо наступали на осажденную крепость, а оказалась ею... Элисон Паркер, беспомощно лежащая на полу в особняке. Легионы Сатаны двигались и к своему главному врагу отцу Галлирану — Стражу, которого вел под руку монсеньор Франкино. Ему необходимо было передать распятому новому часовому и отослать Чейзена, то есть самого Сатану, назад, в вечный Ад.

Находясь по-прежнему в маленькой часовне, Макгвайр путешествовал во времени и пространстве и становился свидетелем перевоплощения смертного человека в Стража.

Наконец он с опаской открыл глаза, боясь снова увидеть перед

собой восставшее из гроба мертвое тело монсеньора Франкино. К ужасу священника, оно по-прежнему парило в воздухе. Макгвайр больше не выдержал и без сознания рухнул на пол.

В подвал спустился отец Теппер и подошел к двери, ведущей в часовню. Он успел переодеться, но на лице его сохранилось все то же мрачное выражение, которое Макгвайр отметил еще при первой встрече, до того как началось его испытание.

Теппер ухватился за тяжелый стальной засов и со скрежетом отодвинул его.

Через несколько секунд отец Макгвайр вышел из часовни на свет.

Бирок взглянул на него и обомлел, потрясенный внешним видом священника. Да, это был все тот же отец Макгвайр, но как он изменился!.. Конечно, за последние сорок восемь часов на долю этого человека выпало действительно чересчур много тяжелого душевного бремени. Волосы его поседел, лоб прорезали глубокие морщины, а взгляд стал холодным и далеким.

Макгвайр и отец Теппер молча заключили друг друга в объятия.

Бирок стоял как вкопанный, не смея пошевелиться.

Макгвайр подошел к нему и дружески положил потяжелевшую ладонь на плечо.

— Сын мой! — коротко поприветствовал он словака, и выражение его лица немного смягчилось.

— С вами все в порядке, святой отец? — осторожно осведомился Бирок.

Макгвайр кивнул, и взор его устремился вдаль.

— Нам предстоит еще сделать очень многое, — задумчиво произнес он.

— Я ваш верный слуга, святой отец.

Макгвайр прошел вместе с ним к двери.

— Мне необходимо как можно больше узнать насчет ребенка Бэрдетов, причем все это — срочно! А также о самих Бэрдетых — о Бене и Фэй... Вы должны использовать все свои связи, чтобы ускорить это дело. Ибо времени у нас остается в обрез, и действовать надо решительно.

Бирок понимающе кивнул.

— Я приступаю немедленно.

— Вот и хорошо. — Макгвайр открыл дверь на лестницу.

По ней они поднялись из подвала на первый этаж. У входа в церковь уже ждал лимузин. Но Макгвайр лишь усадил туда Бирока, а сам отступил назад, наблюдая, как автомобиль отъезжает и медленно скрывается за поворотом.

Проводив его взглядом, священник повернулся и снова вошел в церковь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Через четыре дня Бирок позвонил в семинарию отцу Макгвайру и сообщил, что добыть информацию о мальшше Бэрдетов оказалось намного сложнее, чем он предполагал. Несмотря на то,

что имелись все данные о том, будто ребенок родился в клинике пресвитерианской церкви в Манхэттене, Бирок решил более подробно изучить историю болезни и старые списки пациентов. И не обнаружил там никаких подтверждений беременности Фэй и факта рождения Джои Бэрдета. Но что еще более странно, ни в каких других больницах это имя тоже не значилось, словно он вообще не появлялся на свет.

Удивленный такими новостями, отец Макгвайр тем не менее потребовал, чтобы Бирок продолжил поиски места рождения загадочного ребенка. Затем он сам позвонил Бэрдетам, но дома застал одну Фэй, и та сообщила ему, что Бен отправился играть в теннис, но если он так срочно нужен священнику, то можно позвонить прямо туда, поскольку Бен проторчит на корте еще не менее часа.

После минутного размышления Макгвайр решил никуда не звонить, а сразу подъехать к клубу и, поймав такси у ворот семинарии, очень скоро очутился возле крытого стадиона, где сразу же отыскал Бена на теннисном корте. Взобравшись на третий этаж, он прижался лицом к стеклу смотровой площадки и несколько минут наблюдал за своим приятелем.

Потом отец Макгвайр спустился к выходу, а Бен тем временем уже закончил игру и шел навстречу священнику. Он успел заметить Макгвайра, когда тот смотрел на него с третьего этажа.

— Я хочу поговорить с вами,— презрительно бросил Бен, с недоумением поглядев на волосы Макгвайра, поседевшие за один день.

— А я — с вами,— тут же отозвался Макгвайр.— Где мы можем уединиться?

Бен вытер полотенцем лицо и провел священника в пустую комнату для игры в бридж.

Они сели за карточный столик друг против друга. Бен вынул из кармана спортивной куртки сигару и предложил закурить Макгвайру, но тот отказался.

— Я требую, чтобы вы ответили на некоторые мои вопросы,— без предисловий начал священник, хрипло откашлявшись.

Бен со злостью ударил кулаком по столу.

— Ну уж нет! Отвечать сейчас будете вы! А если нет, можете уматывать отсюда подобру-поздорову.

— Бен!..— опешил священник.

— И хватит с меня вашей чуши! Говорить будете начистоту, иначе считайте, что наша беседа закончилась, не начавшись.

Макгвайр замолчал и стал нервно подергивать рукава своей рубашки.

— Вы ведь с самого начала знали, что происходит, и сами участвовали в этом разговоре! — выкрикнул Бен в лицо священнику.

— Да,— только и смог вымолвить тот.

— И именно поэтому вас и подослали на теплоход.

— Да,— подтвердил Макгвайр.

— И вы сами подстроили все так, чтобы мы оказались за одним столиком — чтобы легче было познакомиться! — не унимался Бен.

— Да.

— И вы подсунили нам распятие. — Бен смерил священника полным ненависти взглядом.

— Да.

— А если бы Франкино не погиб, вы бы так до конца и оставались в тени? — с презрительной усмешкой осведомился Бен.

— Трудно сказать. Я ведь действовал не самостоятельно, а только выполнял то, что мне приказывали...

— А я, кстати, заметил вас тогда в парке. Вы еще смылись на каком-то такси...

— Я это знаю, — невозмутимо ответил Макгвайр. — Франкино говорил мне.

— А как он погиб? — спросил вдруг Бэрдет.

— Я не знаю, — потушил глаза священник.

— Опять вранье! Я спрашиваю, как погиб Франкино?

— Не надо переигрывать! — неожиданно возмутился Макгвайр. — Я отвечаю на все ваши вопросы, но хочу, чтобы и вы доверились мне. Я уже не пешка в руках Франкино. И мне больше не на кого опереться — Франкино, как вы знаете, уже не руководит мною. Но теперь то, что не успел сделать он, предстоит сделать именно мне. Так что все его обязанности я принял на себя и выполняю их, не считаясь даже со своей жизнью. Но я не потерплю ничьего вмешательства!

Бен был ошеломлен, услышав эту тираду. Он слотнул, а потом заговорил снова, теперь уже более примирительным тоном:

— Тогда где же вы пропадали столько времени? И почему сразу не связались со мной после смерти Франкино?..

— Это, к сожалению, было невозможно. Нашлись более срочные дела. Но сейчас не стоит обращать на это внимания. Ничего не изменилось, кроме того, что я стал преемником монсеньора Франкино.

— Значит, Фэй по-прежнему уготована роль следующего Стража?

— Да, — подтвердил священник.

— Но ведь Франкино говорил мне, что существует некая альтернатива...

Макгвайр кивнул.

— Да, это так. Только он наверняка предупредил вас, что в этом случае вы должны беспрекословно слушаться его. Ну, а теперь, стало быть, меня. Не задавать лишних вопросов и не думать ни о каких последствиях ваших действий — короче, полностью положиться на нас.

— Я согласен, — кивнул Бен.

— Хорошо, — сказал Макгвайр и поднялся. Он отошел к окну, а потом снова повернулся к Бену. — Где родился ваш сын?

— Не понимаю...

— Я спрашиваю, где родился Джои Бэрдет? — не отступал Макгвайр.

Бен уставился в пустоту. Заметив это, Макгвайр сразу понял, что попал в точку. Теперь оставалось лишь ждать ответа.

— В Манхэттене, — не глядя на него, ответил Бен.

— А в какой именно больнице?

— В клинике пресвитерианской церкви. В Колумбийском медицинском центре.

— Кто принимал роды?

— Доктор Герберт Райфельсон.

— Как мне связаться с ним? — продолжал допрашивать священник.

— Это невозможно. Три месяца назад он скончался от сердечного приступа, — сообщил Бен.

«Неплохо придумано», — отметил про себя Макгвайр.

— Наверное, после него остались больничные карты его пациентов?

— Откуда мне знать? — начал заводится Бен. — Я его секретаршей не работал! — Он встал и вплотную подошел к священнику. — Послушайте, святой отец. Я не знаю, что вы пытаетесь сейчас разнюхать... Но мне скрывать действительно нечего. Мой сын родился в клинике пресвитерианской церкви в Манхэттене, а роды у жены принимал доктор Райфельсон.

Макгвайр улыбнулся.

— Мы уже проверили все бумаги в больнице. И никакого свидетельства на Джои Бэрдета, разумеется, там не обнаружили. А тем более — историю болезни Фэй Бэрдет. Также не нашли мы и чека на оплату медицинских услуг ни от вашего имени, ни от имени Фэй.

— Ну, значит, они плохо ведут свои записи и кое-что упускают... Я же не могу отвечать за их канцелярию! Мальчик родился там, и добавить мне к этому абсолютно нечего.

Макгвайр чуть заметно кивнул.

— Бен... А вы мне правду рассказываете? — проникновенно спросил он.

— А что же еще, черт побери! — взорвался Бэрдет. — И какая вообще разница, в какой больнице родился мой сын? Вы попусту теряете время, а жизнь моей жены, между прочим, остается в опасности!

— Я теряю время? — спросил Макгвайр, глядя Бену прямо в глаза. — Вероятно, вы и сами догадываетесь, почему это происходит...

— Но Чейзен не может принять облик младенца. Это же полная чушь! — продолжал кипятиться Бен.

— Возможно, вы и правы. Но существуют и другие причины, по которым вы сейчас отказываетесь сообщить мне всю правду... — Священник зашагал к двери, однако у самого порога оглянулся. — Если у вас пропадет все же желание постоянно врать и вы захотите сообщить мне нечто важное, я вас с удовольствием выслушаю. Если же нет, мне придется самому докопаться до истины. И тогда вам останется уповать только на Господа Бога.

Чувствуя, как нарастает в груди волна отчаяния, Макгвайр отправился в Управление епархии и заперся в кабинете, еще недавно принадлежавшем монсьёру Франкино. К счастью, у него нашелся верный и надежный друг — словак Бирок. Если кому-то и можно было поручить такое ответственное дело, как

выяснение причин молчания Бена, то только ему. Но времени было в обрез. Действовать предстояло очень быстро и оперативно. Смена Стража должна произойти в пятницу, до которой осталось всего лишь шесть дней.

Макгвайр поставил ближе настольную лампу и устало потер глаза. Ставни на окнах были закрыты, и лучи солнца не могли проникнуть сюда.

Позади стола находился маленький сейф, запертый на два замка. Священник достал ключи и открыл его. Внутри в строгом хронологическом порядке хранились толстые картонные папки, и все бумаги в каждой были аккуратно разделены вертикальной чертой на две части.

Он вынул первые две. На одной стояла надпись «Элисон Паркер/Сестра Тереза», на другой — «Вильям О'Рурк/Отец Галлиран». Во второй папке он нашел подробное описание жизни человека по фамилии О'Рурк, ставшего впоследствии отцом Галлираном, которому якобы принадлежал приход в районе Квинс, но более двадцати лет назад он был закрыт, и прихожане перешли в другую церковь.

Он внимательно изучил историю отца Галлирана и перешел к другой папке — с описанием жизни Элисон Паркер и легендой сестры Терезы, которая утверждала, что та якобы с восемнадцати лет была монахиней.

И вновь волна непонятого страха начала охватывать отца Макгвайра — его пугала эта бесконечная цепочка, частью которой теперь стал и он сам.

Наконец, завершив чтение, он поставил папки на место и вынул еще одну, самую последнюю, положив ее перед собой. Просмотрев находящиеся там документы, Макгвайр особо задержался на истории болезни, составленной доктором Мартином Абрамсом. В ней описывался невроз его пациента и рассказывалось, как под глубоким гипнозом этот больной поведал доктору о смерти собственной матери и о том, что чувство вины потом заставило его совершить попытку самоубийства. Но в результате депрессии, приведшей к суицидальным действиям, пациент начал страдать впоследствии частичной потерей памяти.

Пожалуй, это и был самый главный документ. Из него становилось ясно, почему именно этот человек был избран на роль следующего Стража и почему сам он ничего не помнил о своем желании расстаться с жизнью.

Макгвайр задумчиво уставился на первую страницу, разделенную чертой на две части. С правой стороны значилось «Отец Беллофонтэн», а слева до боли знакомым ровным почерком монсеньора Франкино было выведено: «Бен Бэрдет».

Итак, Бен должен стать новым часовым Господа Бога.

Но стало ли всем легче от того, что по воле случайных совпадений он решил, что эта роль уготована его жене Фэй?

Впрочем, вспомнив цепь недавних событий, Макгвайр подумал, что это несколько облегчило их задачу, поскольку у Бена не возникло никаких подозрений относительно себя самого, а значит, с ним легче будет иметь дело в урочный час.

Наконец, погасив настольную лампу, он положил на место папку и вышел из кабинета.

В понедельник утром Бирок позвонил отцу Макгвайру и сообщил, что ему удалось обнаружить информацию, требующую незамедлительной встречи.

Священник не раздумывая направился в дом номер 80 на 89-й улице.

— Что случилось? — с ходу спросил Макгвайр, чувствуя, как тревожно забилось сердце в ожидании непредвиденных осложнений.

Бирок тяжело опустился на диван и набил табаком трубку, которую недавно подарили ему Бэрдеты. Макгвайр присел рядом.

— Я еще раз перепроверил данные, полученные из клиники пресвитерианской церкви, — начал Бирок, стараясь держаться как можно спокойнее. — Ошибки быть не может. Ребенок там не родился. Потом я стал искать Райфельсона. Он действительно лечил когда-то Фэй Бэрдет, но только от чего — неизвестно. Впрочем, он никогда не занимался акушерством и гинекологией, так что его участие в принятии родов исключается. Тогда я начал обследовать все больницы Новой Англии и наконец нашел то, что мы так долго искали...

Макгвайр напрягся. Сейчас должно было прозвучать нечто совсем неожиданное.

— Итак, Джон Бэрдет родился в штате Массачусетс, в городе Бостон, — продолжал рассказ Бирок. — Но Фэй Бэрдет не родная его мать. Настоящая мать живет в Кокорде, штат Нью-Гемпшир. И фамилия ее — Бурреро. Через два дня после родов она отказалась от ребенка и оставила его в больнице, а двадцать второго июля Бен и Фэй усыновили его и оформили все необходимые документы.

Эта новость как гром поразила священника.

— По вашей просьбе я заново проследил весь жизненный путь Бена Бэрдета и теперь почти уверен, что все факты его биографии — тоже сплошная липа.

— Я перестаю вас понимать... — с ужасом признался отец Макгвайр.

— Все, что мы знаем о его детстве, оказалось обыкновенным вымыслом. Но что самое главное — оба его родителя умерли от инфаркта. И никакого рака у его матери не было. Я сам видел заключение о ее смерти, и нет никаких подозрений, что эта смерть была неестественной. Так что Бен Бэрдет не убивал свою мать, и у него, следовательно, не было никаких причин совершать на этой почве попытку самоубийства.

— Непостижимо! — Обескураженный Макгвайр с трудом приходил в себя после всего услышанного. — Франкино не мог так ошибаться!...

— Не знаю, Франкино ли тут ошибся или кто другой, но вся моя информация имеет документальное подтверждение. И я могу ручаться за каждое сказанное мною слово.

— Но ведь это еще не все?... — с затаенной надеждой спросил Макгвайр, лихорадочно соображая, почему так промахнулся монсеньор и что теперь надо делать, чтобы исправить положение.

— К счастью, не все,— подтвердил Бирок.— Есть одна ниточка... Я тут наткнулся на человека, вернее, пока только на имя — Артур Селигсон, который и может дать ключ к нашей тайне. Этот Артур каким-то образом был связан с Беном Бэрдетом. Узнав об этом, я стал копать дальше и вышел на человека по имени Чарли Келлерман. Правда, говорить с ним без вашего ведома я не стал, но адресок у меня имеется.

— И как же он может нам помочь? — напряженно нахмурил лоб священник.

— Пока ума не приложу,— признался Бирок.— Но это единственная нить. Кто знает...

Макгвайр кивнул.

— Надо попробовать. Так где он живет?

— Неподалеку. В Гринвич Виллидж.— И он протянул священнику карточку с адресом.

Макгвайр мельком взглянул на бумажку, сложил ее вдвое и сунул в карман.

Чарли Келлерман поднял глаза на священника и, не вставая с кровати, рассмеялся. Это был странный смех, больше напоминающий коктейль из свиста и хриплого кашля.

— Присаживайтесь, святой отец,— проговорил он, старательно выводя каждый звук. Голос его звучал еле слышно.— Видите ли, у меня была операция на гортани, и мне теперь нелегко говорить. Ну, а понять меня еще труднее... Рак,— пояснил он.— Вон там возьмите себе табуреточку...

Макгвайр ухватил трехногий табурет, на который указал ему Келлерман, и тот жалобно заскрипел под могучим телом священника.

— Так вы хотели о чем-то поговорить со мной? — спросил Чарли.

— Да,— отозвался Макгвайр.— Но сначала, наверное, надо бы зажечь свет... Или открыть окна, а то темновато...

— Если можно, давайте останемся в этом полумраке. Свет режет мне глаза, а темные очки больше не помогают. Поймите меня правильно.

Макгвайр с жалостью поглядел на измученное тело Келлермана. Вены на его руках были сплошь исколоты, а у правого запястья, похоже, начиналась гангрена. Зрачки расширены, а лодыжки, торчащие из-под коротких шаровар, отекли. Судя по всему, этот бедолага давно уже сидел на игле.

— Как вам у меня нравится? — спросил Чарли и обвел руками жалкое однокомнатное жилище, расположенное на чердаке старого многоквартирного дома.

— Нормально,— неопределенно пожал плечами Макгвайр, стараясь не обращать внимания на страшную вонь в камерке, кучи сваленного по углам грязного белья и одноразовых пластиковых тарелок с какими-то огрызками и объедками.

— Я обитаю здесь уже пятый год,— сообщил Келлерман.— С того самого дня, как прикрыли мой клуб для гомосексуалистов. Он назывался «Суарэ». Тогда я жил роскошно... У меня на Третьей авеню была такая квартира!.. Двухэтажная. И наркоти-

ков было сколько угодно. А еще я любил устраивать дома оргии. Но все это давно прошло... Я уже начинаю забывать эти счастливые дни. А теперь вот приходится жить в Сохо. Денег нет. Все угрохал на героин. Так что о новом клубе и мечтать не приходится... Кто мне даст лицензию на торговлю спиртным, когда я засветился на торговле наркотиками?.. — Он облизнул пересохшие губы и заворочался на кровати, устраиваясь поудобней. — Да-а... Человек ко всему привыкает, в этом я уж на себе убедился. Но я не переживаю.

Макгвайр покачал головой, жалея этого несчастного человека, потерявшего все и опустившегося на самое дно.

— Может быть, я смогу как-то помочь вам, мистер Келлерман? — осторожно спросил он.

— Ну, раз уж вы спрашиваете... Конечно. Итак, что вам нужно? Получить некую информацию? Я согласен ее предоставить. Но тогда и вы будете мне кое-что должны.

— Что же?

— Мне нужны зелененькие. Чтобы свести концы с концами. Я же не могу вечно шататься по улицам и жить на подаяние. Нужна некоторая передышка... Да и надеяться на доброго волшебника не приходится. — Он немного помолчал, а потом лицо его озарила блаженная улыбка. — Впрочем, тут я, наверное, ошибаюсь: добрый волшебник уже сидит в моей конуре.

Макгвайр незамедлительно вынул из кармана пятидесятидолларовую бумажку и аккуратно положил ее на простыню рядом с Келлерманом.

— Этого недостаточно, — предупредил тот.

Священник достал еще одну такую же банкноту и положил ее поверх первой.

Келлерман проворно схватил обе купюры и сунул их под подушку.

— Следующий дозник будет принят во имя Христа-Спасителя, — торжественно пообещал он.

Макгвайр терпеливо ждал, когда у Келлермана пройдет очередной приступ смеха. Чарли в истерике катался по кровати, но очень быстро успокоился и затих, с трудом переводя дыхание.

— Может быть, поговорим о деле? — предложил наконец священник.

— Конечно, святой отец, — охотно отозвался Келлерман, стряхивая с одеяла таракана. — Задавайте вопросы, и я, как смогу, отвечу на них.

— Вам известен человек по имени Артур Селигсон? — спросил Макгвайр.

Келлерман нахмурился, напрягая память.

— Я точно не уверен... — замялся он. — Но фамилия вроде бы знакомая.

Келлерман углубился в воспоминания, бормоча что-то себе под нос. Несколько раз он уже открывал рот, намереваясь что-то сказать, но потом снова задумывался. Память урывками возвращала его в прошлые годы. Макгвайр молча наблюдал за ним и молился про себя, чтобы мозги у Чарли хоть ненадолго зарабо-

тали и он смог поведать священнику о событиях давно минувших лет.

Наконец Келлерман с победным видом приподнялся на локтях в своей грязной постели. Для начала он попросил достать окурков из пепельницы, чтобы ему стало полегче. Священник отыскал среди «бычков» самый длинный и, сунув его в рот Келлерману, поднес спичку.

Табак оказался настолько отвратительным, что от едкого дыма у Макгвайра защипало глаза.

— Все. Я вспомнил его, — гордо объявил Чарли, счастливый от того, что память на сей раз не подкачала. — Он приходил в «Суарэ». Ну, и стал вроде как постоянным членом нашего клуба. Раз в неделю он бывал у меня — это точно. А то и чаще... Он был неглупым парнем и весьма привлекательным.

— Попробуйте описать его, — попросил Макгвайр.

— Волосы темные. Среднего роста. Достоинства крупные.

— Какие еще достоинства? — не понял священник.

Келлерман хихикнул.

— Мужские, разумеется. Я любил иногда потискать его, но, конечно, ничего серьезного у нас с ним произойти не могло — так только, шутки ради. Потому что у Селигсона был очень ревнивый любовник.

— А кто?

— Один педрила по имени Джек Купер.

Макгвайр тут же вынул блокнот и записал это имя.

— Значит, как я уже говорил, — продолжал свой рассказ Келлерман, — этот красавчик заходил ко мне раза два в неделю, чтобы повидаться со своим Купером. А тот работал у меня.

— И сколько времени все это продолжалось?

— Не меньше года. Но потом Селигсон внезапно исчез. И больше не заявлялся.

— И больше вы о нем ничего не знаете? — разочарованно произнес священник.

— Ничего. А что вам еще нужно? Понимаете, святой отец, ведь тогда, в шестидесятых, голубые не ходили так открыто, как нынче. Одни прятались по квартирам. Другие ошивались в барах.

Конечно, самые постоянные клиенты могли мне довериться, но случайные посетители — Боже упаси. Они приходят и уходят — и какое мне дело до того, как дальше складывается их судьба!.. Рано или поздно все они переставали посещать клуб. Некоторые уезжали в другие города, кто-то просто менял квартиру, чтобы замести следы. А отдельные даже умудрялись жениться, хотя должен сказать, что таких можно было по пальцам пересчитать. В основном ведь педики начинают активно принимать наркотики и дохнут от этого. Да я ни о ком из них практически и не знал ничего... Впрочем, кому какое до них дело!

— А что дальше стало с Джеком Купером?

Келлерман откинулся на подушке, продолжая усердно дымить окурком.

— Понятия не имею. В 1968 году он пришел ко мне, заявил,

что уезжает из города, и попросил дать ему расчет. У нас не было принято спрашивать, куда именно, раз он сам не сказал, ну, я и не стал интересоваться...

— А где же тогда был Артур Селигсон?

— Бог его знает. Селигсон к тому времени уже не показывался в клубе. Да и сам Джек говорил как-то, что потерял с ним связь. Видите ли... Селигсон вообще-то был бисексуалом. И все время, пока он встречался с Джеком, он жил у какой-то бабы... Может быть, он решил, что пора завязывать с голубыми, да и женился на своей крале. Не исключено, что теперь у него уже целый выводок потомства, а сам Артур превратился в степенного папашу и ходит на службу с девяти до пяти, крутится от зарплаты до зарплаты, а по вечерам, вздыхая, вспоминает своего брошенного любовника.

— Ну а Джек Купер?

— Этот, скорее всего, уже откинул копыта. Впрочем, мне и на него наплевать.

— А вы не знаете, как фамилия той девушки, у которой жил в те годы Артур? — попробовал нащупать нить Макгвайр.

Но Келлерман лишь рассмеялся.

— Да вы шутите над стариком, святой отец! Видите, сколько времени мне потребовалось, чтобы вообще вспомнить, кто такой Селигсон. А теперь вы еще хотите, чтобы я припомнил имя какой-то вшивой бабенки? Да я и слышал-то о ней всего пару раз краем уха.

Макгвайр поднялся с табурета.

— Ну да, конечно. Ведь столько воды утекло... — с пониманием кивнул он.

Келлерман лишь пожал плечами.

— Так вы уверены, что ничего больше не можете добавить к тому, что уже сказали? — на всякий случай спросил священник.

— Абсолютно уверен. Так же, как и в том, что мне сейчас очень нужно поправить здоровье укольчиком...

Макгвайр быстро написал в блокноте номер телефона, потом вырвал листок и протянул его Келлерману:

— Если вы вдруг вспомните еще что-нибудь, позвоните по этому телефону.

— С превеликим удовольствием, — улыбнулся Чарли.

Макгвайр застегнул пальто.

— Ну, еще раз спасибо за информацию, — сказал он, поворачиваясь к двери.

— Был счастлив помочь.

— Да, кстати, — вдруг спохватился Макгвайр. — А кем работал у вас Джек Купер?

— Старина Джек? Ну, часть времени он торчал за стойкой...

— А другую часть? — замер Макгвайр.

Келлерман молча указал в угол, где стояла картонная обувная коробка, перевязанная крест-накрест бечевкой. Он попросил Макгвайра принести ее к нему на кровать и открыть. Внутри находилось, наверное, не меньше тысячи фотографий. Келлерман начал перебирать их, и священник невольно придвинулся ближе.

Неожиданно Чарли замер, вынул одно фото и, рассмеявшись, закрыл коробку. Теперь он держал в руках всего один снимок и внимательно всматривался в него, не переставая улыбаться.

— Все верно, сэр, — важно произнес он. — Вот это и есть Джек Купер. Так вам интересно, чем он занимался в моем клубе, кроме коктейлей?..

Келлерман передал ему фотографию, и Макгвайр осторожно взял ее в руки. То, что он увидел на снимке, потрясло его до такой степени, что священник чуть не выронил фотографию. Сейчас он готов был кричать и биться головой о стену.

Ибо ему открылась страшная истина.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Колеса неприметного черного «седана» буксовали в грязи, с трудом проталкивая машину вперед по разбитой колее старой проселочной дороги. Автомобиль трясло так, что отец Макгвайр несколько раз ударился головой о потолок. Рядом с ним сидел Бирок с напряженным и сосредоточенным выражением лица. В руках он держал фонарь и маленький блокнот. Кроме них, в машине ехали еще трое. Все были в черных костюмах, плащах и таких же шляпах. Небо затягивали густые мрачные тучи. Вокруг не было видно ни зги. Дорога шла по унылой заболоченной местности где-то в районе Вестчестера, недалеко от Нью-Йорка. Но за последние полчаса им не попалось ни одного жилья, ни одного дорожного указателя — довольно странное место для захоронения, организованного при содействии Главного судмедэксперта Нью-Йорка, давшего свое согласие на погребение жертвы убийства в этом районе. Но Бирок не мог ошибиться — он сумел проследить за криминалистами и теперь был абсолютно уверен, что труп из компактора покоится именно здесь.

— Сколько нам еще ехать? — нервно спросил Макгвайр.

— Уже недалеко, — ответил шофер, взглянув на развернутую карту. — Миля три-четыре... Не больше десяти минут.

Миновав неглубокую речку и старую заброшенную мельницу, машина наконец остановилась.

— Это там! — сказал Бирок, указывая пальцем в темноту за окном.

И тут все разглядели неподалеку высокий ржавый забор и мощные ворота, запертые на цепь с висячим замком. Вокруг не было ни души, все скрывала злоеца тьма.

Немного подумав, шофер переставил машину под растущие неподалеку густые деревья, чтобы в случае чего ее не было видно с дороги.

— Только не хлопайте громко дверьми! — предупредил Макгвайр. — И если надо будет что-то сказать, говорите шепотом.

Пассажиры один за другим выбрались из автомобиля. Бирок открыл багажник, достал оттуда увесистый рюкзак, а потом включил фонарь и направил луч света на запертые ворота.

— Пошли, — тихо сказал Макгвайр.

Земля под ногами совсем раскисла от затяжных дождей, и на

подошвы ночных путешественников тут же налипли огромные комья грязи. Подойдя к забору, Бирок остановился, вынул из рюкзака гигантские кусачки, перекусил ими цепь и открыл ворота. Когда вошли внутрь, он снова закрыл створки ворот и повесил цепь. Затем зашагал впереди всей группы, ведя ее по темной аллее из старых, могучих кленов. Кладбище сплошь заросло сорняками: здесь давно уже не ступала нога человека — никто больше не заботился об этих могилах, и они находились теперь в полной заброшенности. На дорожках блестела раскисшая глина, а единственным источником света был здесь карманный фонарик Бирока.

Словак снова остановился и, достав блокнот, развернул его, сверяясь со схемой, которую начертил на днях, выслеживая похоронную бригаду из полицейского морга. Он показал схему Макгвайру, прочертив на ней пальцем остаток маршрута, а потом снова пошел вперед, безошибочно находя дорогу в хитроумном лабиринте кладбища. Остальные молча брели за ним, не обращая внимания на мрачные ряды поросших мхом надгробий и склепов.

— Мы правильно идем? — спросил Макгвайр.

Бирок коротко кивнул в ответ.

Неожиданно он снова остановился, сошел с тропинки и присел возле камня, на котором стоял только кладбищенский номер и больше не было никаких надписей.

— Здесь, — сказал Бирок.

Макгвайр вытер рукавом взмокший лоб и прошептал:

— Прекрасно. Начинайте.

Трое мужчин достали из рюкзака складные саперные лопатки и принялись копать землю в указанном месте.

— Из медицинской карточки следует, — тихо шептал Бирок священнику, — что у него в коленной чашечке оставили металлический шуруп. А еще у него характерный перелом четвертого правого ребра — там должен быть окостеневший ложный сустав.

Макгвайр кивнул.

Звук втыкающихся в землю лопат негромким шелестом разносился по кладбищу. Несколько минут мужчины работали без передышки, и наконец все услышали долгожданный звук.

— Есть! — радостно сообщил шофер, высовываясь из ямы.

Макгвайр заглянул внутрь вскрытой могилы. На глубине трех футов отчетливо виднелась деревянная крышка.

— Открывайте! — скомандовал он.

Мужчины подняли гроб и выставили его наружу, потом достали из рюкзака гвоздодеры и принялись один за другим вытаскивать из крышки кривые гвозди. Макгвайр отступил немного назад, наблюдая за их работой. Наконец водитель и его помощники аккуратно сдвинули крышку гроба.

Священник взглянул на груды обожженной гниющей плоти, и тошнота волной подступила к самому горлу.

— Проверяйте, — велел он Бироку.

Тот сразу же ухватил труп за колено. Ключья обугленного мяса рассыпались у него на ладони. Он скривился, но не отступил, решив все же найти этот злосчастный металлический шуруп.

Неожиданно высоко в небе прогремел гром.

— Что это? — испуганно вскрикнул Бирок, подняв глаза вверх.

— Тише! — шикнул на него священник, тоже с тревогой глядя в темное небо.

Остальные невольно попятнулись и в ожидании грозы спрятались под старыми кленами. Макгвайр не стал ничего говорить им, а повернулся к Бироку.

— Быстрее! — громким шепотом произнес он.

Бирок снова запустил руку в гроб.

И опять над головой оглушительно грохнуло, заставив содрогнуться непрошенных гостей кладбища. Бирок испуганно прикрыл ладонью глаза. Но Макгвайр грубо схватил его за воротник и чуть не ткнул лицом в гроб.

— Если вы не в состоянии выполнить это, то отойдите, я все сделаю сам! — рассердился он на словака.

— Простите, святой отец, — пробормотал насмерть перепуганный Бирок, пытаясь совладать с собой.

Хищный зигзаг молнии прорезал черное небо. Глаза Макгвайра обожгло ослепительным светом. В лицо пахнуло нестерпимым жаром. Края одежды священника задымились и стали обугливаться.

Молния угодила прямо в гроб, и он тут же запылал ярким пламенем. Бирок так и не успел отскочить и в мгновение ока сгорел вместе с гробом.

— Господи! — закричал во весь голос отец Макгвайр, и ему ответил раскатистый гром.

Оставшиеся в живых со всех ног бросились к автомобилю. Потрясенный священник механически поплелся за ними по грязной, скользкой тропинке к выходу, но не успел: машина тронулась с места, оставляя его в полном одиночестве среди могил.

Небо хмурилось, гром продолжал греть, а молнии то и дело заливали округу зловещим светом. Макгвайр повернулся и, закрыв лицо руками, беспомощно скорчился от отчаяния и невыносимого ужаса.

Вдруг раздался оглушительный взрыв, и огненный поток обрушился с неба на мчащийся автомобиль, обдав его ослепительным пламенем. В ушах Макгвайра зазвенело от страшного грохота, и он замер с раскрытым ртом, наблюдая, как горящие куски металла разлетаются в разные стороны. И тут, словно по волшебству, гром стих и небо вновь потемнело. Гроза прошла так же внезапно, как началась. Вокруг воцарилась прежняя тишина, не нарушаемая ни одним посторонним звуком.

Священник, пошатываясь, вышел на дорогу. Слезы ручьями текли по его лицу, клочья одежды развевались от слабого ветерка. Несколько секунд он простоял в растерянности, а потом решительно зашагал по грязной, мокрой дороге, облизывая пересохшие губы и вытирая руками лицо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

— В дверь звонят, дорогой! — крикнула Фэй и, обвязав вокруг груди банное полотенце, уселась на диван. Она всего несколько минут назад вылезла из-под душа и не успела до конца обсохнуть. — Ты посмотришь, кто там?

— Где? — спросил Бен, высовываясь из ванной.

— В дверь кто-то звонит, — нетерпеливо повторила Фэй.

Он на секунду скрылся за дверью и тут же вышел, облаченный в длинный махровый халат.

— Я же предупреждал Сорренсона, чтобы он не приходил так рано! — проворчал Бен, поглядывая на большие настенные часы в спальне. — Еще и восьми нет. Кто там? — громко спросил он.

— Отец Макгвайр, — раздалось в ответ.

— Макгвайр? — Бен растерянно открыл дверь раннему визитеру.

— Доброе утро, Бен, — поздоровался священник. — Можно войти?

— Да, разумеется... — запинаясь, ответил тот, с изумлением разглядывая священника.

Макгвайр оторвал окровавленные руки от дверного косяка и нетвердой походкой вошел в квартиру. Ботинки его были облеплены комьями глины, лицо вымазано в грязи и перепачкано кровью. От одежды пахло гарью.

— Где ребенок? — хрипло спросил он, проходя в гостиную.

— В спальне.

— И Фэй тоже там?

— Ну да...

— Пусть они придут сюда.

— Да что с вами стряслось, святой отец?

— Делайте, что вам говорят!

Бен пожал плечами, скрылся за дверью и через несколько секунд появился вместе с Фэй и маленьким Джои.

— Отец Макгвайр! — Фэй кинулась к священнику и начала обнимать его, не обращая внимания на запекшуюся кровь и комья грязи. Судя по всему, Бен успел предупредить ее, что с их другом что-то случилось. — О, я так рада вас видеть! Мне остается надеяться, что с вами все в порядке...

Макгвайр взял ее за руку и отвел к дивану.

— Присядьте сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами и с Беном.

Фэй нервно облизала губы.

— Конечно, святой отец. Говорите же!..

— Несколько дней назад, — начал Макгвайр, не сводя глаз с Бена, — я спрашивал вас о Джои. — С этими словами он взял малыша у Фэй, поцеловал его в щеку и нежно погладил по взбившимся светлым волосам, приводя их в порядок. — Вы и сейчас будете настаивать на том, что он родился в клинике пресвитерианской церкви в Нью-Йорке?

— А в чем, собственно, дело? — заволновалась Фэй.

— Так или нет? — продолжал давить Макгвайр.

— Все верно, — подтвердил Бен.

Макгвайр повернулся к Фэй.

— Теперь я хочу спросить вас. Где родился ваш сын, миссис Бэрдет?

— Бен же сказал... В клинике пресвитерианской церкви, — повторила она слова мужа.

Макгвайр подошел к дивану и приблизил личико ребенка

сначала к Фэй, потом к Бену, наслаждаясь недоумением Бэрдетов. Потом вернул малыша матери.

— Никакого сходства с вами, вам так не кажется?

— Я не понимаю, на что вы намекаете, — огрызнулась Фэй, — но сходство здесь, по-моему, бесспорное. Он же моя копия! А носик — совсем как у отца.

— Да, носик, вероятно, и в самом деле как у его отца... Но только совсем не как у Бена. А если он в чем-то и напоминает вас, то это сходство чисто случайное. Может быть, теперь вы заговорите? — Наступила пауза. — Ну, хорошо... Если вы предпочитаете слушать меня, так слушайте: ребенок родился в штате Массачусетс. Его настоящая мать живет в Нью-Гемпшире, а отец — где-то в средних штатах. Вы усыновили этого ребенка! Фэй, вы никогда не были беременны. Ваша беременность — это сплошная фальшь и уловка перед соседями. У вас никто никогда не рождался. Да попросту и не мог родиться!

Макгвайр сглотнул, ощущая, как страх начал волнами закрадываться в душу. Теперь ему приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы голос не дрожал и на лице сохранялись спокойствие и уверенность. В эту квартиру он пришел, обуреваемый весьма противоречивыми чувствами, но и это должно было остаться незамеченным супругами.

Фэй прижала к себе ребенка, а Бен подошел к ней и нежно обнял ее за плечи.

— Ну и что? — запальчиво произнес он. — Допустим, ребенок был усыновлен, так в чем же тут преступление? И какая кому разница в конце концов?

— Какая разница? — вскипел Макгвайр. — У Фэй Бэрдет вообще не могло быть детей. Потому что на самом деле она — мужчина. Мужчина, имя которого раньше было Джек Купер — трансвестит и имитатор женщин. Быть может, самый изощренный в своем богомерзком искусстве...

С этими словами Макгвайр швырнул на колени Фэй фотографию, которую ему любезно подарил Чарли Келлерман.

— Посмотрите сюда!

Фэй мельком взглянула на карточку.
— Это Джек Купер, который носит сейчас имя Фэй Бэрдет. Он снят в женской одежде перед выходом на сцену клуба «Суарэ».

Бен уставился на священника. На лице его смешались ненависть и страх.

— Так вот, Джек Купер и есть Фэй Бэрдет! — повторил священник, приближаясь к Бену вплотную. — Теперь вы не станете отрицать этого?

— Если бы об этом стало известно, у нас бы отобрали ребенка! — в отчаянии выкрикнула Фэй.

— Так вы еще отрицаете? — грозно сдвинул брови Макгвайр.

— Нет, — беспомощно произнес Бен.

— Итак, вы встретились в «Суарэ» в 1966 году. Бен назвался Артуром Селигсоном — он всегда прикрывался этим псевдонимом, когда посещал бары для гомосексуалистов. Сначала это были просто дружеские встречи, но постепенно ваша дружба

переросла в нечто большее. Джек при этом продолжал работать в клубе барменом и выступать на сцене как трансвестит. Через год Артур Селигсон исчез неизвестно куда, а после него, разумеется, уволился и Джек Купер. Вы и есть Артур Селигсон. А вы, — он повернулся к Фэй, — Джек Купер! По крайней мере так было раньше.

— Ну, хорошо, — повернулся Бен к священнику. — Пусть вам все стало известно. Да, Фэй действительно была когда-то Джеком Купером. И мы усыновили ребенка. Но ведь Фэй — настоящая женщина в душе! И так было всегда... Так что же вы намерены сделать — объявить всему миру, что мы голубые?.. Но ведь если бы это стало известно властям, нам никогда не разрешили бы усыновить Джои, а если станет известно теперь — у нас отнимут нашего мальчика. Святой отец, кому нужна ваша правда? Ведь все эти годы мы были так счастливы!.. Фэй — моя настоящая жена. И мы воспитаем Джои не хуже, чем любые другие родители. И он вырастет хорошим парнем, без всяких отклонений. Ну какая вам разница, кто есть кто?..

— Ах, какая разница?! — взревел священник, отступая назад. — Да, кроме того, что вы все эти годы грешили против Господа Бога, ваше вероломство и ложь чуть не поставили под угрозу существование всего человечества!.. Еще немного — и погасла бы последняя искра надежды! Хорошо еще, что Бирок успел помочь мне и выяснить истину, царство ему небесное.

— Бирок?.. — чуть слышно повторил Бен.

246 — Труп в компакторе, как вы помните, был мужской, — продолжал священник. — И поэтому мы с Франкино справедливо решили, что Чейзен принял вид того самого мужчины, которого он убил. А когда при помощи Стража мы выяснили, что Чейзен находится здесь, на десятом этаже, круг подозреваемых сузился до предела. Значит, он мог превратиться только в Сорренсона, Дженкинса, Батилля, Макса Вудбриджа или в Бена Бэрдета! Но, попавшись на вашу удочку, мы не учли, что Фэй тоже мужчина, тем более что Чейзен так талантливо разыграл чуть позже сцену изнасилования в подвале, после которой, если и были еще какие-то подозрения, они сразу рассеялись. — С этими словами Макгвайр подошел к Фэй, которая бесстрастно наблюдала за ним. — Так вот, настоящая Фэй Бэрдет — или Джек Купер, если угодно, — и была убита тогда в подвале Чарльзом Чейзенем. Именно ее тело там и нашли! А вот душа ее отлетела напрямиком в ад, чтобы присоединиться там к легионам Сатаны, которым она должна была по нашему замыслу противостоять. Так что вы и есть Чарльз Чейзен! — закончил священник, обращаясь к Фэй. — Вы — Сатана! — Он выждал несколько секунд, а потом гневно указал на Фэй пальцем. — И я проклинаю тебя! Я проклинаю каждый миг твоего презренного существования! Ты — наказание и бич человечества! Ты приносишь одни несчастья и бедствия! Ты — мерзкое, гнусное и подлое исчадие ада! Будь же ты проклят во веки веков!

Фэй ничего ему не ответила. Более того, она вообще никак не отреагировала на тираду священника, неподвижно сидя перед ним на диване.

В наступившей тишине Бену показалось, что каминные часы стали тикать как-то особенно громко. И снова отец Макгвайр начал осыпая проклятиями существо, принявшее форму его жены.

Бен встал между ними и взял Фэй за руку. На лице его выступили капли пота.

— Это так? — спросил он, с ненавистью глядя на восковое лицо Фэй.

Но она отдернула руку и повернулась к священнику.

— Проклинаю тебя! — еще раз выкрикнул отец Макгвайр.

И тут Фэй с такой силой расхохоталась, что в серванте зазвенела посуда. Ребенок заплакал и стал давиться слезами. Но Фэй направилась не к нему, а к мужчинам, продолжая громко смеяться. Лицо ее стало на глазах искажаться, принимая самые разнообразные очертания.

— Фэй! — истушенно закричал Бен. Но теперь уже он обращался не к тому существу, что находилось сейчас у него в квартире... Он вспомнил свою настоящую Фэй, погибшую в подвале, и, упав на колени, в отчаянии закрыл лицо руками.

Теперь стало меняться и само тело Чейзена. Кожа сделалась тонкой и хрупкой, начала трескаться, и через минуту перед ними стоял сам Чарльз Чейзен в том виде, в каком его встретил Франкино в старом особняке пятнадцать лет назад.

Неизвестно откуда налетел ветер, сметая все на своем пути, поднимая в воздух бумаги и опустошая пепельницы... Со стен упали картины, но ветер не утихал. Макгвайр схватился за решетку камина, чтобы устоять на ногах. Бен накрыл своим телом малыша.

Чейзен не переставал дико хохотать, упиваясь произведенным эффектом.

Свет померк. В квартире царил хаос, повсюду валялась перевернутая мебель. Наконец Бен и Макгвайр отважились посмотреть на Чейзена. Он стоял, опершись о стену, и вдруг начал таять в воздухе, пока совсем не исчез. Вместе с этим прекратилась и буря.

Бен начал укачивать ребенка, стараясь успокоить его и бормоча какую-то незатейливую песенку. Малыш все еще сильно дрожал.

— Бен, — укоризненно произнес отец Макгвайр. — Все это произошло только из-за вас. Вы виноваты в том, что у нас не осталось времени, чтобы справиться с Чарльзом Чейзенем.

— Да к черту вашего Чейзена! — разозлился Бен. — Плевать мне на него! И на все, что у вас тут творится!..

— Вы лжете самому себе, Бен, — покачал головой священник.

— Да идите вы!..

— Вам не может быть безразлично все это, если вы, конечно, еще верите в Бога и продолжаете любить Его, — терпеливо увещевал Макгвайр.

— Да никакого Бога не существует! — отрезал Бен.

— И Сатаны, выходит, тоже? Не обманывайте себя, Бен. Вы только что видели его своими глазами.

— Фэй умерла! И если она должна была стать вашим Стра-

жем, то теперь никакого Стража не будет! — в отчаянии прокричал Бен, с трудом сдерживая подступающие рыдания.

Макгвайр подошел к нему ближе.

— Но у вас остался сын.. И надо дать ему возможность прожить хорошую, достойную жизнь. А у него есть такой шанс... Вы же не станете лишать своего ребенка полноценной жизни?.. Так что альтернатива остается...

— Что? — не понял Бэрдет.

— Все, о чем мы говорили раньше, остается в силе. Только вы должны полностью довериться мне.

— Я уже пробовал довериться Франкино.

— Я не Франкино, — напомнил священник. — И к тому же у вас просто нет теперь другого выбора. Вы должны выслушать меня и делать так, как я скажу.

Бен молча смотрел на него.

— Завтра в полночь вы должны прийти в эту квартиру, — давал указания Макгвайр. — А сейчас вы уйдете отсюда вместе со мной. Найдите другое место, где можно было бы переночевать. Ребенка немедленно отправьте к родственникам. А завтра к полуночи — снова сюда. Вам все понятно?

— Да... — неуверенно ответил Бен. — Но вы должны объяснить, зачем все это нужно.

— Причины? — переспросил Макгвайр. — Если вы не явитесь сюда и если до вас не успеет добраться Сатана, то доберусь я и лично вас уничтожу. И вас, и вашего сына! Вот какие причины! Теперь, надеюсь, вам все понятно?

Бен медленно кивнул.

— Ну и прекрасно, — вздохнул Макгвайр и указал Бену на выход.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Будильник прозвенел ровно в десять утра.

Отец Макгвайр одним прыжком выскочил из постели, наскоро принял душ, оделся и, выйдя из спального корпуса, перешел двор, очутившись у подъезда семинарии. Поднявшись на третий этаж, он подошел к своему кабинету, распахнул дверь и застыл на пороге. Его уже ждали трое неизвестных.

— Доброе утро, святой отец, — поприветствовал Макгвайра сержант Уосо.

— Да-да... Доброе утро, — запинаясь, произнес священник. — Но простите, кто вы такие? И что здесь делаете?

Уосо поднялся из-за письменного стола Макгвайра и предъявил ему свой значок, а потом представил двух других полицейских: ими оказались детективы Якобелли и Демар. Затем, снова усевшись за стол, он предложил священнику располагаться поудобнее и не спешить, так как требовалось ответить на некоторые вопросы полиции.

Макгвайр, негодуя, плюхнулся в свободное кресло для посетителей.

— Что все это значит? — с вызовом обратился он к сержанту.

— Убийство, — коротко пояснил Уосо.

— Убийство?! — словно не веря своим ушам, переспросил священник.

— А разве вы никогда не слышали такого слова, святой отец? — саркастически усмехнулся сержант.

Макгвайр оглядел полицейских и, беспомощно покачав головой, прищурился от яркого света настольной лампы, который Уосо направил ему прямо в глаза.

— И все же непонятно, почему вам потребовалось говорить именно со мной, — недоумевал священник.

Уосо вынул из кармана плаща фотографию и небрежно швырнул ее на стол.

— Это тело на карточке еще недавно принадлежало мистеру Гульельмо Франкино. Или монсьёру Франкино, как вы привыкли его называть, — заговорил сержант. — Несколько дней назад он выпал из окна десятого этажа дома номер 69 по 89-й улице. С первого взгляда это было похоже на самоубийство, хотя никто из нас наверняка не стал бы утверждать, что священники на такое способны, верно?.. А монсьёр Франкино, как сообщили мне в Управлении епархии, действительно был священником. Вы знали его? — вдруг спросил он Макгвайра.

Тот внимательно посмотрел на снимок. Неужели Бен уже успел рассказать что-то полиции? Маловероятно.

— Нет, — решительно заявил он. — К сожалению, этот человек мне незнаком.

— Понятно, — самоуверенно кивнул Уосо, словно ожидал услышать от Макгвайра именно такой ответ. — Вы знаете некоего Бена Бэрдета?

Макгвайр изо всех сил пытался не выказать своего нарастающего волнения и лишь отрицательно покачал головой.

— А Фэй Бэрдет? — не унимался сержант.

— Тоже нет.

— А кого-нибудь другого из этого дома?

— Никого. И я думаю, что вы сами знаете об этом не хуже меня, — теряя терпение, произнес Макгвайр.

— Вы ничего не запомнили, святой отец? — вкрадчивым голосом спросил Уосо, присаживаясь на край письменного стола. — Ну хорошо. Тогда, может быть, вы знали бывшего детектива Гатца?

— Впервые слышу эту фамилию.

— А инспектора Бурштейна?

Макгвайр снова покачал головой.

Уосо рассмеялся.

— Послушайте, святой отец, вас когда-нибудь обвиняли во лжи?

Макгвайр выпрямился в кресле и с негодованием смерил взглядом сержанта.

— Никогда, — высокомерно заявил он.

— Какая жалость! Значит, мне придется стать первым, кто это сделает. Потому что у нас имеются веские доказательства того, что вы знаете всех, кого я только что перечислил. И не только знаете, но и принимали самое непосредственное участие в их судьбах. А ведь многие из них умерли... И не исключено,

что вы активно содействовали тому, чтобы этих людей настигла смерть. Я имею в виду Гатца, Бурштейна и монсеньора Франкино. Святой отец, скажите, разве в ту ночь, когда погиб Франкино, вас не было рядом с ним? — прищурился Уосо.

Макгвайр вскочил с кресла, гневно сверкая глазами.

— Я уже сказал вам, что не знал этого человека! — выкрикнул он.

— Да-да, я помню, — невозмутимо ответил Уосо и пристально поглядел на священника. — Но неужели у вас не было ссоры с монсеньором Франкино в ту ночь, когда он выпал из окна? Ведь Франкино собирался доложить о вашей не совсем христианской деятельности в Управление епархии. И тогда вы ударили его наконечником пожарного шланга по голове и оглушили. Ну а дальше все ясно: вам пришлось выкинуть тело, имитировав самоубийство.

Макгвайр чуть не задохнулся от негодования и снова стал утверждать, что никогда не слышал фамилий, которые только что перечислил ему сержант, и уж, конечно, никоим образом не мог находиться рядом с неизвестным ему Франкино в роковую ночь его гибели.

Уосо молча слушал, печально кивая головой, а потом вынул из кармана наручники и, передав их Якобелли, обратился к помощнику:

— Зачитайте ему права.

— Тут какая-то ошибка! — начиная впадать в панику, закричал Макгвайр.

— Простите, святой отец, — произнес Уосо. — Но вы арестованы.

— По какому же обвинению?

— По обвинению в убийстве монсеньора Франкино, — отчеканил Уосо.

— Но почему? Я же никогда в жизни...

— Приберегите дыхание для присяжных, — оборвал его сержант. — Вам придется еще многое объяснять. Дело в том, святой отец, что у нас есть свидетель... К сожалению, этот человек долго скрывал от нас истину из-за опасения, что вы начнете его преследовать. Но он видел вас, когда вы той ночью спорили с Франкино в коридоре десятого этажа. Он видел, как вы ударили монсеньора и выкинули его из окна. А чтобы всем стало ясно, что этот человек говорит правду, ему удалось сфотографировать вас в ту ночь. — С этими словами Уосо снова полез в карман и вынул оттуда еще одну фотографию — качественный цветной снимок, на котором был запечатлен Франкино, распростертый на полу в луже крови, и отец Макгвайр, стоящий над ним с металлическим наконечником пожарного шланга в руке.

Макгвайр сердито швырнул фотографию на стол.

— Это гнусная подделка! — решительно заявил он.

Полицейские рассмеялись, и Якобелли зачитал священнику права арестованного с маленькой пластиковой карточки, затем торжественно надел на него наручники.

— Скажите мне хотя бы, кто он — этот таинственный свиде-

тель?! — потребовал Макгвайр, поняв, что сопротивление бесполезно.

— Это женщина, — ответил Уосо, подходя к двери кабинета и распахивая ее, — а зовут ее Фэй Бэрдет.

Уже несколько часов Макгвайра мучила страшная головная боль. Он находился в тесной камере в одном из центральных полицейских участков, на втором этаже с длинным коридором, вдоль которого по обе стороны располагались еще десятки таких же камер для арестованных.

У него не осталось никакого выбора. Только ждать, что произойдет дальше. Перед тем, как его заперли здесь, Макгвайру удалось дозвониться в Управление епархии и наскоро переговорить с отцом Теппером, объяснив ему ситуацию. Теппер посоветовал ему сохранять спокойствие и обещал, что постарается выручить его или по крайней мере забрать под залог... Но до сих пор никто не приехал, чтобы освободить Макгвайра, а времени было уже семь вечера. Однако священник не терял присутствия духа. Кто-то обязательно должен был объявиться, ведь сегодня в полночь произойдет смена Стража.

Внезапно Макгвайру захотелось горько расплакаться, чтобы снять нечеловеческое напряжение. В камере вместе с ним находился еще один человек — дряхлый, высохший старичок, потерявший всякую надежду на освобождение. Он неподвижно лежал на тюремной койке. Поделиться своим несчастьем Макгвайру было абсолютно не с кем. Только сам священник мог осознать, как ловко действовал Чейзен, приняв снова вид Фэй и предоставив полиции фотографию его и Франкино в момент урагана в холле десятого этажа. Таким образом, он отключил священника от участия в дальнейших событиях.

В восемь вечера Макгвайр снова связался с Управлением епархии и попросил к телефону отца Теппера, но ему ответили, что тот куда-то уехал. Затем священник попытался переговорить еще с кем-нибудь из руководства, но в здании Управления к этому часу никого уже не было. Тогда он дозвонился до резиденции самого архиепископа, но и там ответили, что его нет сейчас в городе.

Макгвайр вернулся в свою камеру и в отчаянии рухнул на койку. Головная боль не утихала. Он лежал на спине с открытыми глазами, чувствуя, что воля его начинает слабеть. Сосед-старик по-прежнему мирно спал. До Макгвайра доносились голоса заключенных из других камер, кто-то навистывал рядом простенькую мелодию. Через каждые десять — пятнадцать минут в коридоре появлялся тучный охранник, проверяющий, все ли у арестантов в порядке. После шестого обхода охранник с сожалением посмотрел на часы. Было еще всего девять вечера... Небо за окнами потемнело, но из Управления так никто и не приезжал. Теряя терпение, Макгвайр вскочил с койки и нервно зашагал по камере, чувствуя, как тревожно бьется в груди сердце. Вдруг дверь камеры распахнулась и на пороге появился все тот же тучный охранник.

— Ваш адвокат прибыл, — сообщил он, ткнув в Макгвайра указательным пальцем.

— Мой адвокат? — изумился тот.

Охранник вышел в коридор. Макгвайр присел на койку, посмотрев сначала на спящего старика, а потом на часы. Но через несколько секунд он опять вскочил, не в силах сдержать своего нетерпения и прислушиваясь к гулким шагам в коридоре за дверью.

Наконец дверь открылась и в камеру вошел Ральф Дженкинс.

— Пожалуйста, присядьте, — попросил он священника, неприступно снимая шляпу.

Макгвайр был поражен, увидев его.

— Меня попросили помочь вам, — начал Дженкинс. — Думаю, вам известно, кто я такой?

— Конечно, — ответил Макгвайр. — Вы Ральф Дженкинс.

Тот кивнул и загадочно улыбнулся.

— Ну хорошо, сейчас сойдет и Ральф Дженкинс. Я помогу вам выбраться отсюда до полуночи.

— Каким же образом? — не переставал удивляться Макгвайр. Дженкинс нахмурился.

— Видите ли, наше предложение отпустить вас под залог в восемьсот тысяч долларов было пока отклонено до предъявления вам обвинения. А это может произойти только завтра утром.

— Но это же будет...

— Слишком поздно, вы хотели сказать? — прервал его Дженкинс. — Я знаю.

— Так что же мне делать? — разволновался священник.

— Мы уже кое-что придумали, — уклончиво ответил Дженкинс.

— Что именно? — не отступал Макгвайр.

Дженкинс осторожно выглянул через дверной глазок — в коридоре было пусто. Тогда он с опаской покосился на старика, но Макгвайр тут же успокоил его, уверив, что тот давно уже спит и ничего не слышит.

— Мы вам устроим побег, — прошептал Дженкинс.

— Но это невозможно! — опешил Макгвайр. — Вы, наверное, шутите!..

— Сохраняйте полное спокойствие и невозмутимость, — посоветовал Дженкинс. — И не задавайте лишних вопросов. — Он подозвал охранника, который выпустил его из камеры.

— Вы обо всем переговорили? — спросил охранник.

— Да, — кивнул Дженкинс и, выходя в коридор, еще раз оглянулся на Макгвайра. — Увидимся утром, святой отец.

Охранник запер за ним дверь.

— Спасибо, мистер Дженкинс, — пробормотал священник, так и не поняв, что за план созрел в голове этого типа.

Через несколько секунд он услышал, как закрыли главную дверь всего отсека из десяти камер. Макгвайр снял наручные часы и положил их на подушку так, чтобы постоянно можно было следить за временем. А потом устало прислонил голову к холодной каменной стене и приготовился ждать.

Взрыв, раздавшийся где-то снизу, оглушил священника и заставил стены камеры содрогнуться. Макгвайр упал с койки и беспомощно ухватился за ее ножку. Все здание продолжало дрожать. «Скорее всего, взорвалось что-то в подвале», — решил священник. Запах гари быстро распространился по лестницам и вскоре достиг их этажа. Из отдушины в потолке камеры полетела черная зола. Среди арестованных началась паника, слышались испуганные крики, кто-то колотил в двери стульями в надежде сломать замки и вырваться из этого ада. Старик сосед наконец проснулся и теперь истошным голосом звал на помощь охрану.

Макгвайр сорвал с подушки наволочку и, сложив ее вчетверо, прижал к лицу, чтобы в легкие не попадал дым.

— Мы здесь подохнем! — истерично кричал старик.

В здании завывла сирена.

Раздался второй взрыв, и Макгвайр рухнул на пол, увлекая за собой старика.

— Ложитесь! — приказал он. — Здесь меньше дыма.

Старичок послушно кивнул, испуганно озираясь по сторонам.

Макгвайр сильнее прижал наволочку к лицу и начал молиться. А потом посмотрел на часы, с ужасом отметив, что уже без двадцати одиннадцать. Он догадывался, что все служащие давно уже покинули здание, оставив арестованных на произвол судьбы.

Неожиданно в коридоре раздались громкие шаги. Закашлявшись, священник подбежал к двери и выглянул в глазок. Два охранника в противогазах бежали по коридору, на ходу открывая камеры и освобождая заключенных. Арестанты тут же выскакивали из своих клетушек и со всех ног бежали к выходу, чтобы не задохнуться от дыма.

Тучный охранник отпер камеру, в которой томился Макгвайр, и выкрикнул:

— Уходите!

— Пошли! — велел священник старику, подхватывая его под руку и помогая встать на ноги.

Спотыкаясь, они вышли из камеры. В коридоре дыма было гораздо меньше, но все равно чувствовалось, что опасность близка. Охранник успел сообщить им, что в подвале взорвались котлы и на первом этаже уже свирепствует огонь, который через вентиляцию проникает и во все остальные помещения. Пожар распространяется с ужасающей быстротой.

— Как же нам теперь быть? — спросил перепуганный старик.

— Бегом вниз по лестнице! — заорал охранник.

Старик посмотрел вперед и увидел, что лестница тоже охвачена пламенем.

— Но там огонь! — в отчаянии закричал он.

Охранник что есть силы толкнул его вперед:

— Больше выхода нет! Бегите!

— Нет! — завопил старик.

— И молитесь... — добавил охранник.

Старик ухватил полицейского за ногу, но тот с силой пнул его,

и бедняга покотился вниз по ступенькам. Макгвайр кинулся ему на помощь, но охранник преградил священнику дорогу.

— Но он же погибнет! — закричал Макгвайр.

— Что поделает! — С этими словами охранник вынул пистолет и приставил его к виску священника. — Если ты сделаешь хоть один шаг вниз, я тебе мозги вышибу, — пригрозил он.

Макгвайр еще раз глянул на лестницу. Огонь уже лизал стены. Краска на потолке вздулась пузырями.

— Надо убираться отсюда! — кричал полицейский сквозь треск и рев пламени. — Только другим путем.

— Но как? — в отчаянии спросил Макгвайр, вцепившись в руку охранника и с ужасом оглядываясь на лестницу, где в огне исчез несчастный старик.

— Заткнись! — рявкнул полицейский, ухватил Макгвайра за воротник и поволок назад в камеру.

— Вы что, с ума сошли? Мы же здесь оба погибнем! — не унимался Макгвайр.

Достигнув камеры, охранник вынул из-за пояса второй противогаз и напялил священнику на голову, а потом потащил его к черному ходу, который раньше всегда был заперт. Достав ключ, он открыл скрипучую дверь.

За дверью оказалась еще одна лестница. Дыма и огня здесь не было. Охранник подтолкнул Макгвайра вниз, и тот не заставил себя долго упрашивать. Однако, одолев мигом целый пролет, он все же остановился и оглянулся. Но полицейского уже след простыл, а дверь, через которую они проникли сюда, была снова закрыта и, очевидно, заперта на замок. Макгвайр заспешил вниз. На первом этаже дверь тоже оказалась закрытой, и ему пришлось какое-то время повозиться с раскаленным засовом, прежде чем он смог отодвинуть его. Толкнув дверь, Макгвайр очутился на свободе и увидел перед собой темный переулок, расположенный позади полицейского участка. Он огляделся. Все здание было объято пламенем. Куски дерева и бетона сыпались сверху на тротуар.

Переулок вел к воротам какого-то предприятия, а другой его конец терялся в темноте проходных дворов.

Макгвайр кинулся в противоположную от участка сторону, все еще кашля и задыхаясь от дыма. Позади завывли сирены подъехавших пожарных машин. А впереди ждала темнота.

Пробежав несколько сот футов, он хотел было остановиться и перевести дух, но тут из подворотни кто-то выскочил на дорогу, и его уволокли в сторону. Перед священником предстали трое. Одним из них оказался Ральф Дженкинс. Во втором Макгвайр узнал отца Тешпера. А третьего он никогда не видел, но этот неизвестный тут же достал из-под полы пальто кислородный баллон и дал ему подышать. Через несколько секунд он убрал кислород. К этому времени Макгвайр почти уже полностью пришел в себя.

— Так это вы взорвали полицию? — с негодованием закричал он.

Дженкинс кивнул.

— Но ведь там погибла уйма народу!

— Мы молились, чтобы этого не случилось.

Макгвайр снова закашлялся, и теперь уже Дженкинс поднес ему ко рту баллон с кислородом. Потом он взял священника под руку и подвел к лестнице, выходящей на соседнюю улицу.

— Прошу вас следовать за мной, святой отец,— сказал он и увлек его за собой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

— Но кто вы такой? — недоуменно спросил Макгвайр.

— Ваш друг,— коротко ответил Дженкинс.

Отец Теппер сидел в машине рядом с водителем и внимательно следил за дорогой. Добираться приходилось окольным путем. Теппер нервно посмотрел на часы.

— Одиннадцать двадцать,— взволнованно сообщил он.

— Мы высадим вас на перекрестке восемьдесят пятой улицы и Амстердам-авеню,— заговорил Дженкинс, взглядываясь в измученное лицо Макгвайра.

Через несколько секунд автомобиль уже мчался по прямой к указанному месту.

— Вы так и не ответили на мой вопрос,— напомнил Макгвайр.

— Сейчас не время для вопросов и ответов,— отозвался Дженкинс.— Вы знаете, что вам предстоит сделать... В тот момент, когда сестра Тереза соединится с Господом, ее место должен занять отец Беллофонтэн. И это в любом случае должно свершиться, что бы вам ни открылось в последний момент.

Макгвайр кивнул, уставившись в окошко автомобиля. Разумеется, его уже не особенно волновало, кто на самом деле этот Дженкинс. Сейчас в его жизни судьбы других людей занимали куда более важное место. Сестра Тереза... Отец Беллофонтэн... Бен Бэрдет. И, наконец, Чарльз Чейзен! И Макгвайр должен был участвовать в перевоплощении простого смертного человека в ангела Божьего на земле.

— Приехали,— неожиданно сказал Дженкинс и, наклонившись вперед, слегка постучал водителя по плечу.

Машина остановилась у водоразборной колонки.

Дженкинс открыл дверцу и вышел из автомобиля. Макгвайр последовал за ним.

— Да пребудет с вами благодать Господа,— напутствовал его Дженкинс и крепко обнял на прощание.

— И да буду я достоин его любви,— смиренно ответил Макгвайр.

Священник ступил на тротуар, а Дженкинс сел обратно в машину. Водитель развернулся, и скоро автомобиль скрылся в темноте ночи.

Макгвайр подошел к углу Амстердам-авеню, позади оставались квартал за кварталом, и довольно скоро ему начало казаться, что он потерял ощущение времени и пространства. Неожиданно для самого себя он очутился на стройплощадке собора святого Симона. Священник механически поднял вверх голову и увидел в окне десятого этажа четкий силуэт сестры Терезы. Она ждала.

Перейдя улицу, Макгвайр обошел дом и приблизился к двери черного хода, которую после смерти Франкино по настоянию управляющего держали запертой. Он достал из кармана ключ, открыл замок и исчез в темноте подвального коридора.

В полном одиночестве священник доехал на лифте до десятого этажа. Внимательно оглядевшись, он сразу почувствовал разлитую в воздухе смертельную угрозу. Чейзен был где-то рядом...

Открыв квартиру Бэрдетов ключом, который недавно выделил ему для этой цели покойный Бирок, Макгвайр вошел внутрь. Немного выждав, он зажег верхний свет.

— Бен! — позвал священник, вытирая вспотевшие ладони о пальто.

Но никакого ответа не последовало, только громко тикали каминные часы.

Он снова позвал Бэрдета, а потом тщательно осмотрел квартиру, надеясь где-нибудь найти его.

Но Бена в квартире не было.

Что же произошло?.. Ведь Бен обязательно должен находиться в своей квартире!

Отец Макгвайр с тревогой взглянул на часы — до полночи оставалось всего двадцать минут.

Вероятно, произошло что-то непредвиденное...

После минутного колебания бармен налил еще кружку пива.

— Мне кажется, на сегодня вам уже хватит, — недовольно пробормотал он. Но Бен лишь тряхнул головой и попытался пошире раскрыть глаза. Веки его слипались.

— Со мной все в порядке, — произнес он и тут же громко икнул, разглядывая свое отражение в зеркале, висящем за стойкой бара.

— Это точно? — засомневался бармен. — Конечно, если вы чувствуете себя хорошо, то и слава Богу. Я ничего не имею против, лишь бы мои посетители не падали пьяными прямо здесь.

Бен рассмеялся, поднял кружку и шумно отхлебнул пару глотков.

— Да я еще не успел и разогреться как следует, — с улыбкой сообщил он и опять икнул. — А вы меня помните?

Бармен задумался и пожал плечами.

— Ну как же! — обиделся Бен. — Должны вспомнить!

— Простите, но я вас не помню, — честно признался бармен.

— Но я же приходил сюда днем. Пару недель назад, — заплетаясь языком пытался доказать что-то Бен. — С детективом. Его фамилия Гатц.

— К сожалению, я работаю здесь только по ночам, — объяснил бармен.

— А ваше лицо мне почему-то очень знакомо, — не отставал Бэрдет. — Вы меня не обманываете? Вас тогда точно здесь не было?

Бармен вздохнул, глядя одним глазом на экран телевизора, и принялся мыть кружки.

— А тот полицейский, с которым я приходил, уже умер, —

сообщил Бен, засовывая в рот сигару. — Потому что его убили.

— Неужели? — усмехнулся бармен.

— Да... Именно убили, — подтвердил Бен. — И, кроме него, еще многих людей.

— Послушайте, — начиная раздражаться, обратился к нему бармен. — Может быть, вам уже пора домой?

Бен упрямо замотал головой.

— Выслушайте меня! Ведь теперь вся моя жизнь — коту под хвост...

Бармен подошел к нему и участливо наклонился вперед.

— Если вам хочется поговорить, то валийте. Я готов выслушать вас. Все, что вы хотите сказать. Не стесняйтесь.

— Пагиб не только Гатц, но и священник. Его звали монсеньор Франкино. А потом еще один полицейский — инспектор Бурштейн. И моя жена.

Бармен недовольно поморщился, а потом, поправив очки, налил себе полную кружку пива.

— И вы можете все это доказать? — спросил он.

Бен кивнул и погладил рукой толстую кожаную папку, а потом растегнул «молнию» и вынул оттуда здоровенное распятие. Он всегда носил его с собой, куда бы ни шел. Так велел Дженкинс.

— И что же, полиции ничего не известно? — удивился бармен.

— Кое-что они, конечно, уже знают. И даже очень многое. Наверное — все, кроме того, что случилось с моей женой... Правда, они даже не подозревают, кто совершил все эти убийства.

Бармен близоруко прищурился. Его начинало разбирать любопытство. Конечно, он в каждую смену слышал десятки самых невероятных историй, но умел отличать пьяную болтовню от правды. Рассказ Бена заинтриговал его.

— Неужели? — искренне удивился он.

Бен кивнул.

— Но я не могу вам этого рассказать.

— Вам что-то мешает?

— Я дал клятву, что буду молчать. — Бен прижал к губам указательный палец.

— Кому же вы клялись?

— Ральфу Дженкинсу.

Бармен достал зубочистку и принялся ковырять ею в золотых коронках.

— А что это за тип? — продолжал расспрашивать он.

— Мой сосед.

— И он имеет какое-то отношение к убийствам?

— И этого я, к сожалению, не могу вам сказать, — сокрушался Бен.

— Послушайте, мистер! — с негодованием заговорил бармен. — Если, как вы утверждаете, в городе произошло убийство, и даже не одно, и вы знаете, кто все это натворил, то вам, безусловно, следует не шататься по кабакам, а быстрее бежать в полицию и рассказать все как есть.

— Этим делу не поможешь,— махнул рукой Бен и опять икнул.

— Почему же?

— Потому что они ничего не смогут сделать. Все так запутано... и замешана не только Церковь, но и сам Господь Бог, а также Сатана. Понимаете?

— А-а,— разочарованно протянул бармен.— Теперь мне все ясно.— И он недовольно поморщился.— А вы, мистер, в своем уме? Мне страшно надоело узнавать от своих подвыпивших клиентов, что скоро наступит конец света или явится новый мессия. Да и времени нет, чтобы выслушивать подобную ерунду. Так что, если вы позволите...

Но Бен схватил его за руку.

— Вы мне не верите?! Но ведь это не ерунда! Я говорю вам вполне серьезно. Тут целый заговор!..

Бармен терпеливо отодрал пальцы Бена от своего запястья:

— Если вы еще раз дадите волю своим клешням, я вам все ребра пересчитаю. Понятно?

Бен испуганно отшатнулся и, вытирая рукавом слюни с подбородка, взглянул на часы, прикрыв один глаз, чтобы циферблат не двоился. Без четверти двенадцать. Пора уходить отсюда. Ведь он обещал Дженкинсу, что в полночь явится к себе домой и будет ждать там отца Макгвайра. Правда, идти до дома совсем недолго — минут пять. И все же...

— Мне, наверное, уже пора,— объявил он и поднялся с высокого табурета.

— Вот это вы правильно решили, мистер,— примирительно произнес бармен.— Идите-ка лучше проспите. А утром, когда протрезвеете, все трупы исчезнут и вы почувствуете себя на миллион долларов.

Бен, пошатываясь, схватил папку под мышку, выронил изо рта недокуренную сигару и направился к двери. Выбравшись из бара, он огляделся по сторонам, пытаясь определить, куда идти. Его дом находился всего в четырех кварталах отсюда. Подойдя к повороту, Бен прищурился от света фар летящих по ночной улице автомобилей. Чувства его были притушены из-за обильных возлияний в баре, как, впрочем, и память. В голове мелькал образ Фэй, то и дело превращающейся в Джека Купера. И что будет с маленьким Джои, особенно если учесть, что у самого Бена не слишком много шансов пережить сегодняшнюю ночь? Что если и он присоединится к армии мертвых, в которую уже вступили Гатц, Бурштейн, Фэй и все остальные?.. Как ни странно, такая перспектива вовсе не пугала его. Наверное, умереть сейчас было бы наилучшим выходом. Раз — и все... Гораздо труднее остаться в живых и выносить все ужасы существования.

Мимо с оглушительным ревом пронеслась одинокая машина, ослепив его светом фар. Неожиданно она остановилась и, развернувшись, помчалась прямо на Бена. Он инстинктивно прикрыл ладонью глаза, а затем постарался разглядеть лицо шофера. И тут же к своему ужасу понял, что за рулем никого нет. Но это невероятно! Бен испуганно оглянулся на стену дома за своей спиной, а потом снова посмотрел на стремительно приближаю-

щийся автомобиль. Не раздумывая, Бен бросился наутек, чтобы успеть скрыться за углом здания. С большим трудом ему это удалось. Машина же с легкостью влетела на тротуар и врезалась в стену дома как раз на том месте, где всего несколько секунд назад стоял Бен. Выглянув из-за угла, он снова стал всматриваться внутрь салона и вдруг увидел за рулем улыбающегося Чарльза Чейзена. Машина, дав задний ход, опять рванулась к Бену, и он едва успел увернуться. Но автомобиль сильно задел его за плечо. Бен закричал, схватившись здоровой рукой за рану. Рубашка и куртка тут же окрасились кровью, а сквозь дыры в одежде показалась оголенная ключица. Все завертелось перед глазами, и Бен едва не потерял сознание.

Снова взревел мотор. Но на этот раз Бен ловко укрылся за грузовиком, и машина Чейзена врезалась в витрину китайской прачечной, разнеся ее вдребезги.

Бен торопливо перебежал через дорогу и нырнул в метро. Он перескакивал через ступеньки, едва удерживаясь на ногах, а здоровой рукой судорожно хватался за поручни. Через несколько секунд он уже стоял на перроне. На станции было безлюдно. Прислушиваясь, нет ли за ним погони, Бен побегал в дальний угол станции, где можно было на время спрятаться в темноте и дожидаться поезда. Вдалеке слышались шаги, гулким эхом отдающиеся под сводами станции. Кто-то, громко пыхтя и шаркая ногами, двигался вслед за ним. Но как ни старался Бен, из-за страшной слабости он не мог идти быстрее, поэтому, собравшись с духом, остановился и оглянулся, но никого вокруг не увидел. Однако звук шагов слышался уже совсем близко. Вдруг за его спиной раздался чей-то самоуверенный хохот, и на стене замелькали тени. Бен сжался, невольно вскрикнув от боли. Наконец из туннеля показались огни приближающейся электрички.

Поезд затормозил, двери открылись, и Бен вошел в последний вагон. В вагоне не было ни души. Он успел заметить, что в соседнем вагоне едет служащий метро. Но вот поезд дернулся и устремился вперед, в темноту туннеля. Бен заметил Чейзена, стоявшего на платформе и растерянно смотревшего ему вслед. Немного успокоившись, он в изнеможении упал на скамейку, крепко сжимая под мышкой драгоценную папку с распятием. У него сильно кружилась голова и перед глазами все плыло, как в тумане. Бен со смутной тревогой прислушивался к частому стуку колес. Постепенно до его сознания дошло, что поезд едет слишком уж быстро — вагон нещадно бросало из стороны в сторону. Он поднял взгляд на служащего метро в соседнем вагоне, но того уже и след простыл. Тогда Бен подошел к двери и прижался лицом к стеклу, твердо решив сойти на следующей станции. Но поезд даже не снизил скорости, проезжая мимо промелькнувшей станции. «Что-то стряслось с электричкой!» — подумал Бен и направился в конец вагона, чтобы перейти в следующий. Он без колебаний открыл дверь тамбура и, выйдя на стыковочную площадку, закрыл ее за собой. Но дверь соседнего вагона почему-то оказалась запертой. Бену не оставалось ничего другого, как вернуться назад в свой вагон. Но тут он с ужасом понял, что и дверь вагона, который он покинул всего несколько секунд

назад, тоже не открывается. Поезд тем временем продолжал набирать скорость. Неожиданно в соседнем вагоне вновь появился таинственно исчезнувший служащий, но теперь он стоял спиной к Бену. Бен стал стучать по стеклу рукой, призывая его на помощь, но тот будто и не слышал его. Поезд мчался со страшной скоростью, раскачиваясь и вибрируя на поворотах. Бен изо всех сил старался удержаться за поручень, но тут поезд сильно дернуло, и он упал лицом вниз на грохочущий стальной пяточок между вагонами. Папка выпала из-под мышки и мгновенно исчезла на дне туннеля.

Бен беспомощно посмотрел ей вслед и, поднявшись, снова принялся колотить по стеклу. Наконец служащий шевельнулся, автоматически взял под козырек, а затем с улыбкой повернулся к Бену.

И этим служащим оказался Чарльз Чейзен!

Впереди замелькали огни станции. Бен покрепче ухватился за поручень и стал всматриваться вперед, готовясь к прыжку. Когда последний вагон поравнялся с платформой, он собрался с силами и выпрыгнул из проклятого тамбура, больно ударившись о холодный бетонный пол. Руки словно огнем обожгло. Бен ухитрился сломать при падении два пальца и ободрать в кровь ладони, колени и даже голову. Насилу поборов звон в ушах, он попытался подняться, а поезд тем временем начал резко тормозить у платформы, но потом, будто передумав, снова рванулся вперед.

— Господи! — в отчаянии закричал Бен, осознав наконец весь ужас своей потери. Ведь в папке был спасительный крест!.. К этому времени поезд зачем-то дал задний ход и снова выкатился на станцию. Но двери его по-прежнему оставались закрытыми. Осторожно ступая по плывущей перед глазами платформе, Бен начал лихорадочно оглядывать вагоны, ища в них ненавистного Чейзена. Но того нигде не было видно. В этот момент двери поезда внезапно открылись. Бен замер в тревожном ожидании.

Секунды ползли на удивление медленно.

Затем чья-то тень мелькнула в одном из окон состава. Бен невольно попятился.

— Эй, Бэрдет! — вдруг раздался сзади хриплый нахальный голос.

Бен обернулся и увидел перед вагоном хохочущего Чейзена.

— Будь ты проклят! — закричал Бен. Злость помогла ему одолеть жуткий страх.

Чейзен распрюстил руки, и на станции погас свет.

Потом он шагнул навстречу Бену, но вдруг на секунду замер, резко повернулся и снова вошел в вагон. Двери закрылись, и поезд с грохотом исчез в туннеле. Бен с удивлением смотрел вслед быстро удаляющимся красным огонькам на последнем вагоне.

«Что же помешало Чейзену?» — какое-то время размышлял он, а потом собрал остатки сил и двинулся на пересадку, стремясь быстрее попасть домой.

Ровно в полночь Макгвайр вдруг почувствовал, что все его тело сводит судорога, и закричал от боли и невыносимого животного ужаса. Это означало, что Чейзен вернулся в дом и находится сейчас где-то рядом, ведь он обязательно должен попытаться помешать превращению Бена в Стража и не допустить, чтобы отец Беллофонтэя заменил сестру Терезу.

Наконец-то наступил долгожданный момент, и отец Макгвайр вошел в квартиру старой монахини.

Раньше ему не приходилось бывать здесь, и он никогда еще не видел Стража так близко. И хотя его предупреждали о том, что предстанет в этой комнате его взору, он все же невольно содрогнулся при виде заживо гниющей женщины. В квартире было пусто, свет не горел. Сестра Тереза неподвижно сидела у окна. Тело ее было напряжено, а лицо, как всегда, ужасно. Годы бессменной службы Господу оставили суровый отпечаток на всем облике монахини. Тело ее было затянато паутиной, у ног суетились мыши, и вся кожа была усыяна язвами и гнойниками.

— Отец Макгвайр! — вдруг позвал его кто-то.

В дверях стоял Чейзен, одетый в рваный серый костюм. Все пуговицы на пиджаке отсутствовали, и на их местах болтались длинные оборванные нитки. Из петлицы на лацкане торчал засохший цветок, а на плече сидел взъерошенный волнистый попугайчик.

— Это Мортимер, — объяснил Чейзен, а потом показал священнику облезлую кошку с окровавленной мордой, безмятежно спящую у него на руках. — А это Джезебель, — представил он свою свиту. — Они старые друзья сестры Терезы, и я подумал, что стоит принести их сюда, чтоб и они попрощались со старушкой, ведь она собралась покинуть нас этой ночью... Я правильно понял, святой отец?

Макгвайр не шевелился, пытаясь совладать с собой при виде столь нелепого и жуткого зрелища.

— Ну что же вы молчите, святой отец? Надеюсь, вы не боитесь меня? — усмехнулся Чейзен.

— Я проклинаю тебя! — выкрикнул Макгвайр.

— Неужели это правда, святой отец? — рассмеялся Чейзен. — А где же ваш верный друг Бен Бэрдет? Снова подвел?..

Макгвайр молчал.

— А вы знаете, он ведь не придет сюда... Потому что он умер!

Макгвайр покачнулся, чуть не потеряв равновесие.

— Я не верю тебе! Ты не в силах убить избранника Божьего!

— Пожалуй, вы правы, святой отец. Но он спокойно может уничтожить себя сам. Что с ним недавно и произошло.

— Тогда она бы знала об этом! — Макгвайр подошел к сестре Терезе и, упав перед ней на колени, начал молиться. Услышав имя Христа, Чейзен закашлялся, а потом приблизился к священнику и вознес над ним руки. Стены комнаты задрожали. Макгвайр поднял глаза и тут же окаменел, увидев, как в воздухе перед его взором начинают возникать различные образы. Он ясно видел стоящую в незнакомой комнате кровать. На ней лежала больная женщина лет сорока. Щеки ее запали, кожа была бледно-желтой и сухой, как пергамент, а к рукам тянулись

трубки от капельницы. Женщина тяжело дышала, вены у нее вздулись, ноги отекали.

Макгвайр закрыл глаза, но видение не пропадало.

— У меня есть что показать отцу Беллофонтэну! — с гордостью заявил Чейзен. — И у него еще будет время одуматься.

Картина сменилась, и теперь Макгвайр увидел мальчика в черных шортах и белой рубашке с короткими рукавами. Он стоял возле кровати и, держа женщину за руку, о чем-то тихо беседовал с ней. Потом женщина пронзительно закричала от острой боли, и мальчик тут же расплакался.

— Помоги мне умереть, — снова и снова повторяла женщина. Мальчик испуганно прижался к ней и молча смотрел на измученное тело матери.

— Ты ведь любишь меня? — продолжала она.

Мальчик кивнул, не сводя с нее глаз.

— Прощу тебя: разъедини эти трубки и помоги мне умереть. Избавь меня от мучений!

Мальчик, всхлипывая, протянул руку к капельнице и выдернул трубку из лекарственного раствора. Женщина закрыла глаза и улыбнулась — в вены ее пошел воздух. А мальчик опрометью бросился вон из комнаты.

Кровать с женщиной по-прежнему оставалась перед глазами священника.

— Я являюсь пред ясны очи отца Беллофонтэна, — продолжал Чейзен, — и покажу ему все его грехи. И тогда он поймет, что с ним происходит. Я ему все расскажу!..

Вдруг комната с мертвой женщиной исчезла, и на ее месте возникло другое помещение. На этот раз им оказался гараж. Чейзен отступил в сторону, чтобы не мешать Макгвайру увидеть следующий эпизод. В гараж вошел тот же мальчик, правда, теперь он был немного постарше.

— И тогда отец Беллофонтэн поймет, что на самом деле он всего лишь один из нас! — угрожающе закричал Чейзен.

Широко раскрытыми глазами Макгвайр наблюдал, как мальчик осторожно закрыл за собой ворота гаража, потом забрался в старенький помятый «седан», включил мотор и что есть силы нажал на газ. Через несколько секунд он закашлялся и стал задыхаться, а потом потерял сознание, закрыв глаза и привалившись к рулю.

В таком виде он и застыл перед испуганным взглядом отца Макгвайра.

— Смотри же! — прикрикнул на него Чейзен.

Священник собрал всю волю в кулак, чтобы не дать себе возможности впасть в отчаяние. Его била крупная дрожь, пот ручьями лился по телу.

— Отец Беллофонтэн просто обязан знать об этом! — не утихал Чейзен. — Но я покажу ему не только его прошлое, но и будущее. Пусть узнает, что ждет его впереди!

Мальчик внезапно исчез. Ветер бушевал в комнате, налетая порывами на Макгвайра и хрупкую фигуру сестры Терезы. До ушей священника донесся звук рвущейся сюда толпы, и Чейзен довольно рассмеялся. Тени в комнате сгустились, стало значи-

тельно холоднее, а потом перед Макгвайром вспыхнул яркий свет, и он отчетливо разглядел силуэт мужчины, сидящего на стуле с распятием в опухших руках. Это был отец Беллофон-тэн — следующий Страж.

И тогда отец Макгвайр, не выдержав, издал отчаянный вопль, который, как нож, разрезал густой ледяной воздух в комнате.

Ральф Дженкинс опустил боковое стекло и прислушался, вглядываясь в темноту переулка. Вскоре до него донеслись чьи-то торопливые шаги.

— Она идет, — сообщил отец Тешпер.

Дженкинс кивнул и, немного успокоившись, устало откинулся на спинку заднего сиденья автомобиля, который с потушенными фарами был припаркован у глухой стены здания в самом дальнем конце переулка. По земле стелился туман. Тусклые уличные фонари футах в пятидесяти впереди не рассеивали царящей здесь темноты.

— Уже полночь? — нетерпеливо спросил Дженкинс.

— Да, — так же взволнованно ответил Тешпер. — Мы опаздываем.

— Да простит нас Господь...

В переулке показалась женская фигура. Сделав еще несколько шагов, женщина остановилась, вглядываясь в туманную мглу, а потом решительно направилась к автомобилю. Звук шагов эхом отдавался в ночной тишине.

— Включите фары, — распорядился Дженкинс.

Водитель послушно щелкнул выключателями, и яркий свет залил весь переулок.

Женщина — а ею оказалась монахиня — остановилась перед самой машиной и прищурилась в лучах фар. На лице ее блестели мелкие капли пота — видимо, она сильно торопилась сюда. Грудь женщины быстро вздымалась. Это была миловидная негритянка лет тридцати с открытым, добрым лицом, которое не портил даже широкий шрам на щеке, идущий от подбородка до самого виска. Правда, сейчас на ее лице отсутствовал яркий грим, который так запомнился отцу Макгвайру.

Не говоря ни слова, она открыла дверцу и скользнула на заднее сиденье автомобиля.

— Сестра Флоренс? — улыбнулся ей Ральф и взял женщину за руку.

Монахиня наклонилась и поцеловала перстень на руке Дженкинса.

— Кардинал Реджани!.. — почтительно шепнула она.

— Ну как вы, мистер Бэрдет? — тревожился управляющий домом Васкес, подставляя стакан с водой прямо к губам Бена.

Тот кивнул, с жадностью глотая воду, а потом откинулся на спинку кресла и, сжав голову руками, попытался сосредоточиться. Мистер Васкес испуганно посмотрел на него и присел перед Беном на корточки. Его примеру последовал и привратник.

— Сейчас я вызову вам врача, — заботливо произнес Васкес, прикладывая к израненному лицу Бена ватный тампон.

— Нет! — закричал Бен и оттолкнул управляющего. — Никаких врачей! Все само пройдет.

Васкес посмотрел на привратника и озабоченно покачал головой.

— Но послушайте, у вас же столько порезов! И некоторые до сих пор кровоточат... К тому же сломано два пальца, а про плечо я уж и не говорю...

— Все в порядке, — заупрямился Бен и попытался подняться с кресла. — Оставьте меня в покое.

— Но как же, мистер Бэрдет...

— Сколько сейчас времени? — грубо оборвал управляющего Бен.

— Полпервого, — быстро отозвался привратник, взглянув на часы.

— Вот дьявол! — воскликнул Бен.

Васкес подхватил его под здоровую руку и помог дойти до лифта.

— Зачем же вы упрямитесь? — продолжал он. — Позвольте все-таки вызвать доктора. Ваша жена очень расстроится, если узнает, что я этого не сделал.

— Моя жена? — усмехнулся Бен. — Расстроится? Да что вы говорите! — И он залился истерическим смехом.

Васкес и привратник снова обменялись удивленными взглядами.

В ожидании лифта Бен прислонился к стене. Через несколько секунд кабина подъехала, и он вошел внутрь, оставляя за собой на полу прерывистый кровавый след. Напоследок он ласково посмотрел на управляющего и привратника, тщетно пытавшихся помочь ему.

— Все в порядке, — сказал он, а потом нажал кнопку и отошел к дальней стенке кабины, чтобы не упасть.

Лифт тронулся и с тихим урчанием покатил наверх. Наконец он остановился, и Бен, пошатываясь, вышел в коридор десятого этажа. Вокруг стояла полная тишина. Дженкинс обещал, что все соседи на эти дни будут удалены из своих квартир.

Бен подошел к квартире сестры Терезы и прислушался. Тихо. Тогда он ухватился за ручку и повернул ее. Дверь оказалась незапертой. Бен неумело перекрестился, зажмурил глаза и, глубоко вздохнув, решительно шагнул внутрь.

Кардинал Реджани вновь нажал кнопку вызова лифта, но, как и раньше, кабина не сдвинулась с места, зависнув где-то на верхних этажах.

— Это проделки Чейзена, — уверенно сказал отец Теппер.

Реджани кивнул.

— Сестра, вы останетесь здесь, — приказал он монахине.

Та послушно отошла в сторону и встала возле входа в подвал.

Реджани и Теппер двинулись к лестнице, на ходу проверяя, крепко ли держатся их кресты, привязанные к кожаным поясам. Реджани открыл дверь на лестницу. Отец Теппер шел за ним следом. Дверь за священниками захлопнулась, и они скрылись из поля зрения сестры Флоренс.

— Я чувствую, что дух Франкино не покинул нас. Он здесь, рядом,— признался отец Теппер, когда они начали долгий подъем на верхний этаж здания.

— Если Господу будет угодно, он не допустит, чтобы наша участь оказалась столь же плачевной...— шепотом ответил ему Реджани.

Они медленно продвигались вверх, тщательно осматривая ступеньку за ступенькой. В тишине слышалось их тяжелое дыхание. Священники старались держаться по возможности ближе друг к другу. Пот ручьями тек по их лицам.

— Чейзен уже ждет нас,— тихо произнес Теппер.

— Да, я чувствую,— согласился Реджани, крепче хватаясь за перила лестницы.— Мы здесь не пройдем,— вдруг напряженным шепотом сказал он.— Быстрее назад!

Они со всех ног бросились вниз по ступенькам, спотыкаясь и чуть не падая на поворотах. Крупные капли пота покрывали их лица. Когда священники добежали до площадки третьего этажа, свет на лестнице внезапно потух. Теперь они оказались в этом каменном мешке в полной тьме.

Реджани судорожно вцепился обеими руками в крест, продолжая двигаться вниз, но уже значительно медленнее.

Неожиданно до их слуха долетел дикий хохот, и в тот же миг горячий ветер ударил в лица священникам. Реджани услышал, как кто-то зовет его из темноты.

— Чейзен уже внизу! — кричал Теппер.

Они развернулись и, не разбирая дороги, как безумные кинулись опять наверх.

Трубы отопления на площадках угрожающе загудели.

— Мы должны вырваться отсюда! — закричал Реджани, и перед глазами его возник образ Франкино, выкинутого из окна.

На девятом этаже священники остановились и начали колотить в дверь, пытаясь открыть ее или выбить. Но массивная дверь не поддавалась.

Теппер в отчаянии отступил назад, едва переводя дух, а потом вдруг застыл на месте, прислушиваясь.

— Он приближается! — взволнованно зашептал священник. Голос его срывался.— Я уже чувствую его дыхание!

Реджани шагнул к своему напарнику и вдруг услышал совсем рядом его пронзительный вопль.

— Теппер! — закричал кардинал.

Но никто не ответил ему из темноты.

Вокруг продолжали угрожающе реветь трубы, готовые лопнуть в любой момент. Первая капля горячей воды упала кардиналу на лоб. И вновь раздался отчаянный крик, а потом тяжелый, глухой удар, словно где-то упал с высоты мешок с песком.

— Теппер! — снова позвал Реджани.

— Все в порядке! — откликнулся священник откуда-то снизу.— Я просто оступился.

Кардинал прижался к стене, вслушиваясь в угрожающую капель, и вдруг наверху что-то словно разорвалось, и вода хлынула на лестницу ревушим бурным потоком.

— Чейзен хочет нас утопить! — закричал кардинал отцу Тепперу. — Надо убираться отсюда!

— Я не могу идти! — раздался снизу голос помощника. — Помоему, меня угораздило сломать ногу.

Реджани вцепился в скользкие от воды перила и стал пробираться к нему на помощь.

— Я иду к вам! — громко кричал он, стараясь перекрыть рев водопада. И тут огромная волна захлестнула его, отрывая от лестницы. Он успел схватиться за поручень, а ноги беспомощно заскользили вниз по ступенькам. Реджани отплевывался, пытаясь набрать в легкие побольше воздуха, чтобы не захлебнуться. Он слышал, как где-то рядом задыхается Теппер, отчаянно шлепая по воде руками.

Вода меж тем все прибывала, с грохотом заполняя лестничные пролеты и снося все на своем пути.

Реджани с головой погрузился в горячий поток, и лавина с бешеной скоростью понесла его вниз, ко входу в подвал. Наконец ему удалось схватиться за поручень. Теперь он пытался отыскать отца Теппера, который к этому времени уже перестал кричать и затих.

Сквозь рев воды кардинал слышал раскаты дьявольского смеха Чейзена, во весь голос проклиная Господа Бога и Иисуса Христа.

Новая волна захлестнула Реджани и понесла дальше вниз. Стараясь держать голову на поверхности, он не переставал жадно хватать ртом воздух. Вот он достиг площадки первого этажа и перевернулся на спину. Следующей мощной волной Реджани был вынесен к закрытой двери подвала, ударился о нее головой и потерял сознание.

— Вы являетесь следующим Стражем, Бен Бэрдет, — торжественно провозгласил Макгвайр, указывая пальцем на Бена. — Вы будете преемником архангела Гавриила и всех, кто сменился на этом посту после него. И вы будете охранять Землю от приближения Сатаны. — С этими словами он возложил руки на плечи сестры Терезы. — Но вы должны знать, что скоро Чейзен попытается заставить вас покончить с собой. Он, как хищный зверь, будет кормиться вашими слабостями и пороками, вашим страхом и вашим прошлым, которое до времени было погребено в недостижимых глубинах вашего подсознания. И он сделает это еще до того, как осуществится передача распятия из рук в руки. — Священник опустился на колени и начал молиться. Бен молча взирал на него. — Вы — избранник Божий, — с благоговением произнес Макгвайр и протянул к Бену руки.

Кардинал Реджани болезненно поморщился и открыл глаза. Он порядком продрог, лежа на спине в огромной луже воды, собравшейся на каменном полу у входа в подвал. Водопад, очевидно, уже прекратился, и теперь с потолка падали лишь отдельные капли. Вокруг стояла мертвая тишина.

Реджани перевернулся и встал на колени, скользя на мокром полу. Потом осмотрел себя и увидел, что левая рука довольно

сильно поранена. Сколько же времени он пролежал здесь без сознания? И где сейчас отец Теппер? Что стало с ним?

Опираясь о стену, он нетвердой походкой направился к лестнице.

— Теппер! — позвал кардинал и, изогнувшись, заглянул в широкий пролет лестницы. Но ему ответило только эхо. Выбрав немного, он начал медленно подниматься, с трудом держась на ногах. На втором этаже он задержался, заметив, что вода на ступенях окрашена кровью. И тут что-то сильно стукнуло его по плечу. Реджани повернул голову и замер.

Сверху свисало мертвое тело отца Теппера. Голова его была зажата между прутьями перил, а тело безвольно болталось, словно на виселице.

— Господи помилуй! — закричал Реджани, и в голосе его смешались жалость и злость.

Послышалось звяканье какого-то металлического предмета. Реджани поднялся и подошел к трупку вплотную. Рядом с ним, зацепившись за арматуру, висело распятие, еще недавно принадлежавшее отцу Тепперу, и ритмично колотилось о чугунную стойку перил.

Сестра Тереза пошатнулась на стуле и правой рукой схватилась за грудь. Макгвайр, закончивший к этому времени читать молитвы, встал, чтобы поддержать ее. Бен испуганно отступил назад. Монахиня начала бледнеть на глазах и медленно сползать со стула.

— Она умирает! — закричал священник.

Но Бен продолжал стоять на месте как вкопанный. Неожиданно комната озарилась ярким светом, ослепившим всех, кто находился внутри. Звуки приближающейся толпы нарастали.

— Чейзен где-то здесь! — закричал Макгвайр, и тут же большой кусок известки обрушился на него с потолка. Стекла в окнах жалобно зазвенели и будто взорвались, разлетевшись на миллион острых осколков. На рамах вспыхнул огонь и стал жадно пожирать занавески.

Мистер Васкес выбежал из своей квартиры в коридор первого этажа.

— Кто звонит? — взволнованно спросил он, перехватывая у привратника трубку.

— Мистер Чупа с восьмого этажа, — сообщил тот.

— Это Васкес, — крикнул управляющий в домофон.

Чупа срывающимся голосом объяснил ему, что где-то наверху, по всей вероятности, начался пожар. Он почувствовал запах гари, а потолок в его квартире разогрелся до предела.

— Срочно уходите из дома! — закричал Васкес. — Если можете, немедленно разбудите всех соседей! Только не вздумайте пользоваться лифтом — в шахте тоже может быть огонь. Уходите по лестнице. — Он резко бросил трубку и вцепился в мундир привратника.

— Немедленно эвакуировать жильцов! — приказал управляющий.

— Есть! — по-военному ответил тот и, включив внутреннюю сирену, тут же начал обзванивать всех жильцов, начиная с самого верха.

Васкес бросился по коридору к лестнице и вдруг остановился, не веря своим глазам. Ковер у него под ногами был мокрый, и вода продолжала струиться из-под двери лестничной клетки.

Он схватился за ручку и рванул ее на себя. Но дверь не поддавалась, словно была заперта кем-то с другой стороны.

Кардинал Реджани поднял голову и увидел ночное небо через огромную дыру в крыше. Часть громадной водяной цистерны угрожающе свисала вниз, проломив пол чердака, и через край лопнувшего резервуара еще выливались остатки воды. Правда, если постараться, можно было вылезти по искореженному металлу на крышу, а уже оттуда попытаться попасть на десятый этаж. И так как другого выхода у кардинала все равно не было, он решил воспользоваться этой единственной возможностью выбраться из заточения.

Посмотрев на дверь десятого этажа, Реджани заметил, что из щели ползет густой черный дым. Теперь ему предстояло карабкаться вверх на крышу по скользкой покатоj стенке взорвавшегося резервуара. Наконец, ухватившись за край дыры в черепичной кровле, он ловко подтянулся и очутился на самом верху.

По крыше Реджани побежал к противоположному концу здания и, опустившись там на колени, заглянул вниз. Рядом располагалась довольно крепкая на вид водосточная труба, отвесно уходящая к самому тротуару. Не раздумывая, Реджани стал спускаться по ней, осторожно скользя к десятому этажу. Он одновременно боролся и с головокружением, и со страшным ветром, налетевшим на него.

Достигнув нужного окна, кардинал немного качнулся и ногой ввышиб чудом уцелевшее стекло, при этом сильно порезав себе лодыжку. Несколько осколков прочно засели у него в ногу. Реджани протянул руку и, не обращая внимания на острую боль, ухватился за нижнюю часть рамы, а потом подтянулся и, прыгнув в коридор, бросился к квартире монахини.

Отец Макгвайр стоял перед телом сестры Терезы и читал над усопшей последнюю молитву. Он поднял глаза и взглянул на Бена, крепко державшего в руках священное распятие. Но рука Господа Бога, казалось, так и не коснулась его. Он несколько не постарел и вообще ничуть не изменился. Никакого перевоплощения не произошло.

— Отец Беллофонтэн! — воскликнул Макгвайр.

Но Бен только смущенно улыбнулся в ответ.

К тому времени, как большинство жильцов успели благополучно покинуть свои квартиры, языки пламени уже рвались из всех окон четырех верхних этажей. И, хотя на нижних этажах пока все было спокойно, те, кто находился снаружи дома, видели, как быстро огонь распространяется вниз, пожирая все на своем пути.

Васкес и привратник продолжали дозваниваться до тех, кто еще не успел выйти или не отвечал по внутренней связи. Полицейские помогали последним жильцам выбраться из горящего здания.

— Звоните дальше! — кричал Васкес.

Привратник снова и снова нажимал кнопки, связывающие его пульт с квартирами десятого этажа. Но ни в одной из них жильцы почему-то не отвечали.

— Если они там, то, очевидно, уже сгорели, — наконец печально констатировал измученный привратник.

Открылся лифт, и из кабины кубарем выкатились перепуганные жильцы с какими-то свертками и узелками в руках — люди пытались спасти хотя бы самое ценное. Васкес не раздумывая рванулся к кабине и, вскочив в нее, нажал кнопку десятого этажа. Двери начали закрываться и вдруг замерли на полпути — электричество отключилось. Выскочив из лифта под звуки сирен прибывающих пожарных машин, управляющий бросился к аварийному шкафу, достал оттуда топор и побежал к двери лестницы. Он размахнулся, чтобы высадить топором заевший замок, вдруг сверху раздался оглушительный грохот — видимо, начали рушиться перекрытия. Осознав, что уже поздно пытаться кого-либо спасти, Васкес понуро вышел на улицу и встал рядом с привратником. К этому времени пожарные машины находились уже перед домом. А через несколько секунд страшный газовый взрыв потряс здание.

— Дому конец, — мрачно произнес управляющий, глядя на погибающее в огне строение.

Как только под злорадный смех Чейзена в комнате снова возник образ мальчика и его умирающей матери, кардинал Реджани указал на отца Макгвайра и, перекрывая треск пламени, крикнул:

— Возьмите распятие, отец Беллофонтэн!

Макгвайр удивленно взглянул на Бена, стоящего рядом с ним в густом черном дыму, а потом снова на кардинала.

— Я ничего не понимаю! — закричал он вдруг. — Что здесь происходит?!

Сестра Флоренс отошла от здания в узкий темный переулок. Все время, пока она находилась здесь, монахиня не сводила глаз с верхнего этажа. Укрывшись за забором стройплощадки собора святого Симона, она с ужасом наблюдала за пожаром, бушевавшим в доме напротив.

Реджани и Теппер не появились.

Громовой голос Чейзена теперь наполнил всю комнату.

— Я призываю тебя одуматься и вернуться к нам! — кричал он.

Задыхаясь от дыма, Бен молча стоял над безжизненным телом сестры Терезы. Кардинал Реджани застыл на месте и указывал рукой на отца Макгвайра, который скорчился на полу. Его сильно рвало, а по всей комнате продолжал греметь голос Чейзе-

на. Макгвайру открылось сейчас все его прошлое, которое до этого так долго было спрятано в недостижимых подвалах его памяти. Все годы его страшной депрессии мелькали перед ним, как в ускоренном кино.

— Так, значит, я и есть избранник? — наконец выговорил Макгвайр. — И я был им все это время?

— Да, — торжественно объявил Реджани. — Ты и есть отец Беллофонтэн. И ты — избранник Божий.

— Ты избранник Господа Бога — нашего заклятого врага и тирана, — эхом ответил ему Чейзен. — И ты должен будешь охранять от нас вход на землю. Ты — тот самый человек, который должен взять в руки скипетр Божий. Но ты и тот, кого мы должны уничтожить, иначе нам не видеть свободы... И теперь настал твой черед принимать решение и действовать. Если ты все сделаешь правильно, то станешь одним из нас, и мы вознесем с тобой к самым высотам Греха и Смерти! А твое имя будет навеки прославлено и на том, и на этом свете. Для этого ты должен сейчас собственной рукой умертвить свое тело. Ибо нет для тебя иного выхода!..

Инспектор Уосо включил бра над головой и прищурился от яркого света, недовольно ворочаясь на кровати.

— Кого еще прорвало звонить среди ночи? — Он поднял трубку, прижав ее к уху. Сколько же он проспал?.. Минут сорок, не больше. «Чтоб тебе провалиться!» — мелькнуло в голове у сержанта.

— Да! Слушаю вас. Кто это?

Звонил Якобелли с докладом о пожаре в доме номер 69 по 89-й улице.

Уосо как опаренный вскочил с кровати. Его пижамные брюки свалились на пол.

— Отчего возник пожар? — тут же закричал он в трубку.

— Пока не знаю, — отозвался Якобелли. — Соединение было очень плохое, я почти ничего не расслышал. Звоню из отдела. Жду ваших указаний.

— Оставайся на месте, я сейчас буду.

Уосо швырнул трубку на рычаг, наскоро оделся и, чертыхаясь, выбежал из квартиры.

Вспышки голубовато-белого пламени озарили коридор десятого этажа. Закрывая своим телом отца Беллофонтэна, крепко сжимающего в руках распятие, Реджани оглянулся назад, на квартиру Бэрдетов. К счастью, перевоплощение все же свершилось. Теперь оставалось лишь спастись от огня.

Бен стоял перед дверью. Став невольным свидетелем и участником немислимого кошмара, он до конца осознал всю горечь своих потерь и тихо плакал, не двигаясь с места.

— Пойдемте! — крикнул ему Реджани. — Вы же погибнете!

Бен глядел куда-то мимо него. Легионы Сатаны уже исчезли, вместе с ними растворилась и сама его сущность в образе Чарльза Чейзена. Но Бен ничего не ответил кардиналу, продолжая стоять у своей двери.

Под градом осыпающейся штукатурки и раскаленных углей от пылающих над головой балок Реджани с отцом Беллофонтэном скрылись в двери запасного выхода.

Вскоре стала рушиться крыша, погребая под собой весь верхний этаж. Слезы ручьями хлынули из глаз Бена.

— Господи! — воскликнул он, и адское пламя тут же поглотило его, навсегда унося из жизни.

Кардинал и священник бросились вниз по лестнице.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Сержант Уосо затормозил в переулке и, выскочив из полицейской машины, тут же прикрыл глаза рукой. Пламя бушевало прямо перед ним, обдавая его невыносимым жаром. Детектив огляделся, пытаясь определить, кто здесь старший среди пожарных. Подход к дому загораживали пожарные водометы. Полицейские удерживали на отдалении зевак, норовящих прорваться в самое пекло. Регулировщики заставляли водителей разворачиваться и направляли машины в объезд.

Пожар не утихал, и все попытки прекратить его пока не приносили успеха. С осторожностью выбирая дорогу, Уосо двинулся через хитросплетения брезентовых шлангов, ведущих к дому от аварийных колодцев и пожарных машин. Сержант переходил от одной машины к другой, а взгляд его метался между красными лицами пожарных и горой объятых пламенем металла и камня. Мысли его скакали так же беспорядочно. Подумать только: всего несколько часов назад был взорван и сгорел дотла полицейский участок! А ведь именно там находился арестованный отец Макгвайр, обвиненный в убийстве священника, который, в свою очередь, погиб в этом доме. Разумеется, пожар в обоих случаях мог возникнуть и по каким-то вполне объяснимым причинам, никак не связанным между собой. Но сержант чувствовал, что какая-то связь здесь, безусловно, имеется. Уж больно много вокруг совпадений... Ведь инспектор Бурштейн погиб тоже в огне!..

Казалось, огонь в последнее время стал универсальным средством уничтожения всех, кто знал что-то и мог сообщить следствию интересные факты.

Уосо отыскал бригадира пожарных, стоявшего возле самого мощного брандспойта, и представился. Они отошли к ближайшей полицейской машине и, забравшись внутрь, закрыли двери.

— Пока мы не можем взять пожар под контроль, — грустно констатировал бригадир, поглядывая на разбушевавшееся пламя через ветровое стекло автомобиля.

— А сколько времени потребуется, чтобы погасить его? — поинтересовался сержант.

— Как минимум четыре часа, — ответил пожарный. Голос его был напряжен. — Сейчас мы стараемся, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.

Глядя на ревящее пламя, Уосо думал, что отец Макгвайр остался, пожалуй, единственным человеком, который мог бы пролить свет на эту тайну. Только он, и больше никто. Но

священник после взрыва в участке куда-то исчез, и о нем не было никаких вестей.

Сержант посмотрел на часы. Скоро утро. Возможно, сегодня те, кто занимается взрывом в полиции, объяснят ему, что случилось с Макгвайром, или хотя бы скажут, где его можно найти...

Через два дня Якобелли зашел в кабинет своего шефа и сел напротив него, держа в руках папку с документами.

— Рапорт уже у тебя? — спросил Уосо, отхлебывая пиво прямо из банки.

— Да, но он вряд ли доставит вам большое удовольствие, — предупредил детектив.

Уосо мрачно кивнул.

— Сам знаю.

— Значит, так, — начал рассказывать Якобелли, заглядывая в бумаги. — Доподлинно известно, что при пожаре в участке погиб всего один человек — какой-то задержанный старик, умерший от удушья. Всех уже вернули в камеры. До сих пор неизвестно местонахождение только одного арестованного — отца Макгвайра. Так как после пожара его труп не был найден, следует предположить, что ему удалось бежать. Правда, каким образом — остается загадкой.

— Ясно, — кивнул сержант. — Дальше.

— Теперь о пожаре в доме шестьдесят девять... Погибли четыре человека, остальных удалось разыскать. Среди погибших — монахиня, сестра Тереза. Ее нашли на полу в собственной квартире. Вторая жертва — священник по фамилии Тешпер. Его тело нашли на лестнице. Мы уже связались с Управлением епархии, чтобы они помогли найти его родственников. Третьей жертвой оказался жилец десятого этажа Бенджамин Бэрдет.

Уосо тяжело вздохнул.

— Ну а четвертая, наверное, его жена? — предположил он.

— Нет. О ней пока ничего не известно. Последнее тело принадлежит мужчине. Скорее всего миссис Бэрдет не было дома, когда начался пожар. Но нам уже звонили родственники Бэрдетов, у которых он оставил ребенка, они тоже обеспокоены его отсутствием.

— Немедленно объявите розыск! — приказал сержант.

— Уже объявил.

— Ну, так кто же четвертый? — нетерпеливо спросил он.

— Пока не известно. Тело обнаружили в шахте лифта, но оно настолько обожжено и изувечено, что уже вряд ли удастся установить личность.

— Неужели нельзя применить какие-нибудь новые методы?.. Или хотя бы логически вычислить, кто это?

— Вряд ли... Хотя судмедэксперт, конечно, не теряет надежды.

Сержант перегнулся через стол к Якобелли и забрал у него папку с документами. Потом быстро просмотрел бумаги, покачал головой и отложил папку в сторону.

Старый «де-сото» 1956 года выпуска оглушительно выстрелил выхлопной трубой, когда Джон Сорренсон сворачивал с Парк-авеню на 89-ю улицу. День выдался жарким и влажным. В воздухе еще пахло дождем. Теплая куртка Джона покоилась на заднем сиденье вместе с зачехленной виолончелью и наскоро собранным чемоданчиком с вещами первой необходимости.

Уставившись на обугленный каркас, возвышающийся на том самом месте, где должен был стоять его родной дом номер 69, он невольно затормозил.

— Боже мой! — ахнул Джон и округлившимися от ужаса глазами начал разглядывать то, что осталось от его дома после пожара. Старика затрясло.

Он выскочил из машины и подбежал ближе, перепрыгнул через поставленный вокруг пожарища невысокий заборчик. В воздухе еще пахло гарью, хотя, судя по всему, со времени пожара прошло уже несколько дней. Он пробежал глазами плакат, вывешенный пожарным управлением Нью-Йорка, а потом, опустив голову, медленно побрел по тротуару прочь.

— Что здесь случилось? — неожиданно для самого себя окликнул он спешащую мимо пожилую негритянку.

— Пожар, — коротко ответила она, размахивая пляшпой коробкой. — Я слышала, будто здесь сгорело несколько человек.

— Но когда? Почему? — выкрикнул Сорренсон и тут же смутился своей навязчивости.

Женщина остановилась, окинула его подозрительным взглядом и тут же заторопилась дальше.

— Послушайте, я ведь жил в этом доме! — оправдываясь, крикнул ей вслед Сорренсон.

Но женщина не ответила, и тогда он, вконец раздавленный, вернулся к своей машине. Облокотившись о помятое ржавое крыло, он потер рукой лоб, щурясь от яркого солнечного света. А потом перешел улицу и через дыру в заборе заглянул на строительную площадку собора святого Симона. Там было совсем пустынно, котлован наполовину заполнился водой, а всю технику куда-то отогнали.

Ничего не понимая, Сорренсон сел в машину и включил мотор. К счастью, полицейское Управление находилось не слишком далеко, а там уж ему обязательно должны были рассказать, что случилось с домом во время его отсутствия. А может быть, пожарным удалось даже спасти какие-то вещи...

Он решительно повел свой старенький автомобиль к зданию районной полиции.

Солнце уже скрылось за громадами небоскребов, когда измученный и поникший Сорренсон вновь подъехал к пожарищу. Вытерев слезы, он опустил руки на колени и уставился на обгорелый скелет дома, стараясь собрать остатки сил, чтобы свыкнуться со страшной реальностью. То, что рассказали ему в полиции, могло бы сломать кого угодно...

Наступал вечер, и дневная жара сменялась сыростью и прохладой. Почувствовав, что начинает замерзать, Сорренсон взял с заднего сиденья пуховую куртку и осторожно набросил ее на

плечи. Ведь, кроме этой куртки, у него теперь ничего не осталось! К тому времени, как старик полностью погрузился в воспоминания о своей квартире и тихой, мирной жизни в ней, солнце уже зашло. Родных у Джона не было, но он надеялся, что его временно приютит кто-нибудь из коллег — хотя бы ненадолго, пока он устроит свои дела и сможет договориться о кредите. Значит, первым делом надо ехать в филармонию. С этим решением он уже завел машину, но вдруг рядом с ним остановилось такси, и оттуда вышли Макс и Грейс Вудбриджи.

— Макс! — тихо позвал Сорренсон.

В тот же миг Грейс пронзительно закричала, и муж едва успел подхватить ее, иначе Грейс просто упала бы на землю от неожиданности.

Сорренсон выбрался из машины и подошел к ошеломленным супругам. Грейс безутешно рыдала и рвалась из объятий мужа к пожарнику, яростно колотя руками по воздуху.

— Мы ничего не можем сделать, — пытался объяснить жене Макс, наблюдая, как она стала обмякать, потом вынула платок и прижала его к глазам.

— Абсолютно ничего, — согласился Сорренсон. Голос его дрожал. — Здесь был страшный пожар. И теперь ни дом, ни то, что в нем было, нам уже не вернуть...

Мужчины дружно подхватили Грейс под руки и усадили ее в машину Сорренсона.

— Как же это случилось, Джон? — спросил Макс соседа, устало облокотившись о крыло «де-сото».

— Я только что разговаривал с полицейскими, — ответил тот. — Дом сгорел ночью четыре дня назад. Предположительно огонь возник на десятом этаже...

— Боже мой! Боже мой! — стонала Грейс.

Макс осторожно взял ее за руку и стал гладить по голове, надеясь, что так она быстрее успокоится.

— Кто-нибудь пострадал? — спросил он.

— Да, — кивнул в ответ Сорренсон и вновь почувствовал, что губы его начинают дрожать. — Сгорела старая монахиня. И еще... Бен Бэрдет.

— Нет! — вскрикнул Макс и замотал головой, отказываясь верить в услышанное.

— А Фэй? — в ужасе спросила Грейс, приподняв голову.

— Она куда-то пропала, и полиция сейчас ищет ее. К счастью, маленький Джон уцелел. Бен отправил его к родственникам на несколько дней.

Макс сочувственно обнял Сорренсона за плечи.

— Все так неожиданно, Джон... Не могу поверить... Как вы думаете, мы сумеем когда-нибудь выкарабкаться?

Сорренсон неуверенно пожал плечами.

— А что нам еще остается, Макс? Теперь мы просто обязаны сделать это.

— Какое счастье, что нас не было дома! — заметил Макс, нервно сглотнув.

— В самом деле, — согласилась Грейс. — А то неизвестно еще, чем бы все это кончилось...

Внезапно Сорренсон как-то странно посмотрел на них и горько вздохнул.

— Да уж! Повезло как утопленникам... А куда, кстати, вы ездили, если не секрет?

— В каком смысле куда? Что вы имеете в виду, Джон? — не понял Макс.

— Ну, мне интересно, куда вам так срочно понадобилось отбыть, да еще на несколько дней. Зачем вы уезжали из города?

Макс тупо уставился на жену, пытаясь что-то сообразить. На лице его отразилось крайнее изумление. Он нервно потер подбородок, потом взъерошил редкие седые волосы на макушке.

— Черт возьми, а я ведь даже не припомню! — смущенно ответил он. — Дорогая, а в самом деле, куда и зачем мы, собственно, ездили? Ты не помнишь?

Грейс задумалась, а потом отрешенно посмотрела на мужчин и покачала головой.

— Ну, где-то ведь вы должны были находиться все это время. Питаться, ночевать в конце концов... Может, у друзей или родственников? — попытался подсказать Сорренсон.

— Ну, разумеется, Джон! — Макс неожиданно расплылся в улыбке. — Мы были у... — И тут он снова замолчал, улыбка медленно сползла с лица, уступив место недоумению и тревоге.

— Макс, — вдруг обратился к соседу Сорренсон, — что-то здесь не так, вам не кажется?

— Вы хотите сказать, что мы не можем вспомнить, где пропали все это время? — ужаснулся Вудбридж.

— Да, но не только это. Я ведь и сам не помню, где провел эти дни. И какой черт меня дернул уехать из дому...

— Да что вы! — изумился сосед.

Сорренсон печально покачал головой.

— Да, Макс, — признался он. — Последние четыре дня напрочь вылетели из моей памяти.

Грейс стирала платком растекшуюся по лицу тушь.

— Я что-то ничего не понимаю, — растерянно произнесла она.

— Я и сам толком не разберусь... — поддержал ее Сорренсон. — Кстати, Дэниэл Батилья и обе секретарши тоже ничего не помнят. — Он прокашлялся и застегнул куртку на все пуговицы. — Все они точно так же четыре дня где-то скитались и вернулись только сегодня. А потом, как и я, пошли в полицию и, разумеется, ничего не смогли там рассказать. Представляете?

— А как Дженкинс?

— Он тоже, к сожалению, куда-то запропастился. Но в шахте лифта было найдено тело, опознать которое еще не смогли. Не исключено, что Ральф погиб при пожаре.

— Четыре дня!.. Четыре дня вычеркнуто из жизни... Невероятно! — сокрушался Макс Вудбридж.

Сорренсон еще раз окинул печальным взглядом остатки своего жилища. По пожарнице одиноко бродила чья-то собака. Детишки играли со старой рамой, вытаскивая ее за забор. И больше на пепелище никого не было.

— Вы считаете это невозможным? — мрачно усмехнулся Сорренсон.

Желтое такси остановилось на углу улицы святого Игнатия в тихом предместье Лос-Анджелеса. Из машины вышли двое и стали молча разглядывать небольшой старинный особнячок с покосившимся крыльцом и заколоченными окнами во всех комнатах первого этажа.

Казалось, в домике никто не живет. Однако, если присмотреться внимательнее, можно было заметить человеческий силуэт за бежевой кружевной занавеской в окне третьего этажа.

Кардинал Реджани обменялся взглядами с сестрой Флоренс и облегченно вздохнул: это место ему явно пришлось по душе. Он принял правильное решение переместить Стража из Нью-Йорка сюда и теперь был очень доволен выбором нового поста для ангела Божьего.

Они подошли к парадному входу, и Реджани своим ключом открыл дверь. Войдя внутрь, они остановились в полутемном фойе и принялись разглядывать интерьер дома. Никакой мебели внутри не было, голые стены и пол покрывал толстый слой пыли. В воздухе пахло плесенью.

Когда они начали подниматься по лестнице, перила и ступеньки отчаянно заскрипели, и это было единственным звуком, нарушающим царящую в особняке тишину. Кардинал Реджани слегка поддерживал монахиню под руку. Наконец они вззошли на третий этаж и приблизились к одной из дверей, такой же мрачной, неприветливой, как и все остальные.

276 Кардинал отворил дверь, и они вошли в комнату.

Внутри находился один-единственный человек. Мужчина. Он сидел к ним спиной, обратив глаза к зашторенному окну. Реджани медленно подошел к нему, сестра Флоренс послушно следовала за кардиналом. В комнате было довольно прохладно, но все же в нос бил устоявшийся тошнотворный запах гниющей плоти.

Реджани обошел вокруг стула.

— Отец Беллофонтэн!.. — с восхищением прошептал он, переполняемый высокими чувствами, а потом оглянулся на сестру Флоренс и жестом пригласил ее подойти ближе.

Флоренс перекрестилась, увидев лицо священника.

— Да смилостивится Господь над душой его! — прошептала она.

Реджани не сводил глаз с человека, который был когда-то Джеймсом Макгвайром. Сейчас же отец Беллофонтэн ничем не отличался от своих предшественников. Он неподвижно сидел на стуле и крепко сжимал в руках золотое распятие. Лицо его избороздили морщины, кожа сохла и пожелтела, покрывшись многочисленными язвами и болячками. Зрачки затянула катаракта. Волосы на голове спутались и были слегка влажными от гнилостных выделений. А на пальцах отросли длинные кривые ногти, больше напоминающие загнутые когти медведя. Грудь его оставалась неподвижной, и казалось даже, что он перестал дышать. Странно, что этот человек вообще мог еще жить, находясь в таком жалком физическом состоянии.

И тем не менее отец Беллофонтэн жил и дышал. И занимал

священный пост, для которого был предназначен с самого начала.

Реджани медленно покачал головой. Ему вспомнились последние месяцы, полные стремительных взлетов и падений. Ведь он чуть не лишился рассудка из-за всего этого!.. Сначала смерть сестры Анжелины и Бирока — верных и надежных помощников. Потом постоянные помехи из-за расследований инспектора Буриштейна и отставного полицейского Гатца... И, конечно, самодеятельность Бена Бэрдета, узнавшего, что следующим Стражем должна стать якобы его Фэй... Но все это время Макгвайр находился в полном неведении. Он должен был узнать о своей роли лишь в самый последний момент, а тайна моментального старения Стража так и осталась для него тайной. Реджани вспомнил, в каком ужасе был несчастный Макгвайр, когда раскрыл личность Фэй; как Бен из врага неожиданно стал союзником; как он сам чудом спасся при пожаре и сумел выгнать отца Беллофонтэна. И, наконец, он вспомнил гибель Франкино, его святую мученическую жертву. Да, он был бесстрашным человеком, позволил Сатане убить себя только ради того, чтобы Макгвайр остался в живых и смог пройти свой путь до конца. Многие пришлось пережить им всем в эти месяцы...

— Итак, наша миссия завершена, — тихо произнес кардинал, прекрасно понимая при этом, что однажды все опять повторится. И, может быть, даже раньше, чем он предполагает.

Реджани пробыл в Лос-Анджелесе две недели. За это время он успел предпринять кое-что, чтобы оградить отца Беллофонтэна от всяческих неожиданностей, подстерегающих его на посту. Он связался с главой лос-анджелесской епархии кардиналом Виллингсом и вкратце рассказал ему об отце Беллофонтэне, не забыв внести Виллингса в список посвященных в великую тайну. Сразу после этого церковь купила землю, на которой стоял этот особняк, и все соседние строения. Затем был разработан проект постройки скромной католической церкви, откуда можно было бы постоянно наблюдать за часовым и обеспечивать его безопасность, не привлекая постороннего внимания. Из лос-анджелесской епархии был подобран и достойный преемник монсеньора Франкино. Ему вменялось в обязанность следить за состоянием дома, где находился Страж, обеспечивать самого Стража всем необходимым и готовиться к тому дню, когда должна будет произойти замена отца Беллофонтэна на нового часового.

— Ну, пора идти, — с сожалением вздохнул Реджани.

Сестра Флоренс кивнула, продолжая наслаждаться милым ее сердцу зрелищем. Именно по ее просьбе, в которой кардинал не смог отказать, она приехала сюда вместе с ним навестить старого священника.

Реджани и Флоренс спустились вниз по скрипучей лестнице, вышли из особняка и остановились на зеленой лужайке перед ним, откуда прекрасно был виден силуэт священника в окне третьего этажа. Солнце било прямо в стекло, и им приходилось щуриться. Они постояли немного, глядя наверх, словно пытались

навсегда запечатлеть в памяти этот образ и унести его в своем сердце. А потом повернулись и зашагали прочь.

Через какое-то время, когда гости скрылись за поворотом, отец Беллофонтэн начал медленно шевелиться, а затем положил крест на подоконник и осмотрел свои израненные ладони. Несколько минут он просидел молча, а потом вдруг откинулся на спинку стула и громко захохотал. Этот хохот, казалось, несся из бездонной пропасти, а тело священника стало менять свою форму, словно тающая восковая фигура, и постепенно обрело совсем другие очертания. Теперь в комнате сидел не старый калека с золотым распятием в руках, а сам Чарльз Чейзен. Глаза его сверкали победным огнем. Он упивался своим триумфом. Постепенно вся комната наполнилась бесформенными тенями обитателей ада, ожидающих его сигнала. Чейзен широко улыбнулся. Битва продолжалась... И в подтверждение этому по всему дому разнесся грозный звон оружия и доспехов и отовсюду послышались злобные крики воинов, готовых к последней атаке.

— Я призываю вас всех к себе и объявляю, что отныне вы сможете вновь вернуться на землю! — закричал Чейзен. — И я поведу вас вперед! Вы выйдете из огня преисподней, где были обречены на вечное заточение!

Сколько раз он проигрывал!.. Но теперь времена изменились: перед самым превращением в Стража Чейзен застал Макгвайра совершенно одного и смог полностью развернуться перед ним, демонстрируя всю свою мощь. И тогда впервые за всю историю, начиная с архангела Гавриила, ему удалось совратить избранника Божьего и толкнуть его на самоубийство. Отец Макгвайр не выдержал и, покочив с собой, присоединился к легионам Сатаны. А Чейзен тут же принял облик Макгвайра, чтобы окончательно запутать и кардинала Реджани, и Бена Бэрдета. И вот «перевоплощение» состоялось. Он исполнил все до того виртуозно, что никто даже не заподозрил неладного. Ему требовалось лишь одно — время, чтобы собрать свою армию. И тогда он снова бросит вызов Всевышнему.

— Скоро мы, победители, выйдем из темниц преисподней! — продолжал громогласно вещать Чейзен. — Проклятые, мы станем свободными, сбросив оковы тирана!

Здание задрожало, как во время землетрясения. Чейзен встал со своего стула и вошел в самую гущу бестелесных тварей. Перед ним оказались души Джека Купера и Бена Бэрдета, напоминающие сгустки легкого черного тумана. А потом у дверей появилась и душа его помазанника отца Джеймса Макгвайра — в прошлом человека, должного стать ангелом Божиим, а теперь — одного из его собственных слуг.

— Овладевайте же этим миром, и пусть он станет для живых настоящим адом! — кричал Чейзен. — Я добился этой возможности, пройдя тяжелые испытания!

Повсюду стали мелькать вспышки призрачного багрового пламени, и словно сам Ад эхом ответил на его слова. Стены дома угрожающе загудели.

Чейзен озирает свою армию, с торжеством победителя осозна-

вая, что следующим мессией на земле будет не кто иной, как он сам.

Воинственные крики все не смолкали. Он медленно подошел к стулу и уселся на него, взяв в руки распятие. Надо было продолжать этот обман. Еще не наступил нужный момент. И теперь ему оставалось лишь набраться терпения и сидеть вот так тихо и неподвижно в восточном пригороде Лос-Анджелеса, в старинном заброшенном особняке, таком мирном и уютном на первый взгляд...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Через два дня после того, как кардинал Реджани вернулся в Рим, в три часа ночи к нему в дверь неожиданно постучали, и помощник вручил ему телеграмму, помеченную грифом «срочная». Телеграмма пришла из Управления нью-йоркской епархии.

Сев на кровати, Реджани дрожащими руками вскрыл ее и, включив настольную лампу, принялся читать:

«НЬЮ-ЙОРКСКИЕ СУДМЕДЭКСПЕРТЫ ЗАКОНЧИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАНКОВ ТЕЛА, НАЙДЕННОГО В ШАХТЕ ЛИФТА ПОСЛЕ ПОЖАРА В ДОМЕ № 69 ПО 89-й УЛИЦЕ. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ТЕЛО ПРИНАДЛЕЖАЛО СВ. ОЦУ ДЖЕЙМСУ МАКГВАЙРУ. ЖДЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ».

Реджани вскочил на ноги, испуганно озираясь по сторонам и с ужасом вглядываясь в темные углы комнаты.

— Что-то случилось? — заволновался помощник.

Кардинал побледнел и покрылся испариной, но так ничего и не ответил. Неожиданно он схватился за грудь, и сознание того, что случилось на самом деле, сразило его подобно удару молнии. Он пошатнулся и начал медленно оседать. Подбежавший помощник довел его до кровати и уложил на нее. И тут кардинала бросило в дрожь, он стал жадно хватать ртом воздух, а через несколько секунд у него начались страшные судороги. Наконец он изогнулся последний раз, и его тело беспомощно обмякло на смятых простынях.

Реджани скончался.

**Перевод с английского
СЮЗАННЫ АЛУКАРД и ВАДИМА ТЕРЕЩЕНКО.**

Шахматная эпиграмма



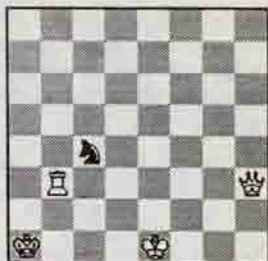
Под редакцией
международного гроссмейстера
ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

Публикуем оригинальные композиции, присланные нашими читателями на III международный конкурс составления шахматных задач-миниатюр, проводимый журналом «Смена» по трем разделам: двухходовки, трехходовки и многоходовки (условия конкурса см. в № 12 1993 г.).

Напоминаем начинающим составителям, что миниатюрами называются задачи, в которых содержится не более семи черных и белых фигур суммарно.

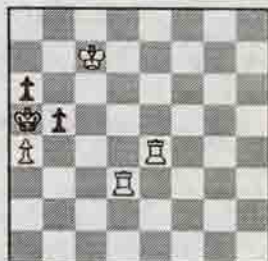
Ждем ваших оригинальных композиций!

10. Д. ГУРГЕНИДZE
с. Майлури, Грузия



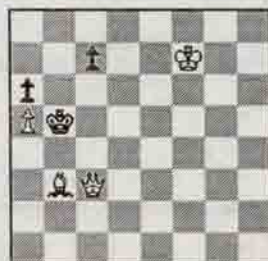
Мат в 2 хода

11. В. МЕЛЬНИЧЕНКО
г. Котовск, Украина

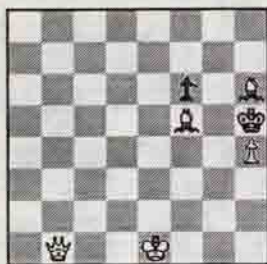
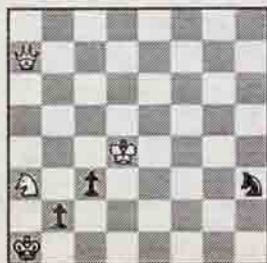
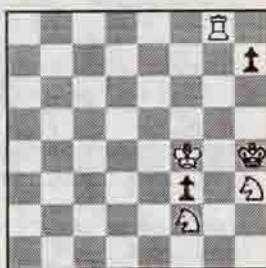
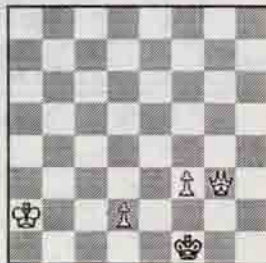
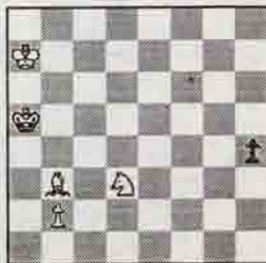


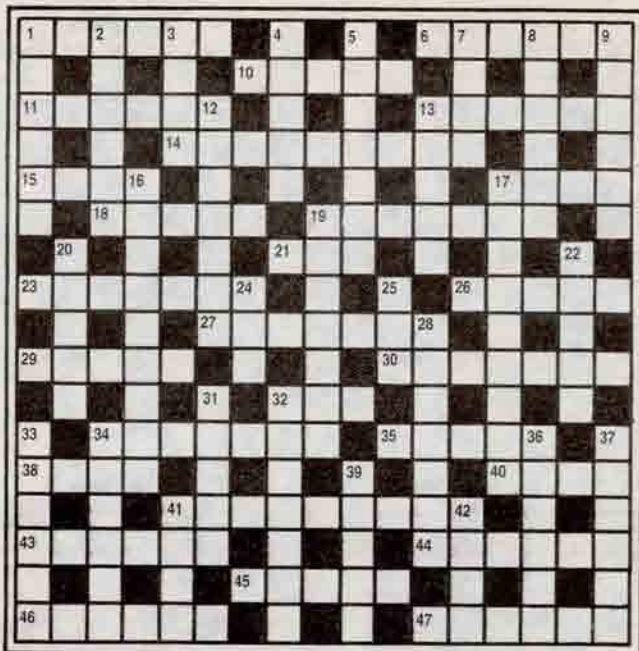
Мат в 2 хода

12. М. ВЛАСОВ
г. Кудымкар



Мат в 2 хода

13. Н. ЗИНОВЬЕВ*г. Усть-Каменогорск,
Казахстан***Мат в 2 хода**
*в) Крел — h2***14. В. МЕЛЬНИЧЕНКО***г. Котовск, Украина***Мат в 3 хода****15. С. ДЕМИДЮК***г. Брест, Белоруссия***Мат в 3 хода****16. В. ИВАНОВ***п. Повенец, Карелия***Мат в 3 хода****17. Д. ГУРГЕНИДЗЕ и
Р. МАРЦВАЛАШВИЛИ***Грузия***Мат в 4 хода****18. В. ИВАНОВ (Карелия)
и Н. ЗИНОВЬЕВ (Казахстан)****Мат в 5 ходов**



ЗРУДИТ

По горизонтали.

1. Чудо, которое сопровождал возглас: «Эй, залетные!» 6. Французский физик и химик. Изобрел катетометр. 10. Явление, за которым ученый А. Воейков гонялся по всем континентам. 11. «Отец утопии». 13. Самая жирная и питательная из наших рыб. 14. Летчик, единственный из советских военнослужащих награжденный американской медалью «За отличную службу». 15. «... — тончайшая плоть мысли, неотделимая от ее природы» (Г. Федотов). 17. Танец, который в Ирландии и Шотландии, откуда он родом, называют рил. 18. Со временем «дороги верно у нас изменятся безмерно: ...Россию здесь и тут, соединив, пересекут» (А. Пушкин, «Евгений Онегин»). 19. Меньше некуда. 21. Китайская мера площади, равная ста му. 23. Немецкая «Одиссея» (по В. Гримму). 26. Один из артистов в цирке Древнего Рима. 27. Инструмент, чьи звуки напоминают «поющие пески». 29. Первая жена М. Булгакова, столбовая дворянка. 30. Предводитель афинян в битве при Платеях. 32. Бог Мемфиса в египетской мифологии. 34. Дерево, под которым Ра отрезал голову своему извечному врагу Апопу — змею, олицетворяющему в египетской мифологии мрак и зло. 35. Оратор, проповедник в мусульманских странах. Обычно выступает в мечети. 38. Образ смерти, который Джон Кеннеди считал наилучшим и который послала ему судьба. 40. Ирландец. Представитель Шведской академии Пер Хальстрём сказал о нем: «Он достиг того, что удается лишь немногим поэтам,—

сохранил связь со своим народом, будучи при этом изысканнейшим художником». 41. Восточный народ, еще девять тысяч лет назад владевший тайной оптимальной заточки сверл. 43. Самый богатый йодом фрукт. 44. Скакун, на котором Н. Насибов трижды завоевывал приз Европы. 45. Каждая из двух птиц, сопровождающих Одина. 46. Бывшая резиденция великих литовских князей. 47. Прежний рай индейцев племени семинолов.

По вертикали.

1. Лес, каким в России вымощено немало рек. 2. Веник, уже побывавший в бане. 3. Насекомое, способное учуять человека за десять тысяч своих шагов. 4. Мера. Ею Петр Смирнов измерял продукцию винных заводов. 5. Автор первой американской национальной оперы. 7. Мастер, чьи часы в Петергофе отсчитывали не только время Петербурга и Москвы, но и всех губернских городов России. 8. Треснул (стакан) и треснул (его палкой) — слова по отношению друг к другу. 9. Самоцвет, вызывающий любовь и оберегающий сон. 12. «Социализм без демократии — ...», — заявил М. Горький в «Жизни Клима Самгина», но позже молчаливо отказался от этого принципа. 13. Изысканный морской деликатес античности. 16. «Смазка» в проржавевшем государственном и хозяйственном механизме. 17. Русский «гений перевода» (А. Пушкин). 19. Должность вора в рассказе Э. По «Похищенное письмо». 20. Певец Марк Рейзен по отношению к русской армии (он умер последним из однополчан). 22. Ткань из крученой белой пряжи. 24. Четыре английских руда. 25. Название берега, побережья в Туркмении. 28. Героиня мифов, чей свадебный венец сверкает на небе как созвездие Северная Корона. 31. Лесная птица, в гнездовое время чрезвычайно молчаливая и скрытная. 32. Первый письменный голова при Головине — первом воеводе самого обширного в России Ленского уезда. 33. Тропическая орхидея как тип растения, использующего другие растения. 34. Самое масляное тесто. 36. Горючий сланец, известняк, мел, нефть или уголь как горная порода. 37. Первый поэт, чьи портреты стали продавать в киосках «Союзпечати». 39. Индийский тмин. 41. Река, сто семьдесят километров долины которой залито Вилюйским водохранилищем. 42. Общественное положение Филофея, автора формулы о Москве: «Два Рима пали, третий стоит, четвертому не бывать».

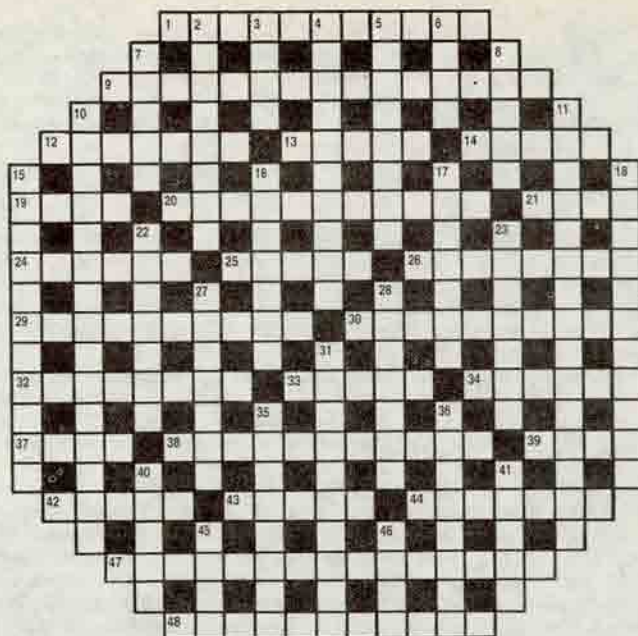
ОТВЕТЫ НА «ЗРУДИТ» НАПЕЧАТАННЫЙ В № 1

По горизонтали.

1. Схария. 6. ...дворик. 10. ...недуг... 12. Богданов. 13. Шимпанзе. 15. Люба. 16. Цилиндр. 17. Кофе. 20. Траур. 21. Мяс. 23. Вольф. 25. Эрг. 26. Койот. 28. Фет. 29. Парус. 30. Ротор. 31. Дум. 33. Норок. 35. Эль. 36. Хаори. 37. Лан. 38. Пихта. 43. Тала. 44. Веджвуд. 45. «Сова». 48. Германия. 50. Байдарка. 51. Ястык. 52. Одесса. 53. Грифон.

По вертикали.

1. Соболь. 2. Аугсбург. 3. Ирак. 4. ...зев. 5. Буш. 7. Выпь. 8. Рандольф. 9. Квебек. 10. Номий. 11. Гирда. 14. Ширий. 18. Суматра. 19. Родонит. 20. Треух. 21. ...мо-сол... 22. Чорон. 24. Фекла. 26. Кун. 27. Ток. 32. Малларме. 34. Раджа. 35. Этнограф. 39. Стегно. 40. Кения. 41. Чудак. 42. Фараон. 46. «Шахс». 47. Удар. 49. Яса. 50. Бык.



КРОССВОРД
Составил
В. КОЛЯДА,
пос. Токовский
Днепропетровской
области

По горизонтали.

1. Покупатель, клиент. 9. Дисциплинарное взыскание, наложенное на хоккеистов молодежных сборных Канады и СССР на чемпионате мира 1986—1987 года. 12. Прибор, применяемый в геодезических и астрономических инструментах. 13. Каждый охотник желает знать, где сидит... (фраза для запоминания последовательности цветов спектра). 14. Обычный кровельный материал в русском деревянном зодчестве. 19. Второй римский царь, разделивший граждан на сословия. 20. Работник медицинского учреждения, выдающий талоны на прием к врачу. 21. Футбольная площадка. 24. Азовская и черноморская рыба, которую ловят ставными сетями и ярусами. 25. Возмущение, несущее энергию без переноса вещества. 26. Представительница единственного в Индокитае народа, пашущего не на одном, а на двух быках или буйволах. 29. Географическая область, в воды которой первым проник в 1502 году Америго Веспуччи. 30. Важность, знатность. 32. Набор древнего воина из лука с налучием и стрел в колчане (во время похода были в чехле). 33. Знаменитый русский певец, при участии которого была создана Оперная студия Ленинградской консерватории. 34. Материал, какой заготавливал замаскированный под коммерсанта майор Федоров в фильме «Подвиг разведчика». 37. Животное, часто упоминаемое в рассказах о Насреддине. 38. Вор, вскрывающий сейфы. 39. Партия, издавна соперничающая в Англии с вигами. 42. Самое высокое животное.

43. Другое название солнца в пьесе А. Островского «Снегурочка». 44. Спортивная обувь. 47. Дисциплина, изучающая электросиловое воздействие на живые организмы. 48. Недостаточная обеспеченность крестьянина угодьями.

По вертикали.

2. Норвежский город вблизи Тронхейма. 3. Сто йеменских филсов. 4. Парусное судно, каким командует капитан Эскирос в рассказе А. Грина «Корабли в Лиссе». 5. Судно из нескольких корпусов. 6. Река к юго-западу от Парижа. 7. «... русских со скифами» — картина В. Васнецова. 8. Вечнозеленые леса влажных тропиков. 10. Способ многоцветной печати. 11. Тип военной разведки. 15. Центр золотодобычи в бассейне Алдана. 16. Коврик из рогожи или соломы плотного плетения. 17. Большая и тяжелая книга. 18. Процесс снижения курса рубля по отношению к доллару. 22. Азиатское государство с самым длинным в мире мостом. 23. Источник электронов в электронных приборах. 27. Полководец, знаток военного искусства. 28. Электрическая характеристика аккумулятора, конденсатора. 31. Доброжелательное, приветливое отношение. 35. Крайняя жестокость. 36. Сплав кремния с малым количеством железа, алюминия и других элементов. 40. Пастух, стерегущий отару. 41. Брат Кия, легендарного основателя Киева. 45. Должность героя в рассказе К. Станюковича «Максимка» на клипере «Забияка». 46. Терпи ... пей мед (ироническая русская поговорка).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 1

По горизонтали.

8. Аксиома. 10. Приступ. 11. Лаурана. 12. Оборона. 13. Шафран. 14. Година. 15. Кенгуру. 16. Граната. 20. Ракетка. 24. Шквал. 27. Сноровка. 28. Оленевод. 29. Белек. 30. Ползание. 31. Свиридов. 32. Риска. 35. Атбасар. 39. Стратег. 42. Устрица. 43. Эллипс. 44. «Максим». 45. «Торпедо». 46. Дивриги. 47. Вороток. 48. Клавиша.

По вертикали.

1. Бригада. 2. Запонка. 3. Источник. 4. Волокуша. 5. Балагур. 6. Кларнет. 7. Шторка. 9. Фундук. 17. Рангоут. 18. Нарезка. 19. Тувинка. 21. Аметист. 22. ...ежевика... 23. Кротоне. 24. Шабер. 25. Велес. 26. Локса. 33. Интервал. 34. Критерий. 36. Боливар. 37. ...стихия. 38. Рустика. 39. Самовар. 40. Ракурс. 41. Триптих.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
«СМЕНЫ»-
МОСКВИЧИ И ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!

Если Вы хотите и впредь читать наш журнал, но не имеете возможности платить лишние деньги почте за доставку или киоскерам, продающим «Смену» с большой наценкой, приезжайте к нам в редакцию, и мы подпишем Вас с любого номера по цене, указанной в Каталоге. При этом у Вас будет стопроцентная гарантия, что Вы получите журнал в срок.

Более подробную информацию об условиях подписки мы даем по телефонам:

257-30-55, 212-15-07



Мария ВЛАДИМИРОВА

...Она увлеклась живописью с шести лет, с тех пор как бабушка (бывшая артистка) стала систематически водить ее в Музей изобразительных искусств им. Пушкина. В девять лет она по собственной инициативе пришла в одну из популярных в Москве художественных школ, Краснопресненскую, где училась у Виталия Комара (живописца, высоко котирующегося ныне за рубежом). После 8-го класса поступила в художественное училище имени 1905 года, окончив которое в 1980 году, прошла по конкурсу в художественный институт имени В. Сурикова, где ей посчастливилось попасть в мастерскую народного художника Таира Салахова.

Учиться у интересных, самобытных мастеров, разумеется, большое «везение», но его надо было уметь использовать. — Мария «взяла» от своих наставников все, что могла. Ее дипломная работа

в суриковском — триптих «Времена года» — сразу была приобретена Петербургской художественной галереей.

Мир образов Марии Владимировой космичен. В творчестве ее ощутимо то постоянное внутренне-молитвенное обращение к земле и небу в их единстве, которым тысячелетия дышали не только искусства, но вообще все человечество...

Духом глубокой библейской вечности полны картины, где в мистически-вселенском ключе возникает образ Ночи-Праматери. Композиция «Движение» отмечена оригинальным ходом: диагональ, делящая холст — огнистые травы с черным силуэтом движущихся быков, — создает ощущение «края» планеты Земля и одновременно медленного ее вращения в пространствах Галактики...

Исполненная поэзии «Ночь»: рассеянные по всему простран-

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА. Движение.



Красный кувшин.





В. А. Тропинин. Девушка с горшком роз. 1850 г.